

ИСТОРИЧЕСКАЯ

ЭКСПЕРТИЗА

THE HISTORICAL EXPERTISE

№ 3(20)/2019

Редакционная коллегия

Научный руководитель — ЭРЛИХ Сергей Ефроимович, д.и.н., генеральный директор издательства «Нестор-История» (Москва)

Ответственный редактор — СТЫКАЛИН Александр Сергеевич, к.и.н., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

Зам. ответственного редактора — ВЕДЕРНИКОВ Владимир Викторович, к.и.н., доцент кафедры Истории отечества, науки и культуры Санкт-Петербургского технологического института (Технический университет) (Санкт-Петербург)

Ответственный секретарь — КАЧАНОВА Елена Федоровна, издательство «Нестор-История» (Санкт-Петербург)

Члены редакционной коллегии

АКСЕНОВ Владислав Бэнович, к.и.н., доцент, старший научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва)

КОЧЕГАРОВ Кирилл Александрович, к.и.н., старший научный сотрудник Института славяноведения РАН (Москва)

ЛЕОНТЬЕВА Ольга Борисовна, д.и.н., профессор кафедры междunarодных отношений Самарского государственного университета (Самара)

ПРОЗУМЕНЩИКОВ Михаил Юрьевич, к.и.н., заместитель директора Федерального казенного учреждения «Российский государственный архив новейшей истории» (РГАНИ) (Москва)

ТАХНАЕВА Патимат Ибрагимовна, к.и.н., старший научный сотрудник Института востоковедения РАН (Москва)

ТЕСЛЯ Андрей Александрович, к.филос.н., старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта (Калининград)

ТИХОНОВ Виталий Витальевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва)

ТРОИЦКИЙ Юрий Львович, к.и.н., доцент кафедры теории и истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ, заместитель директора ИФИ РГГУ по методической работе и историческому образованию (Москва)

УЛУНЯН Арутюн Акопович, д.и.н., главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва)

ШОКАРЕВ Сергей Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры источниковедения Историко-архивного института РГГУ (Москва)

Редакционный совет

ГЛУШКОВСКИЙ Пётр, к.и.н., зам. директора Института русистики Варшавского университета (Польша)

ГОЛУБЕВ Алексей Валерьевич, к.и.н., преподаватель (assistant professor), Хьюстонский университет (США)

КАСЬЯНОВ Георгий Владимирович, д.и.н., проф., зав. отделом Института истории НАНУ (Украина)

КАРАВАШКИН Андрей Витальевич, д.ф.н., проф. кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ (Москва)

КИЯНСКАЯ Оксана Ивановна, д.и.н., проф. кафедры литературной критики Института Массмедиа РГГУ (Москва)

НЕМЦЕВ Михаил Юрьевич, к.филос.н., доцент Новосибирского государственного университет экономики и управления (НГУЭУ-«НИНХ»), сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) (Новосибирск, Москва)

ПАНАРИН Сергей Алексеевич, к.и.н., руководитель Центра исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН (Москва)

ПОЛЯН Павел Маркович, д.г.н., профессор, почетный профессор СКГУ/СКФУ, директор Мандельштамовского центра ЕИУ ВШЭ (Москва)

СМИТ Кэтрин Е., PhD, проф., Школа дипломатической службы им. Э. Уолша, Джорджтаунский университет (США)

УСПЕНСКИЙ Федор Борисович, член-корр. РАН, зам.директора Института славяноведения РАН (Москва)

УШАКИН Сергей Александрович, PhD, проф. антропологии и славистики Принстонского университета (США)

ФЕЛЬДМАН Давид Маркович, д.и.н., проф. кафедры литературной критики Института Массмедиа РГГУ (Москва)

ХАВАНОВА Ольга Владимировна, д.и.н., зам. директора Института славяноведения РАН (Москва)

ШНИРЕЛЬМАН Виктор Александрович, д.и.н., главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (Москва)

ШУБИН Александр Владленович, д.и.н., главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор РГГУ (Москва)

Перепечатка материалов допускается только с письменного разрешения редакции журнала

Издается с 2014 г. Выходит 4 раза в год

ISSN 2409-6105

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3

Издатель

ООО «Нестор-История»

197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 7

Тел. (812)235-15-86, e-mail: nestor_historia@list.ru, www.istorex.ru

Отпечатано в АО «Первая Образцовая Типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

тел. (499) 270 73 00

Заказ № 1930

Дата подписания в печать 30.09.2019

- КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ**
- Глобальная память**
- 9 **ДЖЕЙМС В. ВЕРЧ** *Хиросима в оптике национальной памяти: Россия vs США*
- 17 *«Как понять сложное устройство мнемоники». Интервью с М. Ротбергом*
- 27 **МАЙКЛ РОТБЕРГ** *От Газы до Варшавы: Картографирование много-векторной памяти*
- Национальная память**
- 57 **Н. Ю. НИКОЛАЕВ** *Исторический нарратив Википедии как пространство российско-украинских «битв за прошлое»*
- Актуальные проблемы национальной памяти зарубежных стран**
- 67 *«Пренебрежение “простыми людьми” и вопроса-ми колониального наследия в переходные периоды остается нерешенной проблемой для сегодняшних Южной Африки и России». Интервью с К. Роббе*
- 79 **Я. В. ШИМОВ** *Междуморье: пространство судьбы*
- 98 **М. В. БЕЛОВ** *Сообщество памяти против его исследователя: полемика вокруг книги Х. Зундхаусена «История Сербии с XIX до XXI века»*
- Семейная память**
- 122 *«Отец явно недооценил последствия усиления парт-аппарата во главе с Хрущевым и вскоре заплатил за это». Интервью с А. Г. Маленковым*
- Наполеон и его эпоха в исторической памяти (к 250-летию со дня рождения)**
- 166 **Н. П. ТАНЬШИНА** *Наполеон Бонапарт как художественный образ: формирование «наполеоновской легенды» во фран-цузской литературе эпохи романтизма*
- Полтава в исторической памяти (к 310- летию Полтавской битвы)**
- 188 *«Измена гетмана Мазепы не стала водоразделом в русско-украинских отношениях, а только спорным моментом в русской и украинской историографии». Интервью с В. А. Артамоновым*

ИСТОРИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

- 195 *«Конечно, традиционное чтение остается. Но – как часть размывающегося общего пространства чтения».* Интервью с М. М. Самохиной
- 199 **А.А. ПРОКОПЬЕВ** *Вопросы без ответов: всероссийский исторический тест как инструмент просвещения*
- 204 **К.А. ПАХАЛЮК** *Сериял «Игра престолов», политическая конспирология и политика памяти*
-

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Обобщающие исследования

- 219 **И.И. БАРИНОВ** *Рец.: Michael Hagemeister. Die "Protokolle der Weisen von Zion" vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die "antisemitische Internationale". Zürich: Chronos 2017. 648 p. (Михаэль Хагемейстер. «Протоколы сионских мудрецов» под судом. Бернский процесс 1933–1937 гг. и «антисемитский интернационал». Цюрих: Хронос, 2017. 648 с.)*
- 223 **А.А. КУЗНЕЦОВ** *Рец.: Коэн Стивен. Избранное. М.: АИРО-XXI, 2018. 800 с. + ил.*
- 228 **С.Е. ЭРЛИХ** *Не факт, что аффект. Рец.: Политика аффекта: музей как пространство публичной истории / под ред. А. Завадского, В. Склз, К. Сувериной. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 400 с.: ил. (Серия «Интеллектуальная история»)*

Мир

- 239 **Н.И. ДЕДКОВ** *Рец.: Фирсов Ф. Коминтерн: погоня за призраком. Переосмысление. М.: АИРО-XXI, 2019. 672 с.*

Российская империя

- 245 **В.Ю. ДАШЕВСКИЙ,**
С.А. ЧАРНЫЙ *Меж наукой и мифом. Рец.: Володихин Д. М. Иван IV Грозный. М.: Молодая гвардия (Серия «Жизнь замечательных людей»), 2018. 342 с.*
- 268 **А.А. ТЕСЛЯ** *Последняя четверть века самодержавной и неограниченной царской власти. Рец.: Соловьев К. А. Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М.: Политическая энциклопедия, 2018. 351 с.*
- 273 **В.Б. АКСЕНОВ** *Еще один шаг в сторону визуального поворота. Рец.: Гражданская война в образах визуальной пропаганды: словарь-справочник / под ред. Е. А. Орех. СПб.: Скифия-принт, 2018. 176 с., 32 с. ил.*

280 **В.А. КИТАЕВ**

В кругу идей Анджея Валицкого. Рец.: Валицкий А. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства / пер. с польск. К. Душенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 704 с.

292 **А.И. ПИРЕЕВ**

Рец.: Дмитриева О. Н. Народоволец Степан Григорьевич Ширяев. Саратов, 2017

ОСТОРОЖНО, ХАЛТУРА!

298 **А.В. СВЕШНИКОВ**

Бедный, бедный Карл... Рец.: Чернявский С. Н. Империя Каролингов: Рождение Запада. М.: Вече, 2018. 352 с.

304

Требования к публикации статей и материалов

IN THE ISSUE:

COLLECTIVE MEMORY

Global Memory

- 9 **JAMES V. WERTSCH** *National Memory for Hiroshima: Russia versus the U. S.*
17 «*Understanding Mnemonic Complexity*». Interview with M. Rothberg
- 27 **MICHAEL ROTHBERG** *From Gaza to Warsaw: Mapping Multidirectional Memory*

National memory

- 57 **N.Y. NIKOLAEV** *The historical narrative of Wikipedia as the space of the Russian-Ukrainian «battles for the past»*

Actual problems of national memory of foreign countries

- 67 «*The neglect of the ‘common’ and of issues of coloniality during the transitions is an unresolved problem, with which South Africa (and Russia) are dealing today*”. Interview with X. Robbe
- 79 **J. M. ŠIMOV** *Between seas: the space of destiny*
- 98 **M. V. BELOV** *The community of memory against its researcher : the controversy around the book “The history of Serbia from the XIX to the XXI century” by H. Sundhaussen*

Family Memory

- 122 «*Father clearly underestimated the consequences of strengthening the party apparatus led by Khrushchev and soon paid for it*”. Interview with A. G. Malenkov

Napoleon and his era in historical memory (to the 250th anniversary of his birth)

- 166 **N. P. TANSHINA** *Napoleon Bonapart as a literary image: the formation of «the Napoleon legend» in the french literature of romantic era*

Poltava in historical memory (to the 310th anniversary of the battle of Poltava)

- 188 «*Hetman Mazepa’s treason did not become a watershed in Russian-Ukrainian relations, but only a controversial moment in Russian and Ukrainian historiography*”. Interview with V. A. Artamonov

HISTORY IN THE MODERN SOCIETY

- 195 *“Of course, traditional reading remains. But - as a part of the eroding general reading space”. Interview with M. M. Samokhina*
- 199 **A.A. PROKOPIEV** *Unanswered questions: all-Russian historical test as an educational tool*
- 204 **K.A. PAHALYUK** *The series “Game of Thrones”, political conspiracy and politics of memory*

REVIEWS**Generalizing studies**

- 219 **I. I. BARINOV** *Rev.: Michael Hagemester. Die “Protokolle der Weisen von Zion“ vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die “antisemitische Internationale”. Zürich: Chronos 2017. 648 p. (Mikhael' Khagejmejster. “Protokoly sionskikh mudretsov” pod sudom. Bernskij protsess 1933–1937 gg. i “antisemitiskij internatsional”. Tsyurikh: Khronos, 2017. 648 p.)*
- 223 **A.A. KUZNETSOV** *Rev.: Koen Stiven. Izbrannoe. M.: AIRO-XXI, 2018. 800 p. + il.*
- 228 **S. E. EHRlich** *Is this worth the affect. Rev.: Politika affekta: muzei kak prostranstvo publichnoi istorii, pod red. A. Zavadskogo, V. Sklez, K. Suverinoi. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. 400 p.: il. (Seriia “Intellektual'naia istoriia”)*

The world

- 239 **N. I. DEDKOV** *Rev.: Firsov F. Komintern: pogonya za prizrakom. Pereosmyslenie. M.: AIRO-XXI, 2019. 672 p.*

The Russian Empire

- 245 **V. Yu. DASHEVSKII, S. A. CHARNYI** *Between the science and the myth. Rev.: Volodihin D. M. Ivan IV Groznyi. M, Molodaya gvardiya (Seriya «Zhizn' zamechatel'nyh lyudei»), 2018. 342 p.*
- 268 **A.A. TESLYA** *The last quarter of the Century of autocratic and unlimited Czarist power. Rev.: Solov'ev K. A. Politicheskaya sistema Rossiiskoi imperii v 1881–1905 gg.: problema zakonotvorchestva. M.: Politicheskaya enciklopediya, 2018. 351 p.*
- 273 **V. B. AKSENOV** *One more step in the direction of visual expansion. Rev.: Grazhdanskaya voina v obrazah vizual'noi propagandy: slovar'-spravochnik / Pod red. E. A. Oreh. SPb.: Skifiya-print, 2018. 176 p., 32 p. ill.*

In the issue:

280 **V.A. KITAEV**

In the circle of Andrzej Walicki's ideas. Rev.: Walicki A. In the circle of conservative utopia. Structure and metamorphosis of Russian Slavophilism / translated from Polish. K. Dushenko. Moscow: New Literary Review, 2019. 704 p.

292 **A.I. PIREEV**

Rev.:Dmitrieva O. N. Narodovolets Stepan G. Shiryayev. Saratov, 2017.

ATTENTION: TRASH!

298 **A.V. SVESHNIKOV**

Poor, poor Carl ... Rev.: Cherniavsky S. N. The Empire of the Carolingians: The Birth of the West. M.: Veche, 2018. 352 p.

304

**REQUIREMENTS FOR PUBLICATION
OF ARTICLES AND DOCUMENTS**

Джеймс В. Верч

ХИРОСИМА В ОПТИКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ: РОССИЯ VS США

Ключевые слова: новое бессознательное, быстрое мышление, нарративный шаблон, град-на-холме, изгнание-чужеземного-врага.

Аннотация. Национальные сообщества могут по-разному помнить об одном событии. Когнитивные исследования «нового бессознательного» указывают на свойственную нам тенденцию с автоматической быстротой формировать однозначные и весьма самоуверенные суждения по поводу текущих и давних событий, которая противоположна медленным рефлексивным процессам, свойственным историческому исследованию. Я считаю, что национальная память формируется посредством нарративных шаблонов «быстрого мышления». Американская национальная память часто опирается на нарративный шаблон «Град на холме». Можно спорить по поводу его соответствия реальности, тем не менее многовековое влияние этой исторической схемы на американский политический дискурс не подлежит сомнению. Я считаю, что российская национальная память в ряде аспектов формируется сходным образом под влиянием нарративного шаблона «Изгнание чужеземного врага». Цель состоит не только в признании этого обстоятельства, но и в обуздании быстрого мышления, которое управляет национальной памятью. Первый шаг состоит в осознании силы нарративных шаблонов и в понимании того, что историческое исследование может частично их обезвреживать.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-9-16

Перевод Сергея Ефреимовича Эрлиха.

В 1970-х гг. я несколько раз приезжал в Москву для занятий психологией, лингвистикой и философией. Это

было прекрасное время для пребывания американца в вашей стране. Риторика холодной войны никак

© Джеймс В. Верч, 2019
Выступление на круглом столе в Сахаровском центре 21 февраля 2019 г.

Верч Джеймс В. — Департамент Антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Миссури, США); jwertsch@wustl.edu

не влияла на теплый прием, который я встречал в домах русских коллег. Не без иронии вспоминаю, что, в сравнении с большинством стран, СССР был тем местом, где можно было стать популярным не вопреки, а лишь потому, что ты — американец.

Мое пребывание в Москве сопровождалось многочисленными дискуссиями с людьми, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Мы часто замечали, что по многим вопросам наши взгляды близки, и удивлялись, когда сталкивались с проблемами, по которым наши мнения принципиально расходились. Одним из таких случаев была беседа с моим другом Витей в 1976 г. Между нами состоялся следующий диалог:

Витя: Я не могу понять, почему США сбросили атомные бомбы на Японию в 1945-м.

Джим: Ну, Трумэн знал, что это заставит японцев сдаться и уменьшит человеческие потери.

Витя (после паузы, недоверчиво): Джим, ты действительно веришь в это? Всем известно, что японцы понимали, что они проиграли, и когда Сталин атаковал их войска в Маньчжурии, им стало очевидно, что надо сдаваться. На самом деле, Джим, Трумэн сбросил бомбы, чтобы запугать Сталина и остановить советское продвижение в Европе.

Джим: Да нет, Витя, не так все было. Трумэн сбросил бомбы, чтобы заставить Японию сдаться. Он только хотел поскорее закончить войну

и сберечь жизни примерно миллиону американских солдат. Я говорил с ветеранами, которые готовились к вторжению в Японию. Они все опасались, что могут погибнуть, и плакали от радости, когда Трумэн сбросил бомбы, потому что это означало конец войны.

До той беседы я никогда не встречался с Витиной версией этих событий. У меня не было причин усомниться в истинности моих представлений, и не было даже мысли, что существует альтернативная версия. Но и Витя также был уверен в своей правоте. В результате мы оказались в так называемом «мнемоническом тупике». Каждый из нас был убежден, что истинна только его версия, и никто из нас не был готов изменить свое мнение, столкнувшись с противоречащими ей свидетельствами. Много лет спустя я понял, что в этом конфликте мы с Витей представляли не наши личные точки зрения, а выражали взгляды русского и американского сообществ памяти.

Позже я узнал, что точка зрения русской национальной памяти по поводу решения Трумэна нашла поддержку у западных исследователей. Один из них — Гар Альперовиц, который в 1965 г. выпустил книгу «Атомная дипломатия», считает, что одной из причин использовать атомные бомбы стало стремление предостеречь Сталина от послевоенной экспансии в Европе и в Азии. Позиция Альперовица является частью дискуссии, которая началась сразу после 1945 г. В 1950 г. адмирал Уильям Лихи, один из наиболее влиятельных военных во время Второй

мировой войны, заявил: «Я считаю, что использование варварского оружия в Хиросиме и Нагасаки никак не помогло победить Японию. Японцы к тому моменту уже проиграли и были готовы сдаться».

Споры по этому вопросу продолжают и сейчас. В 2013 г. британский ученый Уорд Вильсон опубликовал в *Foreign Policy* статью «Бомба победила не Японию... но Сталина». В ней он поставил провокационный вопрос: «Была ли ядерная политика в течение 70 лет основана на лжи?» Он представил хронологически выстроенный отчет о событиях августа 1945 г., согласно которому нельзя быть уверенным в том, что капитуляция Японии была вызвана атомной бомбардировкой. В частности, он приводит свидетельства, что японское руководство приняло решение о капитуляции за день до бомбардировки Хиросимы. Другие исследователи оспаривают важность его находок, но это часть опубликованных документов. Несмотря на эти контраргументы, стандартная американская версия событий практически не изменилась. В ней по-прежнему утверждается, что Трумэн стремился принудить Японию к капитуляции, и это до сих пор работает. Что препятствует ее пересмотру? Существует несколько причин. Прежде всего, мы убеждены, что наша точка зрения основана на истине. Когда мы обсуждаем взгляды или поведение современников, мы можем соглашаться либо не соглашаться, но когда мы говорим о прошлом, то заявляем следующее: «Это не мое мнение, так было на самом деле!» Когда мы слышим это от других, то объясняем себе, что они — и никогда

мы — не знают правды, потому что не имеют доступа к верной исторической информации. Или же мы можем сказать, что им промыли мозги, после чего дискуссия заканчивается. Когда я спрашивал американских студентов, почему они верят официальной версии Хиросимы, несмотря на данные исторических исследований и противоположную точку зрения русских, они часто отвечали, что просто повторяют то, чему их учили в школе. Но это вызывает следующие вопросы. Например, каким образом возник тот рассказ, которому учат в школе? Почему все американские школьные учебники продолжают игнорировать другие точки зрения на это событие? В действительности разница между русским и американским рассказами основана на чем-то более глубоком и обобщающем. Возникает вопрос, почему мы в США так привержены нашей точке зрения, вопреки всем контраргументам и фактам? Мы просто недостаточно образованы? Или же нам промыли мозги? Отвечая на этот вопрос, необходимо рассмотреть национальные нарративы, которые гораздо шире конкретных тем, которые рассматриваются на их основе. В этом смысле нарративы являются инструментами культуры или инструментами познания, на основе которых формируется наше понимание прошлого. Можно сказать, что они говорят нами, когда мы рассуждаем о прошлом. Мы не создаем эти инструменты самостоятельно, напротив, это «готовые» технологии, которые даны нам в распоряжение культурными, институциональными и историческими обстоятельствами нашей жизни. В связи с этим возникают вопросы

о природе национальных нарративов. Каким образом они формируются, и как они влияют на наши представления о прошлом? Рассмотрение этих вопросов часто приводит нас к проблеме использования национальных нарративов в политическом дискурсе. Для США наиболее ярким примером является знаменитое обращение к нации Рональда Рейгана 1989 г. Чтобы наполнить оптимизмом свое послание к американской аудитории, он использовал нарратив «сияющий град на холме». Этот нарратив занял настолько важное место в его речи, что мы можем назвать Рейгана соавтором этого нарратива, который широко использовался в политической практике. Нарратив «града на холме» возник в обращениях видных политических фигур, от Джона Кеннеди до Джорджа Буша младшего и Барака Обамы, с целью привлечь аудиторию к обсуждению проблем Америки. Это не единственный американский нарратив, но обращение к нему широчайшего круга ораторов показывает, насколько важную роль он играет в национальной политической культуре.

Рейган знал, что его речь получит положительный отклик аудитории, но на чем был основан этот резонанс? Я считаю, что ответом служит понимание национального нарратива как привычки (предрассудка) мышления. Эти привычки являются всеохватывающими и чрезвычайно гибкими, но вместе с тем они надежно связывают общество в единое целое и тем самым порождают его отличия от других обществ. Рассматриваемый нарратив «град на холме»

берет начало в 1630 г. в проповеди пуританина Джона Уинтропа. Но влияние этого нарратива определяется не его происхождением, а тем, что наши схемы знания и привычки мышления придают различным событиям смысл в соответствии с нарративным шаблоном «град на холме».

Этот нарративный шаблон предлагает сюжетную схему избавления от преследований и обретения свободы и объявляет освобождение универсальным человеческим стремлением, что делает Америку маяком для всего человечества. Социализация в американское общество подразумевает овладение этим нарративным шаблоном через постоянное его воспроизведение при повествовании о различных событиях в процессе школьного обучения, в прессе, в речах политиков и в повседневных разговорах.

Недавние исследования «нового бессознательного» в рамках когнитивных наук предлагают полезные наблюдения по поводу того, как это происходит. В этих исследованиях рассматриваются множество решений, которые мы ежедневно принимаем, не обращаясь к работе сознания. По словам Малколма Глэдуэлла, это те решения, которые принимаются «в мгновение ока». Или, как пишет лауреат Нобелевской премии, психолог Дэниэль Канеман, решения, основанные на «быстром мышлении». Эту форму бессознательного отличают пристрастность и самоуверенность. Многие исследователи считают, что большая часть нашего мышления протекает именно на этом уровне.

С этой точки зрения многие наши решения принимаются так быстро, что мы даже не знаем, почему мы их приняли. Например, встречая нового человека, мы обычно формируем свое представление о нем без каких-либо предварительных размышлений. Это почти так же, как наше тело во многих случаях принимает решение раньше, чем оно достигает нашего сознания. Эволюционная психология объясняет этот феномен тем, что на протяжении тысячелетий человек должен был делать мгновенные выводы о том, с кем — другом или врагом — он повстречался. В отдаленном прошлом жизненно важные решения — надо ли бежать или сражаться с грозным животным или человеком — было необходимо принимать мгновенно, промедление могло привести к смерти.

В большинстве случаев интуитивные «прыжки» быстрого мышления при принятии решений позволяют достаточно успешно решать повседневные проблемы. Но в ряде случаев они ведут к смертельно опасным ложным решениям. Многочисленные исследования в области когнитивной психологии показывают, что, когда мы опираемся на быстрое мышление, мы в своих выводах почти не используем логическое мышление, даже имея его под рукой. Процесс обычно используемого нами быстрого мышления контрастирует с тем, что Канеман называет «медленным мышлением», которое привлекает рациональные и трудоемкие рассуждения, опирающиеся на логику, объективные свидетельства и учитывающие альтернативные точки зрения. Кроме

того, медленное мышление может «контролировать» быстрое мышление, помогая избежать некорректных заключений. Вместе с тем исследователи отмечают, что медленное мышление — это «лентяй», и поэтому в повседневной жизни его контроль за работой быстрого мышления осуществляется лишь в исключительных случаях.

Возвращаясь к быстрому мышлению, необходимо сказать, что оно стремится опираться на неполную информацию, которая подтверждает уже существующие взгляды, то, что именуется «изначальным убеждением». Вместо того, чтобы приложить усилия для рассмотрения альтернативных свидетельств и гипотез, наше сознание неосознанно обращается к информации, которая согласуется с нашими взглядами, и принижает значение либо попросту игнорирует противоположные свидетельства. Быстрое мышление часто не только уверено, но самоуверенно в своих выводах, и это может породить проблемы, учитывая, насколько пристрастны часто бывают свидетельства, лежащие в основе этих выводов.

Американские ментальные привычки, основанные на нарративном шаблоне «град на холме», соответствуют всем характеристикам быстрого мышления. Слушая выступления вроде речи Рейгана, американская аудитория делает мгновенные выводы на основе общепринятых привычек мышления и действует в соответствии с этими выводами, даже не догадываясь, из каких предпосылок они возникли. Подобные решения обладают высокой степенью

доверия и порождают сильные эмоции. Рейган знал, что он может опереться на эти нарративные привычки, что они помогут ему направить американскую аудиторию согласно тем взглядам, которые он хотел сделать общими для всего сообщества.

Необходимо отметить, что эта речь не могла бы вызвать той же реакции не только у китайской и русской, но даже у французской или британской аудиторий, чьи реакции на нее могли бы сильно различаться между собой. Даже если бы они знали больше, чем американцы, об Уинтропе и пуританах, маловероятно, что слова Рейгана подействовали на них так же, как они подействовали на американцев. На самом деле другие национальные сообщества могли весьма негативно среагировать на заявление, что Америка — это «град на холме», и усмотреть в нем необоснованное утверждение американской исключительности и, более того, оправдание американского вмешательства во внутренние дела других стран.

Нарративные привычки не заметны до тех пор, пока две нации не вступают во взаимный контакт или конфликт. Так же как многие американцы заявляют, что они не понимали, в какой мере они являются американцами, пока не встретили людей из других стран, мы часто не осознаем, как сильно наш национальный нарратив влияет на нас, пока он не сталкивается с нарративом другой нации. Мое столкновение с Витей как раз было таким случаем. Вместо того, чтобы опираться на рациональные рассуждения, основанные

на объективных свидетельствах и учитывающие альтернативные точки зрения, мое бессознательное опиралось на нарративный шаблон «град на холме», в результате чего я немедленно и самоуверенно решил, что события не происходили так, как их описал Витя, потому что они не могли происходить таким образом: американский президент не мог принести в жертву более 100 тысяч японцев только для того, чтобы повлиять на Сталина. Это не вписывалось в мой образ Америки, которая является маяком для всего человечества.

Какие выводы мы можем сделать из всего этого, если не хотим скатиться к беспросветному пессимизму? Прежде всего, мы должны понять, с чем мы столкнулись. Следовательно, нам необходимо оценить, в какой мере мы подвержены бессознательному быстрому мышлению, которое управляет нашими привычками мышления, основанными на нарративных шаблонах. Огромное число данных свидетельствует, что большинство наших решений принимаются чрезвычайно самоуверенно в мгновение ока, больше опираясь на наши предубеждения, чем на информацию.

Вместе с тем мы должны помнить, что способны рассуждать при принятии решений и что медленное мышления является противоядием против негативных тенденций быстрого мышления. Могут ли прозрения когнитивных наук смягчить опасности быстрого мышления в рамках национальных нарративов? У нас есть некоторые основания для оптимизма по этому вопро-

су, которые тем не менее следует умерить в связи с тем, что мы знаем из истории человеческого сознания и воли. Еще 2500 лет назад Платон в своем диалоге «Федр» наметил нечто схожее с борьбой быстрого и медленного мышления. В его аллегории «возничего человеческой души» возничий правит парой коней: «один прекрасен, благороден и рожден от таких же коней, а второй — совсем иной и от иных коней рожден». Первый конь воплощает рациональное мышление, а второй — иррациональные устремления. Можно много говорить об аллегории Платона и современной когнитивной науке, но в данном случае речь идет о многовековой борьбе быстрого и медленного мышления, и нет оснований считать, что сегодня мы сможем легко решить эту проблему.

Лучший и, возможно, единственный способ обращения с недостатками общепринятых национальных нарративов требует совместных усилий, основанных на нескольких инструментах. Прежде всего, необходимо оценить силу быстрого мышления и ограниченность противодействующего ему медленного мышления. Необходимо отметить, что различия быстрого и медленного мышления в чем-то схожи с разницей между памятью и историей, которая была намечена еще в ран-

них работах Мориса Хальбвакса о коллективной памяти. В отличие от памяти, историки стремятся представить рациональный и объективный отчет о прошлом, принимая в расчет альтернативные мнения, как бы некомфортны они были для представителей той или другой нации. Поэтому историческая наука может внести существенный вклад.

Однако подобные благие намерения часто бессильны без помощи другого инструмента, а именно чувства умеренности или даже смирения. Призыв к смирению означает приглашение к тому, чтобы хоть иногда соглашаться с героем американских мультфильмов по имени Пого, который однажды воскликнул: «Мы встретились с врагом, и этот враг — мы сами!» Это призыв обращен к нам всем. Следует признать, что нам не избежать жизни в мире конкурирующих повествований различных наций. Эти рассказы важны для укрепления национальных сообществ в их стремлении достичь своих целей, но вместе с тем они могут привести к опасным конфликтам между нациями. Чтобы этого не случилось, мы должны добавить немного смирения к нашим слишком самоуверенным заключениям по поводу того, почему мы — и другие — думаем и действуем именно тем, а не иным образом.

NATIONAL MEMORY FOR HIROSHIMA: RUSSIA VERSUS THE U. S.

Key words: new unconscious, fast thinking, narrative templates, city-on-a-hill, expulsion-of-alien-enemies.

Abstract. National communities can differ sharply over their memory of an event. Studies of the “new unconscious” in cognitive science emphasize the human tendency to make automatic, fast, unambiguous, and overly confident decisions about events, a tendency that contrasts with the slower, conscious reflective processes involved in historical scholarship. In the case of national memory, I argue that “narrative templates” shape fast thinking. American national memory, for example, often relies on a “city on a hill” narrative template that has been invoked repeatedly for centuries. The legitimacy and accuracy of this schematic story may be questioned, but its impact on American political discourse is evident across centuries and political orientation. Similarly, I argue that an “expulsion of alien enemies” narrative template shapes certain aspects of Russian national memory. The goal is not only to recognize, but to manage the fast thinking that guides national memory. A first step is to appreciate the power of narrative templates and recognize that historical scholarship can provide a partial antidote.

«КАК ПОНЯТЬ СЛОЖНОЕ УСТРОЙСТВО МНЕМОНИКИ»

Интервью с М. Ротбергом

Ключевые слова: исследования памяти, многовекторная память, карта многовекторной памяти, израильско-палестинский конфликт, Александрия Окасио Кортес, Американский мемориальный музей Холокоста.

Аннотация. В своем интервью профессор Ротберг рассказывает о причинах своего интереса к исследованиям памяти. Он также объясняет основные положения своей концепции многовекторной памяти и ее соотношение с национальными и транснациональными рамками памяти. Он демонстрирует на различных примерах, как карта многовекторной памяти работает в ситуациях политически нагруженных войн памяти и делится своими творческими планами.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-17-26

Майкл Ротберг, профессор английской и сравнительной литературы, профессор Холокоста Общества 1939 г. им Самюэля Гетца, в Калифорнийском университете (Лос-Анжелес). Его работы переведены на французский, немецкий, венгерский, польский, русский, испанский и шведский языки. Автор книг: *Traumatic Realism: The Demands of Ho-*

locaust Representation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.; *The Holocaust: Theoretical Readings* (2003; co-editor with Neil Levi); *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization.* Stanford: Stanford University Press, 2009; *The Implicated Subject: Beyond Victims and Perpetrators.* Stanford: Stanford University Press, 2019.

Беседовал С. Е. Эрлих

С. Э. Вы упомянули, что ваша семейная память не повлияла на выбор сферы научной деятельности. По каким причинам вы обратились к исследованиям памяти?

М. Р. К памяти я пришел через исследования Холокоста. Тема Холокоста привлекла меня, когда я был

студентом и аспирантом. В студенческие годы я начал интересоваться литературной теорией, что в то время в первую очередь означало структурализм и постструктурализм. Будучи аспирантом, я недолго занимался у Фредрика Джеймсона (Fredric Jameson) и увлекся марксистской теорией. Когда я начал читать о Холокосте, я быстро понял, что эта тема ставит под вопрос многие мои теоретические

допущения. Грубо говоря, Холокост бросает вызов постструктуралистской точке зрения, что все существующее — это либо язык, либо дискурс, а также марксистскому тезису о примате экономики. Эти великие упрощения, как постструктурализма, так и марксизма, до сих пор лежат в основе моего осмысления мира, но они начинают объяснять, почему история Холокоста, к которой я не имею близкого личного отношения, стала так важна для меня.

В моей первой книге «Травматический реализм» (2000) ключевыми словами были «травма» и «представительство», но после этого я все больше стал интересоваться воздействием Холокоста на послевоенный мир. Категория памяти, особенно «коллективной», или «публичной», или «культурной», позволяет говорить об этом воздействии. С самого начала я критически подошел к памяти о Холокосте: с одной стороны, я убежден в необходимости сохранить память о трагических историях как важной части процесса отношений с прошлым; с другой стороны, я был обеспокоен сакральным статусом, который Холокост получил после окончания холодной войны, особенно в США, в Европе и в Израиле. Попытка проработать эту напряженность привела меня ко второй книге и к долгосрочному увлечению исследованиями памяти.

С. Э. Вы автор концепции «многовекторной памяти» (2009), которая весьма популярна. Я нашел, что этот термин используется в названиях примерно двух десятков статей, посвященных памяти разных

времен и народов. Это свидетельствует, что ваша теория обладает большим эвристическим потенциалом. Поскольку ваша книга на русский еще не переведена, могли бы вы кратко рассказать нашим читателям об ее положениях?

М. Р. Эта концепция возникла как ответ на ту напряженность, которую я описал выше: между признанием специфики различных травматических историй и необходимостью избежать превращения этой специфики в сакрализованную уникальность. На рубеже двадцать первого века это напряжение привело к тому, что многие именуют «конкуренцией жертв». Я назвал этот процесс «конкурирующей памятью». В связи с тем, что такая конкуренция и конфликты по поводу прошлого существуют в реальности и в то же время вроде бы особенно свойственны различным меньшинствам, я пришел к убеждению, что преобладающее публичное и научное осмысление этого феномена является ошибочным. Я описал этот способ мышления в логике «нулевой суммы», согласно которой памяти вытесняют друг друга из публичной сферы. Слишком большое внимание, уделяемое Холокосту, якобы блокирует воспоминания о других травмах, таких как рабство и колониализм, и, напротив, слишком большое внимание, уделяемое рабству, угрожает публичной памяти о Холокосте. Рассматривая частный, но значимый случай взаимодействия памяти о Холокосте с памятью о колониализме и рабстве, я пришел к иному выводу: коллективные памяти строятся друг на друге в диалогическом процессе заимствования, подражания и при-

своения. Я назвал эту динамическую логику «ненулевой суммы» многовекторной памятью.

Хотя я рассматривал частный случай, считаю, что обнаружил структурную логику, которая дает более общее представление о памяти. Моя точка зрения состоит не в том, что все памяти равны и что не существует иерархии в признании различных событий, вне сомнения — она существует. Но я не думаю, что мы сможем понять эти разновидности иерархий или получим ресурсы для их оспаривания, если будем придерживаться представления о публичной сфере как о дефицитном ресурсе, а о власти как исключительно источнике репрессий.

Хотя многие оспаривают те или иные мои положения, я удовлетворен тем, в какой степени этот концепт вроде бы помог людям по всему миру по-другому увидеть важные для них традиции памяти. Даже если память о Холокосте представляет крайне специфический случай, по причине ее планетарного распространения, тем не менее ей и всем другим местам памяти присущи многослойность и динамичные потоки воспоминания. Я думаю, что концепт многовекторной памяти может помочь понять такого рода мнемонические комплексы в самых разных контекстах.

С.Э. Ваш концепт предполагает, что память выходит за рамки нации-государства. Существует много понятий, относящихся к наднациональным рамкам памяти, которые отличаются прилагательным к общему существительному «память»: «транснациональная»

(*Geoffrey M. White. Remembering Guadalcanal: National Identity and Transnational Memory-Making. Public Culture volume. 1995. 7(3) 529–555*), «**космополитическая**» (*Daniel Levy and Natan Sznaider. Memory unbound. The Holocaust and the formation of cosmopolitan memory. European Journal of Social Theory. 2002. 5(1): 87–106*), «**протезная**» (*Alison Landsberg. Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia University Press, 2004*), «**транскультурная**» (*Eloise Briere. Transcultural memory: putting the ghosts of Haiti to rest. International journal of Canadian studies. 2004. 29: 63–73*), «**глобальная**» (*Jeffrey Stepinsky. Global Memory and the Rhythm of Life. American behavioral scientist. 2005. 48(10):1383–1402*), «**цифровая**» (*Joanne Garde-Hansen, Andrew Hoskins, and Anna Reading (eds). Save As... Digital Memories. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009*), «**глобитальная**» (*Anna Reading. Globalisation and digital memory: Globital memory's six dynamics. On Media Memory: Collective Memory in a Digital Age. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011*), «**путешествующая**» (*Astrid Erll. Travelling memory. Parallax. 2011.17(4): 4–18*) и т.д. **Множество этих подходов противостоит единственному понятию «национальной памяти». Как вы считаете, по какой причине новый режим памяти, который присущ нашему времени перехода от индустриальной к информационной цивилизации, описывается с помощью столь большого числа концептов? Ответ очевиден, потому что «национальная память» схватывает все 193 феномена наций-государств, являющихся**

членами ООН. Почему мы нуждаемся по меньшей мере в девяти вышеперечисленных концептах для того, чтобы описать тип памяти, который стремится стать общим достоянием человечества? Почему один концепт описывает множество феноменов и множество концептов описывают единственный феномен?

М. Р. Вы правы, что последние годы отмечены избытием концептов, которые описывают память как феномен, выходящий за пределы нации. Вероятно, существует несколько причин для этого. Кроме того, что сказали вы, я бы предположил, что это может быть признак институционализации исследований памяти, происходящей в настоящее время. Тогда как изучение памяти философами, историками и другими имеет очень длинную генеалогию (pedigree), исследования памяти как самостоятельная область — это недавнее изобретение. Действительно, международная Ассоциация исследований памяти существует только три года и журнал «Memory Studies» — ненамного ее старше. Не удивительно, что этот период консолидации изобилует концептами, которые появляются почти одновременно. Кроме того, консолидация дисциплины происходит в неустойчивой ситуации переходного периода, которая, с одной стороны, характеризуется быстрым развитием технологий мгновенной глобальной коммуникации, с другой — политической нестабильностью, когда национальные границы становятся одновременно и «пористыми», и во все большей степени охраняемыми. За пределами академического сооб-

щества — это также процесс быстрого роста музеев и различных видов туризма памяти, в ходе которого память возрождается как в высочайшей мере политизированный объект публичной озабоченности в Европе и по всему миру. Меня не удивляет, что в этих условиях мы видим множество отличающихся попыток понять смысл происходящего.

Мою собственную работу я бы тоже отнес к широкому транснациональному повороту, но способ, которым я осмысливаю транснациональное, не столько представляет выход за национальные рамки, сколько их релятивизацию. Мне нравится подход, который наметили Кьяра де Чезари (Chiara De Cesari) и Энн Ригни (Ann Rigney) в публикации 2014 г. (Chiara de Cesari and Ann Rigney, eds., *Transnational Memory: Circulation, Articulation, Scales. Media and Cultural Memory*. Berlin, De Gruyter). Они рассматривают транснациональную память как методологию, которая удерживает в поле внимания различные — от локального через национальный к глобальному — уровни функционирования памяти. Транснациональный поворот не отменяет национальную память, он формирует ее новую рамку в качестве одного из уровней, на которых работает память.

Сходным образом я не считаю, что мой концепт многовекторной памяти функционирует только на транснациональном уровне, на самом деле это динамический процесс, который работает на всех уровнях от локального до глобального. В моей статье в составе упомянутого сборника под редакцией Де Чезари и Ригни я различаю

транснациональную и транскультурную динамики: в то время как транснациональная — приводит к преодолению национальных границ и уровней памяти, транскультурная — приводит к гибридизации и наслоениям, которые сопровождают преодоление культурных границ. Транскультурная память может и часто реально существует внутри национальных границ как форма внутреннего мультикультурализма, транснациональная память необязательно является транскультурной, достаточно вспомнить о различных формах культурного империализма, вроде глобального доминирования голливудских фильмов. Динамика многовекторности работает как на транснациональном, так и транскультурном уровнях, и, может, в этом состоит один из ее специфических вкладов в мышление, выходящее за рамки методологического национализма, который был свойствен полю исследований памяти после реализации грандиозного проекта Пьера Нора «Места памяти».

В свете недавнего развития событий я хочу подчеркнуть, что многовекторная память не всегда является благотворной. Современной памяти крайне правых, например, той амальгаме нацизма, колониализма и расизма, на которую опираются крайне правые движения, также присуща многовекторность. Другими словами, крайне правые — это место, где мы одновременно видим как националистическую, так и транснациональную политическую мобилизацию, а также националистические и транснациональные политики памяти.

С. Э. Термины «глобальная память» и «цифровая память» вошли в словарь компьютерных наук раньше, чем они были приспособлены к исследованиям памяти. Ваша «многовекторная память» также имеет компьютерную параллель «многовекторная ассоциативная память». Это случайное совпадение, или язык компьютерных наук послужил источником вдохновения исследователей памяти?

М. Р. Когда я придумывал термин «многовекторная память», то, признаюсь, не знал, что он используется в компьютерных науках. Надо сказать, что я приветствую ассоциации. Моя работа основана на социальных, культурных и качественных подходах, но я воспринимаю как своего рода подтверждение справедливости моих идей, если сходная динамика обнаруживается в той сфере, где применимы количественные, технологические и даже биологические методы. Я не особенно сведущ в когнитивном и нейробиологическом подходах к памяти, но, на мой взгляд, то, что я описываю как динамику многовекторного диалога в социальной и культурной сферах, напоминает описания работы мозга в процессе воспоминания.

С. Э. В эссе «От Газы до Варшавы: Картографирование многовекторной памяти» (см. в этом выпуске журнала с. 27–56) вы представляете следующую карту многовекторной памяти: «Многовекторные памяти размещаются на пересечении оси сравнения, представляющей континуум, который простирается от приравнивания (equation) к различению, и оси политического

воздействия (*political affect*), континууму, расположенному между двумя сложными составными аффектами — солидарностью и конкуренцией». Используя дискурсы памяти вокруг палестино-израильского конфликта, вы заполняете два из четырех квадратов этой карты: 1) приравнение и конкуренция (случаи Робинсона, Финкельштайна, израильских крайне правых поселенцев в секторе Газа и палестинского «музея Холокоста» в поселке Нилин на Западном берегу); 2) приравнение и солидарность (случай Шехнера). Могли бы вы привести образцы дискурсов памяти вокруг этого конфликта, которые бы соответствовали двум другим квадратам вашей карты: 3) различие и солидарность и 4) различие и конкуренция? Или в палестино-израильском конфликте эти квадраты памяти не заполнены?

М.Р. Карта многовекторной памяти, которую я разрабатывал в эссе «От Газы до Варшавы», была ответом на задаваемые мне вопросы, как различаются разные формы многовекторной памяти. Хотя я особенно выделял «положительные» примеры — те способы обращения к травматическим формам памяти, которые способны создать солидарность между значительно отличающимися и даже противостоящими группами, — я никогда не был настолько наивным, чтобы не замечать случаев, когда многовекторность работает неблагоприятным образом. Вышеупомянутый пример многовекторной памяти крайне правых — один из таких случаев. Карта была предназначена

для того, чтобы позволить самым схематичным образом дифференцировать различные проявления многовекторной памяти, согласно тому, как производятся сравнения, и согласно аффектам, которые сопровождают эти сравнения.

Я избрал пример обращения к памяти о Холокосте в ходе палестино-израильского конфликта потому что он — по меньшей мере для меня — представляет один из наиболее сложных случаев политического противостояния, в ходе которого обращение к памяти неизбежно. Я не считаю, что памяти во всех случаях будут распределены на карте равномерно, и, возможно, вопрос распределения различных форм заинтересует кого-то из исследователей в будущем. При этом я думаю, что можно заполнить и те квадраты, что вы упомянули. Прежде всего, я скажу, что, по моему мнению, художественная работа Шехтера размещается прямо в квадрате приравнивающей солидарности. При этом она функционирует сложнее и приближается к квадрату различающей солидарности, который я считаю политически наиболее продуктивным. Но возможно более удачный пример различающей солидарности представил великий палестинский интеллектуал Эдвард Саид. Будучи горячим защитником самоопределения Палестины, Саид никогда не забывал о той сложной ситуации, которая привела палестинцев к утрате самостоятельности. То есть он признавал специфику травмы Холокоста и располагал ее рядом с Накбой (изгнанием палестинцев с их земель) без того, чтобы одна память разрушала другую. Солидарность, которую мы мо-

жем найти в его работах, не является солидарностью с израильянами как таковыми — вряд ли это возможно в условиях оккупации — но это, я считаю, солидарность с евреями как жертвами Холокоста.

Что касается квадрата различия и конкуренции — я бы сказал, что это наиболее частый случай, по меньшей мере при взгляде с израильской стороны. Дискурс уникальности Холкоста в целом часто используется в целях оправдания израильской политики в отношении палестинцев. Ужасы Холокоста используются в этих видах дискурса, в качестве оправдания практически всего, что Израиль делает в целях самообороны для предотвращения так называемого «Второго Холокоста». Я предполагаю, что в пропалестинских дискурсах существуют сходные версии, но думаю, что они не так часто встречаются. Поскольку Холокост глобально признан в качестве травматической истории, то конкурентный дискурс скорее делает больший акцент на приравнивании. Только дискурсы отрицателей Холокоста, которые, разумеется, существуют, могут быть классифицированы как извращенная форма конкурентного различения.

С. Э. Недавно член Палаты представителей США от демократической партии Александрия Окасио-Кортес (Alexandria Ocasio-Cortez) сравнила лагерь содержания нелегальных мигрантов вдоль южной американской границы с нацистскими концентрационными лагерями и тем самым, по мнению администрации Американского мемориального музея Хо-

локоста, намекнула на Холокост (edition.cnn.com/2019/06/18/politics/alexandria-ocasio-cortez-concentration-camps-migrants-detention/index.html). Вскоре после этого появилось «Заявление по поводу позиции Музея относительно аналогий с Холокостом», в котором «однозначно отвергаются попытки проводить аналогии между Холокостом и другими событиями прошлого и современности» (www.ushmm.org/information/press/press-releases/statement-regarding-the-museums-position-on-holocaust-analogies). Вы один из 580 исследователей, которые подписали письмо с обращением к администрации Музея, где это заявление осуждается, и с предложением «изменить позицию по поводу тщательного исторического анализа и сравнения» (docs.google.com/document/d/1GnVLG593oY9ymTd_qBJ1mBXISmI4M3DOrEJ9_jiiO3U/edit). Это показательный случай многовекторной памяти. Могли бы вы «картографировать» дискурсы участников этого конфликта? Получили ли вы ответ из Мемориального музея Холокоста? Риторика памяти часто отражает политические позиции. Александрия Окасио-Кортес очевидно инструментализировала память в ходе политической дискуссии между демократами и республиканцами. Можно подозревать, что заявление Музея также несвободно от политических подтекстов. Например, это могла быть поддержка Трампа произраильским лобби в благодарность за перемещение американского посольства в Иерусалим. Что бы с этой точки зрения

вы могли бы сказать о письме, которое подписали? Является ли оно выражением исключительно академических интересов, или в нем также содержатся какие-либо политические подтексты?

М. Р. Из того многого, что я должен сказать по этому вопросу, прежде всего необходимо отметить следующее: если вы хотите предотвратить использование выражения «концентрационные лагеря», потому что это якобы отсылает к Холокосту, тогда вы плохо представляете как историю Холокоста, так и историю концентрационных лагерей. Геноцидные убийства, которые мы сегодня именуем Холокостом, проходили, прежде всего, не в концентрационных лагерях, а преимущественно в лагерях уничтожения в лесах Восточной Европы. Для начала надо сказать, что первый нацистский концентрационный лагерь Дахау был открыт в 1933 г., т.е. за восемь лет до Холокоста. Первыми заключенными нацистских лагерей были политические оппоненты и те, кого рассматривали в качестве «асоциальных элементов», т.е. они не были созданы специально для евреев и, несмотря на жестокое обращение, в них не были предусмотрены массовые убийства. Холокост начался с нападением на Советский Союз в 1941 г., с массовых расстрелов евреев силами айнзацгрупп и последующего учреждения мест уничтожения, таких Хелмно, где использовался газ. Концентрационные лагеря также имеют свою историю, которая начинается ранее учреждения лагерей в нацистской Германии. Считается, что первые концентрационные лагеря были созданы испанцами на Кубе в 1896 г.

и британцами в Южной Африке несколько лет спустя.

Я был удивлен тем, что политик Александрия Окасио-Кортес вроде бы демонстрирует лучшее понимание этой истории, чем Американский мемориальный музей Холокоста и Центр Симона Визенталя. Разумеется, Окасио-Кортес использовала этот термин в политических целях, чтобы привлечь внимание к жестким и антигуманным условиям содержания в расположенных вдоль американо-мексиканской границы лагерях для ищущих убежища и беженцев. Но я бы не сказал, что она проводит сравнение. Я бы сказал, что она скорее осуществляет классификацию, определяя американские лагеря как концентрационные, и тем самым помещает их в исторический ряд, о котором я упомянул. Можно спорить, насколько легитимно классифицировать эти лагеря как концентрационные. В ходе недавних дискуссий циркулировало определение журналиста Андреи Питцер (Andrea Pitzer), которая определила концентрационные лагеря как «места содержания под арестом гражданских лиц без суда». Согласно этому обоснованному определению, я не считаю, что классификация Окасио-Кортес неверна. Я не понимаю, почему Музей ответил таким образом, но я слышал предположения, что совет Музея поддерживает Трампа. Они в конечном счете ответили на письмо ученых, но обошли те вопросы, которые нас реально заботят, и обошлись без должного уважения к составителям письма и его подписантам, среди которых много ведущих исследователей Холокоста.

Если бы мы начали картографировать этот конфликт с помощью моей схемы, то, думаю, что могли бы сказать следующее. Окасио-Кортес установила солидарность через приравнивание, но не через приравнивание Холокоста к обращению с современными беженцами, а через приравнивание различных групп, которые подвергаются режимам «концентрации». Отвержение Музеем любых аналогий с очевидностью помещает его в квадрат различающей конкуренции: это отделяет Холокост от всех других историй, и это, по моему мнению, наносит символический ущерб жертвам других форм притеснения. Письмо, которое я подписал, ближе к квадрату различающей солидарности. Я не могу говорить от имени всех подписантов, но не думаю, что кто-то из них считает, что сегодняшнее обращение с беженцами в точности то же самое, что происходило в ходе Холокоста, т.е. у нас различающая перспектива, но я действительно считаю, что мы все проявили солидарность с разными способами виктимизации, осуществляемыми руками могущественных государств. В завершение хочу сказать, что, по моему представлению, многие из нас озабочены тем опасным направлением, в котором наша страна движется вместе со многими другими странами. Поэтому нам полезно задуматься об исторических прецедентах, даже если мы знаем, что история никогда в точности не повторяется.

С. Э. Каковы ваши академические планы?

М. Р. После «Многовекторной памяти» я начал работать над двумя раз-

личными проектами. Одна из этих книг: «Причастное лицо: не только жертвы и преступники» — вышла в этом году. После «Многовекторной памяти», которая рассматривала, каким образом различные опыты виктимизации усваиваются поверх национальных и культурных границ, я стал размышлять о других обоснованных субъектных позициях в отношении к насилию. Это привело меня к понятию «причастного лица», это те, кто не препятствует, получает выгоду и помогает осуществлять насилия и несправедливости, не считаясь преступниками ни в моральном смысле, ни с точки зрения закона. Я осознал, что насилие и несправедливости часто производятся и осуществляются теми, кого мы не можем описать как «преступников», но тем не менее они являлись составной частью процессов производства господства и виктимизации. Я заинтересовался, каким образом то, что я назвал «соучастием» (implication), работает исторически (диахронно) и в настоящем (синхронно). Разрабатывая эту рамку, я исследовал целый ряд случаев, включая не только Холокост и палестино-израильский конфликт, но также последствия трансатлантической работорговли, Южную Африку в эпоху апартеида, Вьетнамскую войну и даже борьбу за Курдистан. Я считаю, что эта книга является частью исследований памяти, но ключевые слова здесь — историческая и политическая ответственность.

Мой другой продолжающийся проект — книга, написанная в соавторстве с Ясмин Йилдиз (Yasemin Yildiz), специалистом в области германских

исследований, изучающей проблемы миграции. В книге рассматривается, как иммигранты из Турции и их потомки взаимодействуют с влиятельной культурой памяти о Холокосте, существующей в Германии. Книга выросла из эссе «Память гражданства» (*Memory Citizenship*), опубликованного несколько лет назад, в котором мы рассмотрели господствующие дискурсы, посредством которых иммигранты отвечают на политику памяти о Холокосте, а также творческие способы ответов иммигрантов на эту травматическую историю, возникающие вопреки налагаемым на них строгим ограничениям. Мы особенно заинтересовались культурными ответами в литературе, искусстве, перформансе и музыке, а также в инновационных формах активизма памяти. Мы начали этот проект задолго до начала нынешнего «кризиса беженцев», но можно с уверенностью сказать, что обращение иммигрантов с памятью и гражданст-

вом является серьезной проблемой не только для Германии, но и других частей мира.

Связь между памятью и различными формами коллективной принадлежности находится в центре исследования памяти, начиная по меньшей мере с Мориса Хальбвакса, автора понятия «коллективная память». И все же связь между памятью и гражданством остается не до конца исследованной. Сосредоточение на памяти гражданства подчеркивает материальные аспекты дискурсов принадлежности: права и обязанности гражданина и негражданина, которые сопровождают «воображаемое сообщество» нации. Мы также хотим исследовать, как память гражданства работает в транснациональных пространствах, таких как Европа и иммигрантские диаспоры.

С.Э. Большое спасибо за интервью!

“UNDERSTANDING MNEMONIC COMPLEXITY”. INTERVIEW WITH M. ROTHBERG

Rothberg M. — the 1939 Society Samuel Goetz Chair in Holocaust Studies and Professor of English and Comparative Literature at the University of California, Los Angeles (USA)

Key words: memory studies, multidirectional memory, the map of multidirectional memory, Israel-Palestinian conflict, Alexandria Ocasio-Cortez, United States Holocaust Memorial Museum.

Abstract. In his interview professor Rothberg tells about his reasons of involvement in memory studies. He also explains his concept of multidirectional memory and how it correlates with national and transnational memories frameworks. He shows how his map of multidirectional memory works in different cases of politically charged memory wars and tells about his academic plans.

Майкл Ротберг

ОТ ГАЗЫ ДО ВАРШАВЫ: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МНОГОВЕКТОРНОЙ ПАМЯТИ

Ключевые слова: Израиль, Палестина, Накба, память о Холокосте, Варшавское гетто, Газа, Алан Шехнер, многовекторная память, сравнение, аффект.

Аннотация. В центре этого эссе находится полемика, вспыхнувшая после того как радикальный американский профессор социологии разослал своим студентам электронное письмо, в котором заявил, что «Газа — это израильская Варшава», и сопроводил его фоторепортажем с «параллельными изображениями нацистов и израильтян». Некоторые из этих фотографий были сделаны в Варшавском гетто. На этом примере картографируется ряд форм, в которые публичная память может облекаться в политически нагруженных ситуациях. Цель эссе состоит в предоставлении комплексного отчета о том, что Ротберг именуется «многовекторной памятью». Для этого он размещает акты многовекторной памяти на осях сравнения и политического воздействия.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-27-56

Перевод Сергея Ефроиновича Эрлиха. Редакция перевода Лилия Кагановская, профессор славянских исследований, сравнительного литературоведения, исследований медиа и кинематографа Иллинойского университета в Урбана-Шампэйн.

ПО ТУ СТОРОНУ СОПЕРНИЧЕСТВА ПАМЯТЕЙ¹

Что происходит, когда истории запредельного насилия сталкиваются друг с другом в публичной сфере? Приводит ли это к тому, что одно событие вытесняет другие из поля зрения? Должно ли столк-

новение памятей о колониализме, оккупации, рабстве и Холокосте порождать конкуренцию жертв в современных мультикультурных обществах? Эти и другие вопросы по поводу воспоминания, правосудия и сравнения образуют суть любого подхода к транскультурным обсуждениям памяти о Холокосте. Они направляли мою попытку создать теорию многовекторной памяти (multidirectional memory), способную предложить альтер-

© М. Ротберг, 2019

Впервые опубликовано: Rothberg M. From Gaza to Warsaw: Mapping Multidirectional Memory. Criticism, Fall, 2011. Vol. 53. № 4. P. 523–548.

нативную рамку для осмысления недавних и текущих войн памяти. Поэтому мой анализ сосредоточен на наиболее показательных случаях социальных конфликтов, в ходе которых стороны обращаются к памяти о нацистском геноциде европейского еврейства (Rothberg 2009).

В книге «Многовекторная память» (2009) я предпринял три шага с целью охарактеризовать новый подход к транскультурным воспоминаниям. Прежде всего, я высказался против конкуренции памятей в рамках игры с нулевой суммой, которая все еще господствует во многих, в том числе и академических подходах к публичному воспоминанию. Памяти, согласно такому пониманию, вытесняют друг друга из публичной сферы. Например, считается, что слишком большое внимание к Холокосту ведет к маргинализации других травм, или, наоборот, использование риторики Холокоста в рассуждениях о других травмах рассматривается как релятивизация и даже отрицание уникальности Холокоста. Разумеется, что циркуляцию памяти в публичной сфере определяют политические, экономические и культурные формы власти, но дофуколдианское понимание власти как репрессивной сущности не может отрицать относительную автономность памяти от этих сил. Я полагаю, что и в конфликтных ситуациях память работает продуктивно: она не уменьшается, а даже увеличивается, в том числе и в тех случаях, когда речь идет о подчиненных (subordinated) традициях памяти. Я, например, доказываю, что рост памяти о Холокосте никак не снизил публичного

внимания к памяти о работорговле, но, напротив, только привлек к ней дополнительное внимание, хотя во многом этого внимания все еще недостаточно.

Для иллюстрации логики игры с нулевой суммой я предпринял второй шаг, который уже подразумевается в выше приведенном примере. Я доказываю, что на самом деле не просто отделить друг от друга коллективные памяти о вроде бы не похожих исторических событиях, таких как рабство, Холокост и колониализм. Я обнаружил, что память о Холокосте не только служит локомотивом, который тянет за собой другие истории страданий, но что само возникновение памяти о Холокосте происходило под воздействием историй, которые на первый взгляд имеют к нему отдаленное отношение. Архив многовекторной памяти простирается от ранних высказываний Эме Сезер (Aimé Césaire), Ханны Арендт, Уильяма Дюбуа (Дюбойса, W. E. B. Du Bois) и других до более современных фигур, таких как Кэрил Филлипс (Caryl Phillips), Лейла Себбар (Leïla Sebbar) и Михаэль Ханеке.

Кроме обсуждения проблем, возникающих в результате ограничения памяти рамками игры с нулевой суммой, и совместного рассмотрения историй, которые обычно осмысливаются порознь, мое исследование обращается к смысловому ядру войн памяти, а именно к «само собой» понимаемой связи между коллективной памятью и групповой идентичностью, напрямую соединяющей, например, еврейскую память с еврейской идентичностью

и в то же время отделяющей их от афроамериканской памяти и афроамериканской идентичности. Между тем моя книга демонстрирует, что память о Холокосте — это не просто одна из форм еврейской памяти, точно так же как носители памяти о рабстве и колониализма это не только жертвы рабства и колониализма и их потомки². Обнаруживая интеллектуальную и художественную контртрадицию, которая создает общую память о нацистском геноциде, колониализме и рабстве, отказывается от игры с нулевой суммой и тем самым выходит за общепринятую рамку политики идентичности, я таким образом демонстрирую, как публичная артикуляция коллективной памяти одних маргинальных и оппозиционных социальных групп обеспечивает другие группы ресурсами, позволяющими сформулировать свои собственные требования о признании и правосудии.

В данном эссе я хочу усовершенствовать мой подход, для чего обращаюсь к наиболее сложным и вызывающим особое беспокойство случаям многовекторности. Если, как я доказываю, публичная память действительно имеет многовекторную структуру, т.е. характеризуется постоянными транскультурными заимствованиями, обменами и их приспособлением к новой среде, то это не означает, что политика

² См. также важное исследование Элисон Ландсберг (Alison Landsberg), в котором утверждается, что развитие медиа в эпоху модерна привело к тому, что память больше не связана с «органическими» сообществами и становится доступной для творческой адаптации и обмена между категориями идентичности (Landsberg 2004).

многовекторной памяти сама по себе способна что-либо нам гарантировать. Действительно, благодаря глобальной вездесущести в современной публичной сфере отсылок и аналогий с нацистами и Холокостом, очевидно, что высказывание почти любой политической позиции может облекаться в многовекторную форму. Сами по себе такие аналогии и отсылки не обязательно являются воспоминаниями, но они неизбежно функционируют как строительные блоки или морфемы публичной памяти. В ответ на высокие ставки умножающихся курсов памяти, возникает насущная необходимость развивать этику сравнения, которая могла бы отличить продуктивные формы памяти от тех, что ведут к конкуренции, присвоению или тривиализации³.

В качестве материала для обсуждения я избрал ожесточенный конфликт памяти, который сопровождал наступление Израиля в секторе Газа в декабре 2008 — январе 2009, в результате которого за три недели были убиты порядка 1400 палестинцев, большинство из них гражданские лица, и была разрушена значительная часть инфраструк-

³ Обращение к этой проблеме приводит к размышлениям по поводу того, как различные представления о политической субъектности и правосудии кодируются в актах публичной памяти. Опираясь на работы Джудит Батлер, Нэнси Фрэйзер и Айрис Марион Янг, я утверждаю, что основой многовекторной памяти служат концепции солидарности и правосудия, которые задают рамки, соразмерность и аффект, следовательно, ставят вопросы политического представительства и юрисдикции, а также эпистемологических основ и эмоциональной тональности для признания. См.: (Butler 2009; Fraser 2009; Young 1997).

туры, уже до того пострадавшей от блокады.

Израильские потери составили тринадцать человек, из них десять солдат (четверо пали жертвами дружественного огня) и трое гражданских лиц из южных израильских поселков, попавших под ракетный обстрел палестинцев. Международная комиссия ООН по расследованию фактов военных действий в Газе, возглавляемая уважаемым южноафриканским юристом еврейского происхождения Ричардом Голдстоуном, установила, что обе стороны нарушали международное гуманитарное законодательство, но 575-страничный доклад комиссии показал, сколь асимметричны были эти нарушения в человеческом измерении (United Nations 2009).

В центре моего внимания находится полемика, вспыхнувшая после того, как радикальный американский профессор социологии разослал своим студентам электронное письмо, в котором заявил, что «Газа — это израильская Варшава», и сопроводил его фотоэссе с «параллельными изображениями нацистов и израильтян». Некоторые из этих фотографий были сделаны в Варшавском гетто. Эта полемика не была изолированным явлением. Развернувшиеся в то же самое время споры по поводу пьесы Кэрил Черчилль (Caryl Churchill) «Семь еврейских детей: пьеса для Газы» (2009) указывают на необходимость критического обращения к генеалогии дискурсов памяти⁴. Эта генеалогия

⁴ В связи с увеличением подобных явлений, в недавнем докладе Европейского института изучения современного

свидетельствует, что отсылки к Варшаве времен Холокоста, сопровождавшие эти дискуссии, возникали отнюдь не произвольным образом. Далее я покажу, что Варшавское гетто уже долгое время является сердцевинной многовекторной памяти при обращении к случаям колониального и расового насилия. Поэтому я помещаю недавнюю полемику в более широкое дискурсивное поле памяти о Варшаве, чтобы потом вернуться к специфической динамике израильско-палестинского конфликта.

Вопреки тому, что в моем анализе значительное внимание уделяется конкретному конфликту, моя цель состоит в картографировании общего спектра форм, в которые может облекаться память в политически нагруженных ситуациях. Размечая это дискурсивное поле, я разделил его на четыре части. Многовекторные памяти размещаются на пересечении оси сравнения, представляющей континуум, который простирается от приравнивания (equation) к различению, и оси политического воздействия (political affect), континууму, расположенному между двумя сложными составными аффектами — солидарностью и конкуренцией. Несмотря

антисемитизма (The European Institute for the Study of Contemporary Antisemitism) предлагается рассматривать подобные аналогии как язык вражды и, следовательно, подвергать их авторов уголовному преследованию. В данном эссе я критически отношусь к ряду высказываний в сфере памяти, тем не менее не согласен с тем, что криминализация является продуктивным ответом на вызывающие беспокойство аналогии и злоупотребления памятью. См.: (Ignaski, Sweiry 2009). См. также полезную критическую дискуссию по поводу упомянутого доклада: (O'Neill 2009).

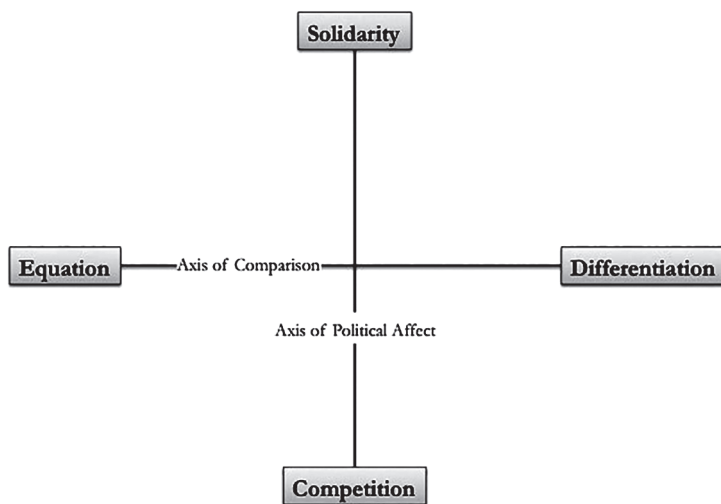


Рис. 1. Карта многовекторной памяти

на схематизм, эта карта дает ориентиры для исследования политического воображения в эпоху транскультурной памяти (рис. 1). Это позволяет продемонстрировать, что радикальная демократическая политика памяти нуждается в дифференцированной эмпирической истории, моральной солидарности с жертвами различных случаев насилия и этике сравнения, которая координирует асимметричные требования жертв. Данная концепция политической памяти в свою очередь убеждает, что дискурсы, основанные на различении и солидарности, обладают большим политическим потенциалом, чем те, что часто встречаются в израильско-палестинском случае и подразумевают логику приравнивания различных историй или же противопоставляют жертв, исходя из логики антагонистической конкуренции. В центре моего внимания находится вовсе не внутripалестинский дискурс, который требует иного набора интерпретационных инструментов.

Скорее, я являюсь сочувствующим критиком транснациональных дискурсов солидарности с палестинцами. В условиях оккупации и блокады такая солидарность особенно необходима, но формы этой солидарности все еще требуют осмысления⁵.

НА РУИНАХ ВАРШАВЫ

Варшавское гетто — это многозначный (multivalenced) символ памяти, который всегда вызывал сильный резонанс в публичном дискурсе. Гетто площадью 1,3 кв. мили, куда были согнаны примерно 400 тыс. евреев, было создано нацистами

⁵ Нарастание конфликта вокруг блокады Газы было обусловлено превентивными мерами Израиля против попыток международных активистов прорвать блокаду, что в печально знаменитом случае пассажирского судна «Мави Мармара» (Mavi Marmara) привело к исходу со многими смертями. См. коллекцию документов и исследования, посвященных израильской атаке на флотилию международных активистов: (Moustafa Bayoumi 2010).

осенью 1940 г.⁶ Три особенности формируют наследие памяти этого места как пространства почти абсолютной сегрегации и притеснения; промежуточной станции для сотен тысяч евреев, отправленных отсюда в лагерь смерти, прежде всего в Трешлинку; территории, на которой в 1943 г. вспыхнуло одно из самых героических сражений Сопротивления, носившее самоубийственный характер. Отсылки к Варшаве, использующие эти обстоятельства либо вместе, либо порознь, укоренены в коллективной памяти самой разной политической направленности — либеральной, коммунистической, сионистской и, в последнее время все чаще, в антиссионистской, и это еще не полный список. Далее я сосредоточусь только на одном аспекте памяти о Варшаве, а именно том, который включает ее в диалог с проблемами расы и колониализма.

Я начну с двух примеров, извлеченных из архива многовекторной памяти, которые могут служить начальной точкой для предлагаемого мной картографирования. В 1949 г. афроамериканский исследователь и гражданский активист Уильям Дюбуа посетил Варшаву, где увидел руины гетто, полностью разрушенного нацистами после подавления восстания. Тремя годами позже Дю-

⁶ Энциклопедический обзор Варшавского гетто см.: (*Engelking, Leociak* 2009). Для сравнения, население сектора Газа на июль 2009 г. составляло 1,5 млн, а площадь — 360 кв. км. Население растет темпами в три раза выше среднемировых, средний возраст жителей 17,4 года, и 44,4% населения моложе 15 лет (Central Intelligence Agency [CIA], *The World Factbook*, accessed 20 August 2009, available at www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/).

буа написал краткую статью «Негр и Варшавское гетто», в которой вспоминал о своей поездке. В то время, когда в английском языке еще не было ни одного слова для обозначения того, что мы сегодня называем Холокостом, Дюбуа размышлял о значении опыта евреев времен Второй мировой войны для глобальной проблемы расы⁷. Результатом, как он писал, «моего взгляда на Варшавское гетто» и на скульптуру Натана Рапопорта, посвященную восстанию героев гетто, стало «не более полное понимание проблемы евреев в мире, но более полное понимание проблемы негров (Negro problem). Проблема рабства, освобождения и привилегированного класса (caste) в Соединенных Штатах перестала восприниматься мной как обособленное и уникальное явление. Она перестала быть проблемой цвета кожи и других физических и расовых характеристик, что было для меня особенно сложно, т. к. всю мою жизнь разделение по цвету являлось реальной причиной нищеты. <...> Теперь я понял, что расовая проблема не совпадает с делением по основаниям цвета кожи, других физических характеристик, веры и социального положения. Реальной причиной являются культурные шаблоны, извращенные учения, а также ненависть и предрассудки, которые могут распространяться на все народы и причинять бесконечное зло всем людям» (*Du Bois* 1952).

⁷ Исследователи быстро и решительно меняют наши представления по поводу первых лет памяти о Холокосте. Это один из главных сюжетов моей книги «Многовекторная память». Подробное освещение этой проблемы в американском контексте см.: (*Diner* 2009).

В коротком эссе Дюбуа привлекают внимание два момента: его солидарность с историей евреев и провидческое понимание относительноности различных историй расового насилия. Преодолев основанный на личном опыте концепт «обособленного и уникального явления», Дюбуа взамен приходит к многовекторному пониманию расы. Он опирается на материальные следы нацистского геноцида, чтобы осмыслить прошлое и настоящее афроамериканцев. Интерпретация значения Варшавского гетто в расширенном смысле проистекает в свою очередь из опыта и памяти о расизме, которые Дюбуа переосмысливает в своей статье: «Я не раз был свидетелем социальных столкновений: криков и выстрелов во время бунта на расовой почве в Атланте, маршей Ку-клукс-клана, угроз судебного и полицейского преследования, заброшенных и разрушенных жилищ. Но даже в самом страшном своем воображении я не видел ничего подобного тому, что представилось моему взору в Варшаве в 1949» (Ibid.: 14). Важно подчеркнуть, что это асимметричное понимание, пришедшее к Дюбуа в 1952 г., является пересмотром его прежних взглядов, которые, в частности, нашли отражение в часто цитируемом высказывании 1947 г. из его книги «Мир и Африка», что «не было таких преступлений нацистов, <...> которые европейская христианская цивилизация не опробовала на цветных людях по всему миру» (Du Bois 1947: 23)⁸. После Варша-

вы Дюбуа, напротив, соотносит истории черных и евреев без того, чтобы стирать их различия или фетишизировать их уникальность. Близкое прошлое не является ни «обособленным и уникальным», ни «равнозначным», скорее это модифицированная форма «двойственного сознания», способность объединять разнородные элементы в открытый ассамбляж (open-ended assemblage).

Спустя десятилетие после того, как был опубликован «Негр в Варшавском гетто», французская писательница Маргерит Дюрас (Marguerite Duras) также обратилась к гетто, чтобы, вопреки различию контекста, выразить солидарность. В статье «Два гетто», основанной на интервью и опубликованной в еженедельнике новых левых «Франс обсерватёр» вскоре после убийства двух алжирских рабочих 17 октября 1961 г., Дюрас сопоставляет их с выжившим узником Варшавского гетто (Duras 1961) (рис. 2). На первый взгляд название статьи, кажется, предлагает уравнение гетто — места принудительного содержания евреев во время Второй мировой войны, с местами проживания алжирцев на поздней стадии колониализма. Это впечатление усиливается сопровождающими статью «параллельными» фотографиями, на которых изображены алжирский рабочий и еврей с желтой звездой. На самом деле ответы Дюрас в большей степени основаны на различиях, чем на сходствах. Так же как «Негр в Варшавском гетто», текст Дюрас

жертв, но Дюбуа пришел к более нюансированному взгляду в статье «Негр в Варшавском гетто».

⁸ Этот пассаж часто используется как свидетельство того, что нацистский геноцид был простым повторением колониального насилия, перенесенного на европейские группы

ALGÉRIE : LES NOUVEAUX CONTACTS

france Observateur

12^e Année - N° 601 - Jeudi 9 Novembre 1961 1 N. F.

PIERRE BELLEVILLE
et SERGE MALLET :

LA BATAILLE DE LA VILLETTE



M. Fontanet s'étant épuisé en vain à essayer de suivre le bœuf, M. Missoffe, le nouveau secrétaire d'Etat au Commerce Intérieur, a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'engager la bataille de la Villette contre les dirigeants du marché de la viande.

Face à la solidarité de tous les intermédiaires, du maquignon au boucher détaillant, le « grand maître des prix » a été jusqu'à parler de « nationalisation ».

En fait, le vrai problème est celui de l'organisation des consommateurs et de la liaison de ces groupes organisés avec les groupements de producteurs. (Page 5.)

UN DOCUMENT :

le 22^e congrès vu par Togliatti



Le XXII^e Congrès du Parti Communiste d'Union Soviétique a eu lieu, comme il fallait s'y attendre, de s'remous importants dans les différents partis communistes du monde entier.

Le Parti français s'en tient à l'interprétation la plus restrictive des textes. La condamnation du passé n'entraîne pour lui aucune conséquence pour l'avenir.

Ce n'est pas le point de vue du Parti Communiste Italien qui semble vouloir se placer à l'avant-garde d'un courant de « libéralisation ». Palmiro Togliatti vient, à ce sujet, de faire d'importantes déclarations (voir page 10).

GEORGES
SUFFERT :

Un homme qui monte



Qu'y aura-t-il après le gaullisme ? Une autre IV^e ou une VI^e entre les mains d'une nouvelle génération d'hommes encore inconnus du grand public mais qui cherchent inlassablement dans la définition des relations entre syndicalisme et politique autre chose qu'une planche de salut pour un coup de force éventuel ?

Ces hommes, France Observateur, dans une série de portraits, entreprend de vous les présenter.

Aujourd'hui, Eugène Descamps, secrétaire général de la C.F.T.C., héritier direct de toute une tradition ouvrière et syndicale. (Page 7.)

MARGUERITE DURAS :

LES DEUX GHETTOS



L'ouverture par le Parquet de la Seine d'informations judiciaires portant sur la découverte d'une solbataine de cadavres de Nord-Africains repêchés ou retrouvés et sur le dépôt d'une quarantaine de plaintes pour disparitions, sévices, séquestration ou vol a été annoncée officiellement le 6 novembre.

Telle est la première réponse aux questions que nous avons posées dans nos précédents numéros. Elle n'est pas suffisante (voir page 8).

Marguerite Duras a posé, elle aussi, des questions : à deux ouvriers algériens d'abord, à une survivante du ghetto de Varsovie ensuite.

Les questions sont identiques, les réponses sont éloquentes. Le temps des ghettos, que l'on croyait révolu, est-il revenu ? (Voir pages 8, 9 et 10.)

Y A-T-IL TROP D'AUTOMOBILES ?

Рис. 2. Обложка «Франс обсерватёр» от 9 ноября 1961 г. с анонсом статьи Маргерит Дюрас «Два гетто». Коллекция автора

демонстрирует чувствительность к многовекторности — тенденцию рассматривать историю как родственное явление, сотканное из похожей, но не идентичной ткани.

Примеры Дюбуа и Дюрас, которые относятся к тому времени, когда знание об антиеврейской политике нацистов еще не приобрело общепринятого сегодняшнего понимания Холокоста как «обособленного и уникального явления», помогают нам начать разметку поля многовекторной памяти. В то время как статья Дюрас и многие другие обращения к Холокосту в свете Алжирской войны выглядят, прежде всего, как формы солидарности, опирающиеся на приравнивание двух историй, они часто присоединяются к видению Дюбуа, согласно которому солидарность выстраивается посредством «различающего сходства» (*differentiated similitude*). Эти примеры предоставляют нам возможность наблюдать почти забытое сегодня понимание Шоа, которое охватывает его специфику и одновременно его потенциальные связи с другими историями расизма. Перемещаясь в настоящее время и в пространство ближневосточного конфликта, важно помнить о многовекторной динамике, которую эти действия и инсценировки памяти иллюстрируют, и о том пути, который проделала память о Холокосте после 1950-х и начала 1960-х гг.

«ГАЗА — ЭТО ИЗРАИЛЬСКАЯ ВАРШАВА»

В начале 2009 г. в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре разразился скандал, когда профессор

социологии оказался под угрозой дисциплинарных мер из-за письма, разосланного им по электронной почте своим студентам, слушателям курса «Социология глобализации». В самом конце израильских бомбардировок Газы и в день памяти Мартина Лютера Кинга профессор Уильям Робинсон (*William Robinson*) разослал студентам письмо, озаглавленное «Параллельные фотографии нацистов и израильтян». В тексте письма он, кроме прочего, утверждал, что «Газа — это израильская Варшава». Вместе с письмом он переслал фотоэссе с веб-сайта политического исследователя Нормана Финкельштейна (*Norman Finkelstein*), в котором были сопоставлены фотографии нацистских преследований европейских евреев во время Второй мировой войны и фото подавления палестинцев израильтянами. Несколько фотографий эпохи Холокоста были извлечены из так называемого доклада Струпа, документа, который был создан нацистами в память о ликвидации Варшавского гетто⁹.

⁹ Робинсон отправил электронное письмо 19 января 2009 г., через день после окончания израильских бомбардировок, хотя к этому времени ситуация оставалась крайне тяжелой. Подробнее о бомбардировках Газы и ситуации в целом см. доклад Международной амнистии: *Israel/Gaza: Operation "Cast Lead": 22 Days of Death and Destruction* (London: Amnesty International, 2009) и доклад Международной комиссии ООН по расследованию фактов военных действий в Газе (доклад Голдстоуна): *Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories* (New York: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR], 15 September 2009), accessed 15 October 2009, available at www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/factfindingmission.htm. Подборка документов, относящихся к случаю Робинсона, размещена на сайте,

После получения этого электронного письма два студента еврейского происхождения отказались слушать курс своего профессора. Несколько недель спустя, после вмешательства Антидиффамационной лиги и других произраильских организаций, университет начал расследование деятельности Робинсона.

Можно по-разному подходить к этому случаю. Хотя университет в итоге снял обвинения, но последствия остались. Важно сразу заявить, что преследование Робинсона было преднамеренной попыткой ограничить академические свободы. Это необходимо сделать потому, что в последнее время было немало случаев, когда американские исследователи, критически относящиеся к Израилю, становились мишенью кампаний, оркестрованных из-за пределов академического сообщества¹⁰. Хотя мой подход включает

который создали его сторонники из Комитета защиты академических свобод в Калифорнийском университете Санта-Барбары (Committee to Defend Academic Freedom at UCSB), sb4af.wordpress.com. Фотоэссе без указания авторства Финкельштейна опубликовано на его сайте под заголовком «Deutschland Uber Alles: внуки выживших жертв Холокоста ведут себя в отношении палестинцев точно так же, как действовали по отношению к ним германские нацисты в годы Второй мировой войны» (www.normanfinckelstein.com/deutschland-uber-alles/). Несмотря на отсутствие прямого указания авторства, я буду в дальнейшем именовать его фотоэссе Финкельштейна, чтобы отметить его в качестве несомненного источника для Робинсона.

¹⁰ Превосходный отчет об угрозах академической свободы для американских исследователей — критиков израильской политики см.: (Goldberg, Makdisi 2009). По поводу причастности дела Робинсона к проблеме академической свободы в цифровой век см.: (O'Neil 2009a).

наряду с другими насущный вопрос академической свободы, поскольку он связан с темой политически ориентированной педагогики, этот сюжет занимает маргинальное место в моих рассуждениях. Я рассматриваю случай Робинсона прежде всего через его причастность к традиции многовекторной памяти о Варшавском гетто с целью продолжить картографирование политики памяти¹¹.

¹¹ Одним из первых уроков, полученных при изучении этого случая, является сложность выбора контекста для его оценки публичной памятью. Примеры Дюбуа и Дюрас представляют собой важный идеологический контекст и потенциально противостоят электронному письму Робинсона, поскольку они обращаются к Варшаве в расовом контексте борьбы за деколонизацию. При этом их публикации изначально циркулировали в относительно узком пространстве прессы левой направленности. Динамика случая Робинсона, напротив, имеет многовекторную сущность, переходя от локальной, хотя и виртуальной, педагогической ситуации к национальному и международному скандалу, двигателями которого являются как местные, так и внешние акторы и сети, начиная с произраильских групп давления и продолжая организованными защитниками Робинсона, опирающимися на интернет-ресурсы. Согласно модели многовекторной памяти, можно утверждать, что такая динамика не является частью игры с нулевой суммой, поскольку конфликтные интерпретации прошлого и настоящего отражаются друг в друге и тем самым создают возможность для дальнейшего высказывания всевозможных политических мнений. Вирусная природа современной интернет-полемике очевидно играет сегодня важную роль в распространении многовекторных форм памяти, особенно когда эти формы пересекаются с жаркими спорами по поводу израильско-палестинского конфликта. Дискурс самого Робинсона, а также споры, возникшие вокруг него, доказывают, что ближневосточный конфликт имеет транснациональное измерение, которое, с одной стороны, локализовано как борьба за землю и права, с другой стороны, вписано в глобальный контекст

Варшавское гетто всегда находилось в центре процесса циркуляции памяти о Холокосте в связи с Палестиной — Израилем. В период до учреждения государства Израиль и позже до процесса Эйхмана коммеморация восстания Варшавского гетто отражала амбивалентное отношение сионизма к Холокосту. Идеологи сионизма отмечали подвиг «мучеников» Варшавы и в то же время дистанцировались от мнимой пассивности диаспоры. Как показывает Идит Цертал (Idith Zertal), память о Варшавском гетто была также интегрирована в конфликт с палестинцами и другими арабскими странами региона и являлась для сионистов инструментом легитимации (Zertal 2005)¹². Сионистские поселенцы с самого начала воспринимали восстание Варшавского гетто как подражание их собственной борьбе с местным населением (Ibid: 25), а сразу после того, как началась оккупация палестинских территорий, один из лидеров кибуц «доказывал, что Шестидневная война 1967 г. была продолжением восстания в гетто» (Naor 2003)¹³. Уже в ходе нацистско-

как борьба за признание, представленность и политическую легитимность. Другой анализ значимости ссылок на Холокост, которые возникли в результате конфликта в Газе, осуществленный с совершенно иной интеллектуальной и политической точки зрения, см.: (Seymour 2010).

¹² Подробнее о месте Холокоста в израильско-палестинском конфликте, а также подробные отчеты, соответственно сфокусированные на различных сторонах конфликта, см.: (Segev 1993; Achcar 2010).

¹³ По более позднему и эксцентричному свидетельству газеты «Гаарец», один из израильских офицеров заявил, что в связи с проблемой оккупации Палестины израильские военные «анализировали опыт других

го геноцида Газа и Варшава неявно ассоциировались. В 1943 г. еврейская организация левой ориентации Ха-шомер Ха-цаир (Hashomer Hatzair) учредили кибуц в нескольких милях от будущего сектора Газа. Кибуц был назван Яд-Мордехай в честь руководителя восстания Варшавского гетто Мордехая Анелевича (Mordechaj Anielewicz). Позже там был установлен памятник Анелевичу работы Натана Рапопорта, который до сих пор стоит лицом к Газе. (По иронии судьбы созданная Рапопортом скульптура героев восстания гетто глубоко поразила Дюбуа во время посещения Варшавы в конце 1940-х.)

Центральное место, отводимое Холокосту и Варшавскому гетто в деле легитимации Израиля, привело к тому, что критики этого государства усваивают те же самые тропы, возлагая ответственность на другую сторону. Так, в июне 2003 г. член британского парламента от партии лейбористов Уна Кинг (Oona King) посетила Израиль и оккупированные палестинские территории, после чего написала отчет о своей поездке для «Гардиан». Одно предложение в статье Кинг, которая, как и Робинсон, имеет еврейские корни, но ее отец афроамериканец, вызвало особенно горячую дискуссию. Размышляя о своем первом дне пребывания в секторе Газа, когда в результате атаки израильского вертолета были убиты женщина и ребенок и десятки гражданских лиц были ранены, Кинг пишет:

боевых операций, в том числе, как это не шокирующе звучит, операции германской армии в Варшавском гетто» (цит. по: Amir Oren, in Ha'aretz, 25 January 2002).

«Основатели еврейского государства не могли вообразить иронию, с которой столкнулся сегодняшний Израиль: избежав пепла Холокоста, они заключили другой народ в ад, который по своей сути, хотя не в той же степени, напоминает Варшавское гетто» (King 2003)¹⁴. Два года спустя Кинг столкнулась с иронией по отношению к себе. Из-за поддержки войны в Ираке она уступила свое место в парламенте кандидату от Партии уважения (Respect party) Джорджу Гэллуэю (George Galloway), который во время осады января 2009 г. не раз проводил аналогии между Газой и Варшавой¹⁵.

¹⁴ Коллега Кинг, член британского парламента Дженни Тондж (Jenny Tonge), использовала более обтекаемую риторику, которая избегает прямых сравнений оккупации Газы и Холокоста, но тем не менее устанавливает связь между ними (см.: Tonge 2003). См. ответ на заявление Тондж: Barbara Grant, "Time to Get Real," Guardian, 30 June 2003. См. также разбор заявления Кинг со стороны израильского критика оккупации Газы: (Hass 2003).

¹⁵ George Galloway, Talksport Radio, 2 January 2009 ("Gaza is the Warsaw Ghetto—George Galloway—2 Jan 09," accessed 1 September 2009, available at www.youtube.com/watch?v=DrK90LvqbRk). Гэллуэй ведет речь «о прямом сравнении» Варшавского гетто и того, что он именует «гетто Газы». Этот дискурс я помещаю в квадрат «приравнивание — солидарность» моей карты. Видео, опубликованное «подпольно», включает монтаж фотографий, сходных с теми, что я назвал фотоэссе Финкельштейна, но располагает их одно за другим, не сопоставляя в одном пространстве. Сигрид Раусинг (Sigrid Rausing) также цитировала выступление Гэллуэя на Трафальгарской площади 3 января 2009 г.: «Сегодня палестинский народ Газы — это новое Варшавское гетто, и те, кто их сейчас убивает, ничем не отличаются от тех, кто убивал евреев в Варшаве в 1943» ("The Code for Conspiracy," New Statesman, 27 April 2009, 19). Эссе Раусинг направлено против таких приравниваний, но ее вывод, что палестинский антисемитизм является главным препятствием к миру, является тенденциозным.

Заявляя, что «Газа — это израильская Варшава», Уильям Робинсон тем самым присоединился к устоявшейся традиции по производству аналогий. В риторике Робинсона мобилизованы как вербальные, так и визуальные инструменты. Он использовал логику лингвистического приравнивания и аналогии, в то же время дополняя эту логику изображениями. Что двигало его риторической стратегией, которая была многократно опробована до него? Возможно, вербальные и визуальные отсылки Робинсона к Варшаве и Холокосту вовлекают в политическую борьбу тот феномен, что Джудит Батлер (Judith Butler) описывает в книге «Рамки войны»: достойными «оплакивания» (recognized as "grievable") признаются только те, чьи жизни воспринимаются как человеческие. Батлер спрашивает: «Что позволяет жизни стать видимой в ее уязвимости и в ее потребности убежища и что заставляет нас видеть или понимать некоторые жизни таким образом? <...> Жизнь начинает восприниматься другими, только когда она включена в оценочные структуры. <...> Только бросая вызов доминирующему посреднику, с которым производится сравнение, некоторые жизни могут стать видимыми или познаваемыми в своей уязвимости» (Butler 2009: 51).

Обращение Робинсона к Холокосту в контексте израильско-палестинского конфликта подтверждает аргумент Батлер и напоминает о необходимости бросить вызов тому, что Жак Рансьер (Jacques Rancière) назвал бы господствующим «распределением чувствительности» (le partage du sensible), с целью

представить жизни палестинцев видимыми и тем самым оплакиваемыми (Rancière 2004). Робинсон, как и многие из тех, что возмущены не только агрессией Израиля, но и тем, как она воспринимается в центрах глобальной власти, прибегает к устойчивому набору изображений, чтобы представить страдания палестинцев как соизмеримые с эпистемологическими и аффективными рамками, которые господствуют в медийных нарративах. Это действительно верно, по крайней мере для Соединенных Штатов, что существует значительное неравенство в распределении «оплакивания», поэтому к палестинцам обычно относятся с меньшим вниманием, чем к тем, чьи жизни считаются полноценными. Тем не менее стратегия Робинсона вызывает вопросы.

Фотоэссе и краткие подписи к ним, взятые с вебсайта Нормана Финкельстайна, повинуются логике, схожей с аналогиями Газы и Варшавы Робинсона, и воспринимаются как буквальное воплощение желания сделать страдания палестинцев видимыми. Эссе озаглавлено «Deutschland Uber Alles» (Германия превыше всего) и сопровождается разъясняющим подзаголовком «внуки выживших жертв Холокоста ведут себя в отношении палестинцев точно так же, как действовали по отношению к ним германские нацисты в годы Второй мировой войны». Потом следует вертикальная лента с фотографиями. С левой стороны располагаются черно-белые фотографии нацистов и евреев, и с правой стороны — цветные фотографии израильтян и палестинцев. Фотографии ранжиро-

ваны «по нарастающей», от сцен строительства ограждений, стен и лагерей до изображения узников за колючей проволокой, столкновений солдат и гражданских лиц и жутких снимков мертвых тел. Подобные параллельные фотографии сопровождают статью Дюрас. Но ее текст, как я уже говорил, работает против приравнивания и симметрии, и даже фотографии алжирского рабочего и предполагаемого узника Варшавского гетто разделены узкой белой полосой. Такая рамка отсутствует в эссе Финкельстайна, где во всех шести разделах разрыв между фотографиями отсутствует. Отсутствие пространства между фото, как по горизонтали, так и по вертикали, подразумевает, что обе истории сливаются друг с другом.

Изображения фотоэссе тщательно подобраны, с целью продемонстрировать их подобие через сходное положение фигур, жестов и т.д. Таким образом возникает сходство без различия, что превращает сравнение в приравнивание. Стратегия сделать палестинцев видимыми через фотографии Холокоста указывает на пределы борьбы за признание, в ходе которой, как это отмечает Батлер, категории, противостоящие невидимости и «неоплакиванию», становятся понятиями видимости и оплакивания, что часто само по себе проблематично. Даже когда распознавание становится возможным для ранее «закупоренных» (occluded) субъектов, те самые «узнаваемые признаки доказывают неспособность признания» (Butler 2009: 141). Направление анализа, осуществленного Батлер, во многом превосхищает электронное

письмо Робинсона и фотоэссе Финкельстайна, представляющие страдания палестинцев в форме признания, основанной на стереотипной риторике и иконографии Холокоста. Таким образом они предполагают вероятность того, что продвигаемые ими формы признания также повлекут за собой невозможность признания, в данном случае неспособность осознать специфику как положения палестинцев, так и жертв Холокоста.

Одним из наиболее тревожных примеров этого является предпринятое в разделе «пункты проверки» упомянутого фотоэссе сопоставление израильского проверочного пункта в Хуваре, рядом с Наблусом, и фотографии рампы Аушвица-Биркенау¹⁶, которая была не пунктом проверки, а местом, где заключенных делили на две группы: тех, кто будет направлен в лагерь, и тех, кого немедленно убьют в газовых камерах¹⁷.

¹⁶ Фотоэссе Финкельстайна обходится без подписей к фотографиям. Какое-то время назад фотография проверочного пункта в Хуваре находилась на сайте Международного комитета Красного Креста с копирайтом Ассошиэйтед пресс /Н. Иштайех (Associated Press / N. Ishtayeh, accessed 21 July 2009, www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/palestinereport-131207). Сейчас она недоступна. На сайте www.remember.org (accessed 21 July 2009), под фотографией селекции узников в Аушвиц-Биркенау указано, что она принадлежит музею Дахау.

¹⁷ Такое же сопоставление фотографий можно увидеть в музее Холокоста палестинского поселка Нилин на западном берегу реки Иордан. Репортаж германского телевидения о музее рассказывает, что его экспозиция устанавливает параллели между Холокостом и Накбой (исходом палестинцев в 1948 г.) и израильской оккупацией. Одна из подписей в музее гласит: «Жертвы уникальные Холокоста убивает невинных палестинцев [так]» («The Holocaust unique victims kills

Необходимо также помнить, что почти все фотографии Холокоста были сделаны нацистами, в то время как значительный визуальный архив израильской оккупации создали журналисты, международные активисты и сами палестинцы¹⁸. Поверхностное визуальное сходство и даже более существенные сближения, относящиеся к регулированию пространства и подавляемым субъектам, не позволяют преодолеть столь существенные различия. Израильские пункты проверки и нацистские пункты «селекции» в Аушвице являются «злом», если использовать язык радикального израильского философа Ади Офира (Adi Ophir), поскольку они распределяют «излишние» вред и страдания с помощью институтов социального порядка. Такое распределение открыто для сравнения, как это демонстрирует Офир в своем объемном исследовании «Порядок зла». Но когда тщательное сравнение открывает путь к приравниванию технологий геноцида к технологиям оккупации, допускаются серьезные моральные и политические ошибки (Ophir 2005)¹⁹.

the innocent Palestinians [sic]”, Tagesschau, 5 September 2009, accessed 6 September 2009, available at www.tagesschau.de/ausland/pvholocaustmuseum100.html). Как было указано выше, я не считаю, что такой пример можно оценить теми же инструментами, что я использую при оценке высказываний Робинсона и Финкельстайна. В частности, этот пример может быть рассмотрен как прямой отказ от отрицания Холокоста, хотя и в форме релятивизации (relativization).

¹⁸ По поводу подхода к фотографиям палачей см.: (Hirsch 2002). См. также полезную коллекцию: (Visualizing 2008).

¹⁹ Возможно, более продуктивны другие сравнения, скажем, израильской оккупации с южноафриканским апартеидом. По поводу

Цена этих ошибок становится особенно очевидной при более внимательном изучении текста Робинсона. Несмотря на понятное желание дать верное представление о палестинцах американской публике, которая преимущественно получает информацию, согласно которой их страдания отрицаются и преуменьшаются, риторика Робинсона не затрагивает рамку господствующего политического порядка и даже подражает его «овеществляющим» (reifying) тенденциям, обходя молчанием различие форм доминирования. Хотя электронное письмо Робинсона может рассматриваться как солидарность с указанием Дюбуа о том, что ни одно страдание не может рассматриваться как «обособленное и уникальное», при этом в нем обходится вниманием важный вывод, согласно которому наследие различных страданий не может приравниваться, потому что это не моральное, а историческое суждение, имеющее этические и политические последствия. Глубинная логика приравнивания, которой проникнуто письмо Робинсона, становится очевидной, когда он пишет: «Газа — это израильская Варшава, огромный концентрационный лагерь, в котором заключенные палестинцы были блокированы и обречены на медленную смерть от недоедания, болезней и отчаяния, за два года перед тем как их приговорили к быстрой смерти от израильских бомб» (электронное письмо от 19 января

2009 г.)²⁰. Вопрос здесь не в описании страданий палестинцев, которое находится в рамках рационального дискурса, но в неявном обозначении Варшавского гетто как разновидности «концентрационного лагеря». Это смешение форм заключения присуще как горячей политической риторике, так и нашим собственным теоретическим представлениям, согласно которым лагерь стал «номосом» (организующим принципом) современности, но такое смешение не престаёт приносить ущерб²¹.

²⁰ В выступлении, которое состоялось несколько месяцев спустя после начала скандала и опубликовано на сайте Комитета по защите академической свободы в Калифорнийском университете Санга-Барбары, Робинсон поясняет, что «существуют многочисленные различия» между политикой нацистов и Израиля, и утверждает, что «приведенные аналогии между историческими и современными событиями и процессами не являлись намерением доказать их идентичность». Скорее, продолжает он, «подобные сравнения являются педагогическими средствами, предназначенными для открытия образцов человеческого поведения или, точнее, недостойного поведения людей». Электронное письмо Робинсона действительно в конечном итоге может служить этой цели и вести к более нюансированному сравнению, тем не менее и электронное письмо, и фотоэссе повинуются другой логике: а именно логике приравнивания. В своем выступлении Робинсон также определил действия Израиля как «подобные нацистскими» и повторил, что «существует отчетливая параллель между Варшавским гетто и Газой» (“Prof. Robinson Delivers Speech Addressing His Case” [23 May 2009], accessed 3 June 2009, available at sb4af.wordpress.com).

²¹ См.: (Agamben 1998). В своем кратком, но мощном эссе «Что такое лагерь?» Агамбен сжато формулирует свою точку зрения: «Если сущность лагеря состоит в материализации случайного положения и последующем сотворении пространства, в котором голая жизнь и норма достигают порога

того, что израильские формы сегрегации превзошли южноафриканский оригинал, см.: (Makdisi 2010). Более широкий подход к оккупации см.: (Ophir, Givoni, Hanfi 2009).

Частично проблема состоит в не отчетливой отсылке к концентрационным лагерям, которые иногда путают с такими лагерями смерти, как Треблинка, созданными исключительно с целью геноцида. Варшавское гетто не было ни концентрационным лагерем, ни лагерем смерти, это была путевая станция для людей, приговоренных к гибели в лагерях смерти²².

неразличимости, то мы должны будем признать, что, когда воспроизводится подобная структура, мы потенциально всякий раз сталкиваемся с лагерем, независимо от значимости совершенных там преступлений, и какими бы ни были ее название и территориальная принадлежность. <...> Лагерь <...> это новый биополитический номос планеты» (*Agamben* 2000).

²² Это наиболее важный аспект Варшавского гетто, который предается забвению с целью приравнять Газу к Варшаве. Другой пример такого приравнивания можно обнаружить в комментарии Пэт Ланкастер (Pat Lancaster), редактора британского журнала «Ближний Восток»: «Назовите меня злонамеренной, если хотите, но представьте малое пространство, где люди вынуждены жить в тесноте и антисанитарных условиях в окружении непроходимых укрепленных изгородей, их передвижения ограничены вооруженными людьми, они вынуждены заниматься контрабандой через подземные ходы, их дома бомбят и сжигают, вам это ничего не напоминает? Я легко могу описать в этих выражениях Газу января 2009, так же как Варшаву более шестидесяти пяти лет тому назад». Утверждение Ланкастер о том, что такие параллели существуют, ведет к приравниванию, которое будет справедливо только если мы оставим в стороне упоминаемый самой Ланкастер факт, что Варшавское гетто было полностью истреблено («Comment», *Middle East, February* 2009, 5). См. более нюансированное сопоставление, написанное до израильского наступления декабря 2008 — января 2009: (*Malinowitz's* 2008). Малиновиц рецензирует «Дневник Варшавского гетто» Мэри Берг (Mary Berg) и мемуары Ибтисам Баракат (Ibtisam Barakat) о войне 1967 г. и израильской оккупации.

Я предлагаю этот краткий опыт по различению не из педантизма, но потому что эти различия имеют моральное и политическое значение. В дискурсе приравнивания Варшавского гетто к Газе и израильской оккупации утрачивается несколько возможностей. Кроме того, что в данном случае искажается судьба конкретных жертв Холокоста, что является моральной ложью и иллюстрацией того, как часто акты памяти сопровождаются забвением, отсылка к Варшаве существенным образом затемняет условия жизни и смерти палестинцев. В то время как рамка Холокоста вписывается сравниваемое с ним событие в уже готовый канал публичного дискурса, обращение к ней препятствует осмыслению новых форм господства, разрабатываемых в условиях оккупации и блокады, которые отличаются от промышленного геноцида. Ситуация в Газе обусловлена контролем со стороны Израиля, существенно отличающимся от нацистского геноцида. Вместе с тем здесь накладываются друг на друга и сталкиваются различные формы суверенитета: внутripалестинский конфликт, региональные державы Израиль и Египет и глобальные структуры империи, представленные Соединенными Штатами²³.

²³ Моя позиция близка к Джудит Батлер, которая отвергает приравнивание сионизма к нацизму, но пишет, что «существуют принципы социальной справедливости, которые могут быть произведены из опыта нацистского геноцида и которые способны и должны информировать нас в ходе современных конфликтов даже в тех случаях, когда отличаются как контексты, так и формы подавления» («Is Judaism Zionism? Religious Sources for the Critique of Violence», lecture given at the conference “Rethinking Secularism,” 22 October 2009, Cooper Union,

В конце концов дискурс приравнивания, воплощенный в аналогиях между Газой и Варшавой, внедряет в палестинскую политику опасную модель виктимизации. Как путевая станция на пути геноцида Варшавское гетто не допускало иного выхода, кроме самоубийственного восстания, которое развернулось в 1943 г. Ужасная ситуация в Газе допускает несамоубийственные политические действия. Как пишет историк Марк Левайн (Mark LeVine): «Если Газа — это современная Варшава, тогда у палестинцев не остается надежды»²⁴.

В то время как логика приравнивания в риторике Робинсона очевидна, не меньшее значение в ней играет соревновательная тональность. Работа по приравниванию в текстах и изображениях не нацелена на установление солидарности двух сообществ страданий. Скорее приравнивание Газы к Варшаве делает приемлемым перенос аффекта из прошлого в настоящее: солидарность с угнетаемыми палестинцами создается за счет жертв прошлого, тех, кто, как подразумевает аналогия, либо сами сейчас являются насильниками, либо их статус жертв отменяется позднейшими действиями тех, кто действует, прикрыва-

ясь их именами²⁵. Это правда, что палестинцев часто извращенно виктимизируют во имя «почитания» памяти о Холокосте, но аналогии Робинсона поддерживают извращенную логику моральной собственности, когда он, говоря об «израильской Варшаве», изображает Израиль в качестве своего рода собственника памяти о Холокосте. В фотоэссе, где подчеркиваются «семейные» связи между жертвами Холокоста и израильскими преступниками, приравнивание одновременно становится формой соревновательной агрессии и очевидным случаем миметического желания обречь на страдания других.

Признав существование связки между приравниванием и конкуренцией, мы можем расположить риторику Робинсона на карте многовекторной памяти, где она оказывается в неожиданной компании. Та же самая связка характерна для дискурса израильских правых, которые рассматривают любой шаг к миру как подготовку сцены для другого еще более ужасного геноцида (Naor 2003). Дискурс Робинсона напоминает тех еврейских поселенцев сектора Газы, которые во время «ухода» с этой территории в 2005 г., в ходе противостояния с изра-

New York City, available at The Immanent Frame, 2 November 2009, accessed 15 November 2009, available at <http://blogs.ssrc.org/tif/2009/11/02/rethinking-secularism-audio/>).

²⁴ В этой замечательной публицистической статье, которая различает ситуации Газы и Варшавы, не прибегая к релятивизации, историк Марк Левайн не упоминает Робинсона, но из заголовка публикации очевидно, что случай Робинсона подразумевается (LeVine 2009).

²⁵ См. соответствующую точку зрения Джудит Батлер в ее эссе, посвященном Примо Леви и его критике израильской политики и инструментализации Холокоста: «Дискурсивные средства, с помощью которых воскрешается память о Холокосте, — это путь вызывания повторной боли и мобилизации этой боли для других целей. Вопрос состоит в том, мобилизуется ли она в политических целях, чтобы вытеснить эту боль, закрыть пропасть между настоящим и прошлым и потерять то, с чем она соотносится (referent)?» (Butler 2009a).

ильскими солдатами выставляли вперед своих детей в позах, подражающих знаменитому мальчику из Варшавского гетто. Для них Газа тоже была израильской Варшавой и страдания жертв Холокоста выступали приемлемыми инструментами достижения политических целей²⁶. Такое картографирование приравнивания и конкуренции позволяет нам сформулировать сюжет обратной, но аналогичной позиции, которую Робинсон без сомнения намеревается оспорить: это близкое схождение крайностей различия и конкуренции, которое возникает на основе некоторых сакрализованных и инструментальных утверждений об уникальности Холокоста. В данном случае аффективный трансфер движется в противоположном направлении: потенциальное сочувствие извлекается из всех жертв, не относящихся к Холокосту, и объявляется уникальной собственностью одной группы, чьи страдания коренятся в прошлом.

²⁶ По этому поводу см. колонку Айелет Вальдман (Ayelet Waldman) на сайте www.salon.com и статью Керен Тенебойм-Вейнблатт: (*Tenenboim-Weinblatt* 2008). Говоря об освещении израильского «ухода» (“disengagement”) из сектора Газа различными израильскими газетами, Тенебойм-Вейнблатт пишет: «В то время как миф Исхода занял главное место на страницах газеты “Едиот ахронот”, визуальные ссылки на Холокост были в значительной мере приглушены. Например, когда группа поселенцев сознательно имитировала незабываемую фотографию мальчика из Варшавского гетто (с руками, поднятыми в знак сдачи в плен), фотография этой имитации была помещена лишь на 14-й странице в сопровождении язвительного текста. “Маарив” сходным образом поместил это фото на 13-й странице, в то время как “Гаарец” вообще игнорировал эту фотографию» (p. 507).

СОЛИДАРНОСТЬ: ОТ ПРИРАВНИВАНИЯ ДО РАЗЛИЧЕНИЯ

Две оси нашей карты – сравнение и аффект – являются по меньшей мере полуавтономными; следовательно, приравнивание не может быть ограничено соревновательными аффектами, производимыми аналогией Робинсона или провокациями израильских поселенцев. Напротив, комбинация приравнивания и солидарности часто возникает на карте, которую я разметил. В то время как приравнивание и конкуренция превращают желание и зависть в политическое сопротивление, которое обильует потенциалом ненависти (*ressentiment*), комбинация приравнивания и солидарности производит форму либерального универсализма, тяготеющую к мультикультурности. Подобная комбинация может быть, например, обнаружена в романах Андре Шварц-Барта (*André Schwarz-Bart*), посвященных еврейской и черной диаспорам, где перечисление общих страданий приводит к сильной сочувственной идентификации. В его романе «Женщина по имени Одиночество» (1973) эта идентификация осуществляется через сопоставление руин Варшавского гетто с теми, что возникли в результате восстания карибских рабов²⁷. Даже в высочайшей степени напряженном израильско-палестинском конфликте такие формы встречаются и строятся на том же самом материале, что использует Робинсон.

²⁷ Подробнее о Шварц-Барте см.: (*Rothberg* 2009: 135–74).

Две фотографии из фотоэссе Финкельстайна осмысливаются по-иному, в частности, в цифровой фотографии и DVD-проекции «Наследие насилия над детьми: от Польши до Палестины» израильско-британского художника Алана Шехнера, созданной в 2003 г. Фотоэссе Финкельстайна сопоставляет широко известную фотографию мальчика из Варшавского гетто с поднятыми руками, возможно являющуюся главным символом Холокоста, с двумя фотографиями палестинских мальчиков, противостоящих израильским солдатам²⁸. В работе Шехнера эти фотографии не просто сопоставляются, но приводятся в действие. На экране фотография из Варшавы увеличивается, чтобы показать, что мальчик, вопреки оригинальному изображению из отчета Струпа, держит в руке фотографию. Когда эта фотография приближается, становится видно, что на ней изображен задержанный израильскими солдатами палестинский мальчик, который с перепугу обмочил штаны. Когда камера увеличивает и эту фотографию, оказывается, что палестинский мальчик держит в руке фотографию варшавского мальчика (рис. 3–4).

Это включение одного изображение в рамку другого может быть легко интерпретировано как воспроизведение стратегии приравнивания. Шехнер подтверждает такое прочтение своей работы, но добавляет нюанс к этому дискурсу, уточняя, что его интересовало не приравнивание событий, но скорее прирав-

нивание психологических состояний жертв. Он пишет: «Мне было не интересно сравнивать события Холокоста и Интифады, чтобы увидеть, какое из них было ужасней. <...> Мне было важно исследовать реальные связи между ними. <...> В этом проекте я исходил из теории, что подвергнутые насилию дети, если их не излечить, часто сами потом становятся насильниками. Приложение ее к текущей израильско-палестинской ситуации, где и израильтяне, и палестинцы являются жертвами, вновь и вновь воспроизводящими насилия, от которых они сами страдали, создает возможность для нахождения более реалистичных решений этого ужасного конфликта»²⁹.

Предлагая, так же как и Финкельстайн, генеалогическое объяснение

²⁹ Цитируется по сайту Алана Шехнера: www.dottycommies.com (accessed 28 August 2009). Эта же работа была включена в совместный с палестинской художницей Раной Бишара (Rana Bishara) перформанс «Диалог». По поводу «Диалога» см.: (*Imperato* 2007). По поводу «Наследия» см.: (*Raskin* 2004; *Par* 2006). Лутц Кёпник (Lutz Koepnick) включил краткое, но превосходное обсуждение творчества Шехнера в статью (*Koepnick* 2004). Копник рассматривает другую широко известную работу Шехнера: «Это реальная вещь (Автопортрет в Бухенвальде)», которая тоже использует цифровые манипуляции и отсылки к Холокосту, но в значительной мере не так как это делается в «Наследии». Кёпник пишет: «Автопортрет Шехнера пытается продемонстрировать неспособность фотографического образа не только надежно зафиксировать реальность и удостоверить подлинность памяти, но также передать шок и разрывы, которые ассоциируются с травматическим опытом» (р. 96). «Наследие», напротив, является попыткой воссоздать ту функцию фотографии, которая позволяет снова столкнуться с травматическим опытом, хотя и не в том режиме, где подлинность занимает привилегированное положение.

²⁸ По поводу мальчика из Варшавского гетто см.: (*Raskin* 2004; *Rousseau* 2009; *Hirsch* 1999).



Рис. 3–4. Алан Шехнер, *Наследие насилия над детьми: от Польши до Палестины* (2003.) Неподвижные изображения закольцованной проекции. Любезно предоставлено Аланом Шехтером

для нынешнего конфликта, согласно которому сегодняшние ужасы строятся на вчерашней виктимизации и передаются из поколения в поколение, Шехнер меняет эмоциональный заряд с антагонистической конкуренции к сочувствию. Фотоэссе Финкельстайна превращает жертвы прошлого в предков современных насильников и стремится размыть различия между жертвами прошлого и нынешними насильниками: «Внуки выживших жертв Холокоста <...> ведут себя в отношении палестинцев *точно так же*, как раньше поступали с ними» (курсив мой. — М.Р.). Здесь обращает внимание не только откровенно антиисторическое «точно так же», но и двусмысленное местоимение «с ними», которое стирает разницу между поколениями. Шехнер, напротив, переносит из прошлого страдания жертв Холокоста и на израильтян, и на палестинцев, которые в равной степени описываются в его комментариях как жертвы. Если это действительно так, тогда эта работа, видимо, подразумевает, что солидарность требует логики приравнивания, а это требование вступает в конфликт с очевидным желанием автора принять во внимание и различия. Такое видение предпочтительнее соревновательных дискурсов. Тем не менее оно также рискует принизить значение исторических различий, с неочевидным эффектом для политической мобилизации и для моральной точки зрения. Говоря языком Айрис Марион Янг, такое продвижение взгляда о «взаимной симметричности» (*symmetrical reciprocity*) проецировало бы слишком упрощенное видение этого мира, которое демонстрирует неспо-

собность признать исторические различия, хотя декларативно осуждает такое непризнание³⁰.

Если приведенное прочтение «Наследия плохого обращения с детьми» без сомнения помещает его в квадрат «уравнивание — солидарность» на карте памяти, то возможно и другое прочтение, открывающее новые возможности. Своей осознанно манипулятивной формой «Наследие» подрывает детерминистское генеалогическое объяснение, согласно которому существует бесконечный цикл взаимного насилия и воспроизводится понятие двух народов-жертв. Цифровая манипуляция фотографиями иронизирует по поводу «реалистического» объяснения причин. Следовательно, даже если это «закольцованное» видео намекает на круговую природу насилия, оно вместе с тем подрывает все заявления по поводу моральной оправданности позиции жертвы, с помощью которой часто обосновывают право на насилие. Такое обоснование производится и в Израиле, где в этих целях мобилизуется память о Холокосте³¹. Решающее значение тут

³⁰ См.: (*Young* 1997: 38–59).

³¹ Работа Шехнера, где оживляются две фотографии, может быть понята как участие в том, что Ариелла Азулай (*Ariella Azoulay*) именуется «гражданским договором фотографии». В пассаже, который резонирует с этой художественной работой, Азулай пишет: «Фотография несет след запечатленного события, и реконструкция этого события требует большего, чем простое выяснение, что на ней изображено. Необходимо перестать глядеть (*looking*) на фотографию, взамен надо начать за ней наблюдать (*watching*). Глагол “to watch” обычно используется для рассматривания феноменов или движущихся изображений. Он подразумевает измерения

имеет особый характер фотографической манипуляции. Вручая каждому мальчику по фотографии, Шехнер преобразует образ абсолютной невинности и униженного бессилия в образ солидарности, неповиновения и принуждения³². В отличие от присваивающей логики Робинсона, такое прочтение «Наследия» показывает, что аналогия не работает таким способом. Деконструкция обращения к истокам в значительной мере подрывает риторику территориальных претензий и страданий, господствующую в израильско-палестинском конфликте, и предлагает возможность для того, чтобы аналогия стала частью отчуждающей (*depropriative*) работы по преобразованию памяти, в которой совмещение двух различающихся историй приводит к пониманию как одной, так и другой.

Создавая возможность для различающей солидарности того рода,

времени и движения, которые требуют переписывания в ходе интерпретации неподвижных фотографий. Там, где объектом фотографии является личность, которой причинена травма (*injury*), разглядывание фотографии, которое реконструирует фотографическую ситуацию и позволяет прочесть травмы, причиненные другим, становится гражданским навыком, а не эстетической оценкой. Этот навык активизирует представление о том, что гражданство — это не просто статус, благо или составляющая частной собственности гражданина, но скорее это инструмент борьбы или обязательство бороться против того, чтобы другим — согражданам и не согражданам, которые вместе со зрителем находятся под чьим-то управлением, — не причинялись травмы» (*Azoulay* 2008: 14).

³² Как пишет Ричард Раскин (*Richard Raskin*): «Шехтер представляет двух детей, как будто говорящих зрителю, что каждый из них протестует против страданий, причиняемых другому» (*Raskin* 2004: 167).

которую первым проявил Дюбуа, работа Шехнера позволяет вообразить контуры новой концепции правосудия, согласно которой транскультурное сравнение не просто позволяет увидеть соизмеримость различных элементов, но преобразует их, помещая рядом. Культурная память и дискурсы прошлого сами по себе не создают институтов, способных исправить несправедливости. Тем не менее они могут создать не только площадки, где эти несправедливости могут быть признаны, но и новую рамку воображения, которая необходима, хотя и не достаточна, для их исправления.

Политический философ Нэнси Фрэзер (*Nancy Fraser*) сравнивает производство подобных новых рамок с двухшаговым процессом. Она доказывает, что прежде всего необходимо признать, что множество конфликтов проистекают из отсутствия нормального правосудия и подобны тем, которые Лиотар обозначил термином «распря» (*differend*), когда у спорящих отсутствует общий язык. Но после этого мы, вопреки Лиотару, нуждаемся в попытке преодолеть ненормальность и приблизиться к концепции рефлексивного правосудия, которая, как пишет Фрэзер, включает в свою очередь два обязательства: «настойчивые требования поддержки для людей, оказавшихся в неблагоприятном положении, и вместе с тем анализа метанесогадий (*metadisagreements*), которые вплетены в конкретную ситуацию» (*Fraser* 2009: 73).

Те, кто прибегает к аналогии Газа — Варшава, обращаются к первому

обязательству услышать настоячивые требования обездоленных, но слишком часто у них отсутствует чувствительность ко второму обязательству по рефлексивному анализу метанесогласий, того, что Фрэзер называет «кто», «что» и «как» в правосудии. Робинсон и многие другие, находящиеся по обе стороны израильско-палестинского конфликта, привлекают память о Холокосте, чтобы использовать известную рамку с целью разрешить спор или добиться правосудия. Общепринято использовать ссылки на нацистский геноцид, чтобы выйти за границы всех «нормальных» концепций правосудия и «остранить» такие знакомые понятия, как «вина», «наказание» и даже «человеческое существо». Хотя упоминание геноцида в контексте израильско-палестинского конфликта рассматривает отсылки к Холокосту как напоминание о таких общепринятых нормах, как права человека, и четких моральных различиях³³, тем не менее в сценариях приравнивания прошлое анахронически переписывается в угоду значительно отличающемуся настоящему (переписывание свойственно многим актам памяти), при этом настоящее теряет свой потенциал новизны. В то время как этот дискурс активизирует универсальную рамку признания, через которую недостаточно признанные субъекты становятся видимыми в качестве жертв, такая рамка не столько служит признанию различий, сколько редуцирует эти различия до полного сходства. Т.е. несмотря на сложный характер

исторического феномена нацистского геноцида, образы геноцида, которые циркулируют в настоящем, редуцируют его — в той же мере как и современные события, с которыми проводятся аналогии, — до стереотипного сценария добра и зла, невинности и абсолютной власти.

Дискурс, основанный на отчетливом различении жертв и насильников или невинности и виновности, устраняет сложную сферу политики и все сводит к нравоучительной сказке. Даже в случае геноцида, т.е. в ситуации крайней поляризации невинности и виновности, для получения более осмысленных ответов необходимо ответить на неприятные вопросы о соучастии и амбивалентных серых зонах, создаваемых экстремистскими политическими режимами (*Radstone 2001*)³⁴. Как доказывает Сюзанна Рэдстоун (*Susannah Radstone*) в связи с фото из Варшавского гетто, мы нуждаемся в стратегиях иных прочтений этого образа, которые работают против идентификации с «чистой» виктимностью, <...> снижая чувство абсолютного различия между «добром» и «злом» и тем самым предлагая и даже выдвигая на первый план возможность идентификации с насильем, так же как и с виктимностью» (*Radstone 2001*)³⁵. При таком подходе существует больше возможностей для признания жертв и возложения ответственности на насильников, в то время как поворот к абсолютным невинности и вине

³³ Этот взгляд становится убедительным в контексте дебатов о бельгийском колониализме. См.: (*De Mul 2011*).

³⁴ Примо Леви первым ввел понятие «серой зоны» в одноименном эссе своего последнего сборника статей: (*Levi 1989*).

³⁵ Рэдстоун также продуктивно использует концепцию «серой зоны» Примо Леви.

может стать основанием только для абсолютизирующей, может даже апокалиптической политики.

Конечная цель радикальной демократической политики многовекторной памяти сегодня состоит не только в преодолении дискурсов приравнивания или иерархии, но также в замене редуцирующего, абсолютизирующего понимания Холокоста как кода для «добра» и «зла», расположенных в центре глобальной политики памяти. Эта специфика места и времени требует взгляда через призму рефлексивного правосудия: критическое вмешательство сегодня должно неизбежно отличаться от существовавшего, скажем, в эпоху Дюбуа, когда память о Холокосте не находилась еще в центре моральных дискурсов. Сегодня даже критические обращения к Холокосту под знаком приравнивания являются для Израиля наиболее мощным легитимирующим символом и нарративом генеалогии, где крайняя виктимизация образует пару с абсолютной невинностью. Требуемая ныне замена не подразумевает удаления Холокоста из публичной сферы, но скорее децентрацию его абстрактной и реифицированной формы. Ресурсы для этого могут быть найдены в архиве многовекторной памяти. Децентрация в свою очередь не означает относительности исторических фактов нацистского геноцида. Настойчивость отрицателей Холокоста показывает, что в некоторых сферах современная форма памяти о Холокосте все еще играет прогрессивную роль³⁶. Но для проработки

³⁶ Джозеф Массад (Joseph Massad) провокационно доказывает, что отрицатели Холокоста из арабского мира «объективно»

последствий и особенностей геноцидов необходимо отделить их от дискурса сакрализации Холокоста, который легитимирует политику абсолютизации. Такая сакрализация стала столь могущественной и столь лишенной содержания, что она оказывает мощное воздействие даже на тех, кто пытается противостоять политике, которую она узаконивает.

Но ситуация нуждается в изменении. В дополнение к ранним фигурам вроде Дюбуа и Дюрас и к современным художникам вроде Шехнера мы также должны добавить такого выдающегося представителя палестинской диаспоры, как Эдвард Саид. Он постоянно отказывался признать «морально допустимым уравнивание массового истребления с массовым обездоливанием» (Said 2001)³⁷. Он также часто называл палестинцев «жертвами жертв» (Barsamian, Said 2003). Хотя на первый взгляд эта формулировка звучит как яркий пример приравнивания и симметрии, я не считаю, что Саид имел в виду, что виктимизация неизбежно ведет

являются сионистами, потому что их иррациональное отрицание очевидного исторического факта, вопреки их воле, вносит вклад в ту логику, согласно которой Холокост оправдывает учреждение еврейского государства в Палестине ("Semites and Anti-Semites, That Is the Question," Al-Ahram Weekly On-Line, no. 720 [2004], accessed 24 June 2009, available at <http://weekly.ahram.org.eg/2004/720/op63.htm>).

³⁷ По поводу Саида, еврейства и памяти о Холокосте см.: (Hochberg 2006). По поводу скептического взгляда на замечание Саида, которое базируется на возможности сосуществования Израиля и Палестины по причине совместной истории и диаспоры, см. статью, где реализован намного более мрачный подход к возможностям памяти о Холокосте, чем тот, что я сформулировал в данном эссе: (Moses 2011).

к новым идентичным формам виктимизации. Скорее здесь подразумевалось, что израильцы и палестинцы встретились благодаря непредвиденным историческим обстоятельствам, логика которых контролируется ими лишь частично. Они занимают одно место, которое разделено не только географией пространства, но и географией памяти. Сегодня это не место симметрии и мира, а, напротив, место асимметрии и насилия, и Газа является резонансным символом этих обстоятельств. Преобразование ситуации требует усилий не одной многовекторной памяти, но, не изменив пути мышления о прошлом, нам будет сложно вообразить альтернативу для будущего.

ПРИМЕЧАНИЯ

Вопросы Стефа Крапса (Stef Craps) явились толчком к написанию этого эссе, которое я начал во время продуктивной стажировки во Фламандском академическом центре науки и искусств (Vlaams Academisch Centrum [VLAC]) в Брюсселе. Ранние версии были представлены в Колумбийском и Калифорнийском (UCLA) университетах, в университетах Иллинойса и Миссури, а также на конференции «Транскультурная память» в Лондоне. Я благодарен слушателям этих выступлений за вопросы и комментарии, Сюзанне Рэдстоун за приглашение на конференцию в Лондон, а также тем, кто пригласил меня выступить с лекциями: Ричарду Кроншоу (Richard Crownshaw), Жуже Гилле (Zsuzsa Gille), Марианн Хирш (Marianne Hirsch), Андреасу Хуйсену (Andreas Huyssen), Элеанор Ка-

уфман (Eleanor Kaufman) и Брэду Прэджеру (Brad Prager). Я также получил полезные замечания от Мэти Бунцла (Matti Bunzl), Лорен М. Е. Гудлэд (Lauren M. E. Goodlad), Нэйла Леви (Neil Levi) и Ясмин Йилдиз (Yasemin Yildiz). Особая благодарность Алану Шехнеру за фотографии и разрешение их опубликовать. При этом я несу полную ответственность за все аргументы, приведенные в этой статье.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Achcar 2010 — *Achcar G.* The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives, trans. G. M. Goshgarian. New York: Metropolitan Books, 2010.

Agamben 1998 — *Agamben G.* Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, trans. Daniel HellerRoazen, Meridian: Crossing Aesthetics series. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998.

Agamben 2000 — *Agamben G.* “What is a Camp?”, in *Agamben G.* Means without End: Notes on Politics, trans. Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, Theory Out Of Bounds series. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000, quotations on 41–42, 44.

Azoulay 2008 — *Azoulay A.* The Civil Contract of Photography. New York: Zone Books, 2008.

Barsamian, Said 2003 — *Barsamian D., Said E.* Culture and Resistance: Conversation with Edward Said. Cambridge, MA: South End Press, 2003, 147.

Butler 2009 — *Butler J.* Frames of War: When Is Life Grievable? New York: Verso, 2009.

Butler 2009a — *Butler J.* “Primo Levi for the Present”, in *ReFiguring Hayden White*, ed. Frank Ankersmit, Ewa Domanska, and Hans Kellner, Cultural Memory in the Present series. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009, 282–303, quotation on 297.

De Mul 2011 – *De Mul S.* The Holocaust as a Paradigm for the Congo Atrocities: Adam Hochschild's 'King Leopold's Ghost', in Criticism, Vol. 53, No. 4, Transcultural Negotiations of Holocaust Memory. Fall 2011, pp. 587–606.

Diner 2009 – *Diner H.* We Remember with Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 1945–1962. New York: NYU Press, 2009.

Du Bois 1952 – *Du Bois W.E.B.* "The Negro and the Warsaw Ghetto," Jewish Life, May 1952, 14–15, quotation on 15.

Duras 1961 – *Duras M.* "Les deux ghettos", France-Observateur, 9 November 1961, 8–10.

Engelking, Leociak 2009 – *Engelking B., Leociak J.* The Warsaw Ghetto: A Guide to the Perished City. New Haven, CT: Yale University Press, 2009.

Fraser 2009 – *Fraser N.* Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, New Directions in Critical Theory series. New York: Columbia University Press, 2009.

Goldberg, Makdisi 2009 – *Goldberg D. Th., Makdisi S.* The Trial of Israel's Campus Critics. Tikkun, September–October 2009.

Hass 2003 – *Hass A.* "Making Stupid Comparisons," Ha'aretz, 9 July 2003.

Hirsch 1999 – *Hirsch M.* "Nazi Photographs in Post-Holocaust Art" and "Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy," in Acts of Memory: Cultural Recall in the Present, ed. Mieke Bal, Jonathan Crewe, and Leo Spitzer. Hanover, NH: University Press of New England, 1999, 3–23.

Hirsch 2002 – *Hirsch M.* "Nazi Photographs in Post-Holocaust Art: Gender as an Idiom of Memorialization," in Crimes of War: Guilt and Denial in the Twentieth Century, ed. Omer Bartov, Atina Grossman, and Molly Noble. New York: New Press, 2002.

Hochberg 2006 – *Hochberg G.Z.* "Edward Said: 'The Last Jewish Intellectual': On

Identity, Alterity, and the Politics of Memory", Social Text 24, no. 2 (2006): 47–65.

Ignaski, Sweiry 2009 – *Ignaski P., Sweiry A.* Understanding and Addressing the 'Nazi Card': Intervening against Antisemitic Discourse. European Institute for the Study of Contemporary Antisemitism, 2009.

Imperato 2007 – *Imperato A.* "The Dialogics of Chocolate: A Silent DIALOG on Israeli-Palestinian Politics", in Global and Local Art Histories, ed. Celina Jeffries and Gregory Minissale. Cambridge, UK: Cambridge Scholars, 2007, 283–97.

King 2003 – *King O.* "Israel Can Halt This Now," Guardian, 11 June 2003.

Koepnick 2004 – *Koepnick L.* "Photographs and Memories," South Central Review 21, no. 1 (2004): 94–129.

Landsberg 2004 – *Landsberg A.* Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture. New York: Columbia University Press, 2004.

Levi 1989 – *Levi P.* The Drowned and the Saved. New York: Vintage, 1989, 36–69.

LeVine 2009 – *LeVine M.* "Crisis in Gaza: Gaza is No Warsaw Ghetto," Aljazeera, 2 February 2009, accessed 2 September 2009, available at <http://english.aljazeera.net/focus/crisisingaza/2009/02/20092191518941246.html>.

Makdisi 2010 – *Makdisi S.* "The Architecture of Erasure," Critical Inquiry 36, no. 3 (2010): 519–59.

Malinowitz's 2008 – *Malinowitz's H.* "I Will Tell Everything", Women's Review of Books 25, no. 4 (2008): 14–16.

Moses 2011 – *Moses A.D.* "Genocide and the Terror of History," Parallax 17, no. 4 (2011): 90–108, esp. 103–4.

Moustafa Bayoumi 2010 – *Moustafa Bayoumi*, ed. Midnight on the Mavi Marmara: The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and How It Changed the Course of the Israel/Palestine Conflict. New York: OR Books, 2010, accessed 1 October 2010, available at www.orbooks.com/our-books/midnight/.

Naor 2003 – Naor A. “Lessons of the Holocaust Versus Territories for Peace, 1967–2001,” *Israel Studies* 8, no. 1 (2003): 130–52, quotation on 130.

O’Neil 2009 – O’Neil R. “Academic Freedom in Cyberspace,” *Academe Online*, September–October 2009, accessed 15 September 2009, www.aaup.org/AAUP/pubsres/academe/2009/SO/Feat/onei.htm.

O’Neill 2009 – O’Neill B. “Playing the Nazi Card Is Vile and Pathetic, but Hardly Illegal,” *Australian*, 19 August 2009, accessed 19 August 2009, available at www.theaustralian.news.com.

Ophir 2005 – Ophir A. *The Order of Evils: Toward an Ontology of Morals*, trans. Rela Mazali and Havi Carel. New York: Zone Books, 2005.

Ophir, Givoni, Hanfi 2009 – Ophir A., Givoni M., Hanfi S. eds., *The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories*. New York: Zone Books, 2009.

Radstone 2001 – Radstone S. “Social Bonds and Psychical Order: Testimonies,” *Cultural Values* 5, no. 1 (2001): 59–78, quotation on 65.

Rancière 2004 – Rancière S.J. *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*, trans. Gabriel Rockhill. London: Continuum, 2004.

Raskin 2004 – Raskin R. *A Child at Gunpoint: A Case Study in the Life of Photo*. Aarhus, Denmark: Aarhus University Press, 2004.

Parr 2006 – Parr A. “Deterritorialising the Holocaust”, in *Deleuze and the Contemporary World*, ed. Ian Buchanan and Adrian Parr, *Deleuze Connections* series. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, 125–45.

Rothberg 2009 – Rothberg M. *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.

Rousseau 2009 – Rousseau F. *L’enfant juif de Varsovie: Histoire d’une photographie*. Paris: Seuil, 2009.

Said 2001 – Said E. “Bases for Coexistence,” in *The End of the Peace Process: Oslo and After*. New York: Vintage, 2001, 205–9, quotation on 208.

Segev 1993 – Segev T. *The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust*. New York: Hill and Wang, 1993.

Seymour 2010 – Seymour D.M. “From Auschwitz to Jerusalem to Gaza: Ethics for the Want of Law,” *Journal of Global Ethics* 6, no. 2 (2010): 205–15.

Tenenboim-Weinblat 2008 – Tenenboim-Weinblat K. “‘We Will Get through This Together’: Journalism, Trauma and the Israeli Disengagement from the Gaza Strip,” *Media, Culture & Society* 30, no. 4 (2008): 495–513.

Tonge 2003 – Tonge J. “Time to Get Tough,” *Guardian*, 23 June 2003.

United Nations 2009 – United Nations Human Rights Council, *Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict*. New York: United Nations Human Rights Council, 15 September 2009.

Visualizing... 2008 – *Visualizing the Holocaust: Documents, Aesthetics, Memory*, ed. David Bathrick, Brad Prager, and Michael D. Richardson, *Screen Cultures: German Film and the Visual* series. Rochester, NY: Camden House, 2008.

Du Bois 1947 – Du Bois W.E.B. *The World and Africa: An Inquiry into the Part which Africa Has Played in World History*. New York: Viking, 1947.

Young 1997 – Young I.M. *Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Public Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

Zertal 2005 – Zertal I. *Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood*, trans. Chaya Galai, *Cambridge Middle East Studies* series. New York: Cambridge University Press, 2005.

FROM GAZA TO WARSAW: MAPPING MULTIDIRECTIONAL MEMORY

Rothberg M. – the 1939 Society Samuel Goetz Chair in Holocaust Studies and Professor of English and Comparative Literature at the University of California, Los Angeles (USA)

Key words: Israel, Palestine, occupation, Nakba, Holocaust memory, Warsaw Ghetto, Gaza, Alan Schechner, multidirectional memory, comparison, affect.

Abstract. Rothberg, Michael. “From Gaza to Warsaw: Mapping Multidirectional Memory”. This essay focuses on a controversy that arose when a radical American sociology professor declared that “Gaza is Israel’s Warsaw” and forwarded students a photo essay with “parallel images of Nazis and Israelis”, several of which depict the Warsaw Ghetto. Through this example, the essay maps the range of forms that public memory can take in politically charged situations. The goal of the essay is to provide a complex account of what Rothberg calls “multidirectional memory”. It provides such an account by situating acts of multidirectional memory on two axes: an axis of comparison and an axis of political affect.

REFERENCES

Achcar G. *The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives*, trans. G.M. Goshgarian. New York: Metropolitan Books, 2010.

Agamben G. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*, trans. Daniel HellerRoazen, Meridian: Crossing Aesthetics series. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998.

Agamben G. “What is a Camp?”, in Agamben G. *Means without End: Notes on Politics*, trans. Vincenzo Binetti and Cesare Casarino, Theory Out Of Bounds series. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000, quotations on 41–42, 44.

Azoulay A. *The Civil Contract of Photography*. New York: Zone Books, 2008.

Barsamian D., Said E. *Culture and Resistance: Conversation with Edward Said*. Cambridge, MA: South End Press, 2003, 147.

Butler J. *Frames of War: When Is Life Grievable?* New York: Verso, 2009.

Butler J. “Primo Levi for the Present”, in ReFiguring Hayden White, ed. Frank Ankersmit, Ewa Domanska, and Hans Kellner, *Cultural Memory in the Present series*.

Stanford, CA: Stanford University Press, 2009, 282–303, quotation on 297.

De Mul S. *The Holocaust as a Paradigm for the Congo Atrocities: Adam Hochschild’s ‘King Leopold’s Ghost’*, in Criticism, Vol. 53, No. 4, Transcultural Negotiations of Holocaust Memory. Fall 2011, pp. 587–606.

Diner H. *We Remember with Reverence and Love: American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 1945–1962*. New York: NYU Press, 2009.

Duras M. “*Les deux ghettos*”, France-Observateur, 9 November 1961, 8–10.

Du Bois W.E.B. “*The Negro and the Warsaw Ghetto*,” Jewish Life, May 1952, 14–15, quotation on 15.

Du Bois W.E.B. *The World and Africa: An Inquiry into the Part which Africa Has Played in World History*. New York: Viking, 1947.

Engelking B., Leociak J. *The Warsaw Ghetto: A Guide to the Perished City*. New Haven, CT: Yale University Press, 2009.

Fraser N. *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World, New Directions in Critical Theory series*. New York: Columbia University Press, 2009.

- Goldberg D. Th., Makdisi S. *The Trial of Israel's Campus Critics*. Tikun, September–October 2009.
- Hass A. “*Making Stupid Comparisons*,” Ha’arezt, 9 July 2003.
- Hirsch M. “*Nazi Photographs in Post-Holocaust Art: Gender as an Idiom of Memorialization*,” in *Crimes of War: Guilt and Denial in the Twentieth Century*, ed. Omer Bartov, Atina Grossman, and Molly Noble. New York: New Press, 2002.
- Hirsch M. “*Nazi Photographs in Post-Holocaust Art*” and “*Projected Memory: Holocaust Photographs in Personal and Public Fantasy*,” in *Acts of Memory: Cultural Recall in the Present*, ed. Mieke Bal, Jonathan Crewe, and Leo Spitzer. Hanover, NH: University Press of New England, 1999, 3–23.
- Hochberg G. Z. “*Edward Said: The Last Jewish Intellectual: On Identity, Alterity, and the Politics of Memory*,” *Social Text* 24, no. 2 (2006): 47–65.
- Ignaski P., Sweiry A. *Understanding and Addressing the ‘Nazi Card’: Intervening against Antisemitic Discourse*. European Institute for the Study of Contemporary Antisemitism, 2009.
- Imperato A. “*The Dialogics of Chocolate: A Silent DIALOG on Israeli-Palestinian Politics*,” in *Global and Local Art Histories*, ed. Celina Jeffries and Gregory Minissale. Cambridge, UK: Cambridge Scholars, 2007, 283–97.
- King O. “*Israel Can Halt This Now*,” *Guardian*, 11 June 2003.
- Koepnick L. “*Photographs and Memories*,” *South Central Review* 21, no. 1 (2004): 94–129.
- Landsberg A. *Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture*. New York: Columbia University Press, 2004.
- LeVine M. “*Crisis in Gaza: Gaza is No Warsaw Ghetto*,” *Aljazeera*, 2 February 2009, accessed 2 September 2009, available at <http://english.aljazeera.net/focus/crisisingaza/2009/02/20092191518941246.html>.
- Levi P. *The Drowned and the Saved*. New York: Vintage, 1989, 36–69.
- Makdisi S. “*The Architecture of Erasure*,” *Critical Inquiry* 36, no. 3 (2010): 519–59.
- Malinowitz’s H. “*I Will Tell Everything*,” *Women’s Review of Books* 25, no. 4 (2008): 14–16.
- Moses A. D. “*Genocide and the Terror of History*,” *Parallax* 17, no. 4 (2011): 90–108, esp. 103–4.
- Moustafa Bayoumi, ed. *Midnight on the Mavi Marmara: The Attack on the Gaza Freedom Flotilla and How It Changed the Course of the Israel/Palestine Conflict*. New York: OR Books, 2010, accessed 1 October 2010, available at www.orbooks.com/our-books/midnight/.
- Naor A. “*Lessons of the Holocaust Versus Territories for Peace, 1967–2001*,” *Israel Studies* 8, no. 1 (2003): 130–52, quotation on 130.
- O’Neil R. “*Academic Freedom in Cyberspace*,” *Academe Online*, September–October 2009, accessed 15 September 2009, www.aaup.org/AAUP/pubsres/academe/2009/SO/Feat/onei.htm.
- O’Neill B. “*Playing the Nazi Card Is Vile and Pathetic, but Hardly Illegal*,” *Australian*, 19 August 2009, accessed 19 August 2009, available at www.theaustralian.news.com.
- Ophir A. *The Order of Evils: Toward an Ontology of Morals*, trans. Rela Mazali and Havi Carel. New York: Zone Books, 2005.
- Ophir A., Givoni M., Hanfi S. eds., *The Power of Inclusive Exclusion: Anatomy of Israeli Rule in the Occupied Palestinian Territories*. New York: Zone Books, 2009.
- Parr A. “*Deterritorialising the Holocaust*,” in *Deleuze and the Contemporary World*, ed. Ian Buchanan and Adrian Parr, *Deleuze Connections* series. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006, 125–45.
- Radstone S. “*Social Bonds and Psychical Order: Testimonies*,” *Cultural Values* 5, no. 1 (2001): 59–78, quotation on 65.

Rancière S.J. *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*, trans. Gabriel Rockhill. London: Continuum, 2004.

Rothberg M. *Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2009.

Rousseau F. *Lenfant juif de Varsovie: Histoire d'une photographie*. Paris: Seuil, 2009.

Said E. "Bases for Coexistence," in *The End of the Peace Process: Oslo and After*. New York: Vintage, 2001, 205–9, quotation on 208.

Segev T. *The Seventh Million: The Israelis and the Holocaust*. New York: Hill and Wang, 1993.

Seymour D.M. "From Auschwitz to Jerusalem to Gaza: Ethics for the Want of Law," *Journal of Global Ethics* 6, no. 2 (2010): 205–15.

Tenenboim-Weinblat K. "'We Will Get through This Together': Journalism, Trauma and the Israeli Disengagement from the

Gaza Strip," *Media, Culture & Society* 30, no. 4 (2008): 495–513.

Tonge J. "Time to Get Tough," *Guardian*, 23 June 2003.

United Nations Human Rights Council, Human Rights in Palestine and Other Occupied Arab Territories: Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict. New York: United Nations Human Rights Council, 15 September 2009.

Visualizing the Holocaust: Documents, Aesthetics, Memory, ed. David Bathrick, Brad Prager, and Michael D. Richardson, Screen Cultures: German Film and the Visual series. Rochester, NY: Camden House, 2008.

Young I.M. *Intersecting Voices: Dilemmas of Gender, Political Philosophy, and Public Policy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

Zertal I. *Israel's Holocaust and the Politics of Nationhood*, trans. Chaya Galai, Cambridge Middle East Studies series. New York: Cambridge University Press, 2005.

Н. Ю. Николаев

ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ ВИКИПЕДИИ КАК ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКО- УКРАИНСКИХ «БИТВ ЗА ПРОШЛОЕ»

Ключевые слова: Википедия, Украина, Россия, исторический нарратив, историческая битва.

Аннотация. В статье выявлены различия в историописании российской и украинской версий Википедии.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-57-66

Историческая тематика на веб-ресурсах (социальные сети, виртуальные энциклопедии, интерактивные масс-медиа) является важным механизмом реализации перформативных практик коммеморации. Столь же значительна их роль в воспроизводстве исторической политики и исторической пропаганды, в рамках которых академический дискурс полностью вытеснен воинственной риторикой и полемическим запалом. Анализ «войн за прошлое» на страницах периодических изданий (значительная часть которых сегодня существует в электронном

формате) неоднократно становился предметом научного интереса (Николаев 2015; 2018). Куда меньше внимания уделяется другим интернет-ресурсам, чья роль в формировании исторической памяти, на наш взгляд, откровенно недооценивается. В частности, исследовательской terra incognita продолжает оставаться исторический нарратив на просторах Википедии/Wikipedia — одной из самых

© Н. Ю. Николаев, 2019

Николаев Николай Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Волжского политехнического института (Волгоград); nikkam@mail.ru

¹ Аналогичные справочно-информационные интернет-ресурсы, построенные по схожему принципу (в основном использующие вики-платформу), либо прекратили свое существование (Knol, Open Encyclopedia Project), либо узко специализированы (Scholarpedia, MathWorld, Encyclopædia Iranica, Jewish Encyclopedia, Энциклопедия жизни), либо моноязычны (Худун, Байду, WIEM, Everything2), либо имеют отличную

популярных интернет-энциклопедий Всемирной паутины¹.

Очевидные достоинства Википедии – оперативность, быстрая индексация в поисковых системах, гибкая модерация и высокая релевантность. Несмотря на постоянные упреки в недостаточной достоверности приводимых сведений (что признают и администраторы проекта), информация из Википедии продолжают оставаться востребованной и общественно значимой². В то же время Википедия при ее безусловной актуальности, диалогичности, транспарентности (любой пользователь может просмотреть в интерфейсе вики-статьи историю ее обсуждения, а также время и авторство внесенных правок) нередко становится поводом для информационных войн и историко-политических манипуляций³. В частности, СМИ России и Украины регулярно обвиняют друг друга в политизированности и предвзятости их вики-публикаций (Андреев 2010; Голубков, Резчиков 2017).

На сегодняшний день российский сегмент Википедии входит в миро-

от Википедии идейную, смысловую, функциональную природу (Абсурдопедия, Луркмор, Эврипедия, Метапедия, Консервация), либо являются ресурсами, напрямую аффилированными с Википедией (Викиотека, Викиновости, Викигид и пр.).

² О значении Википедии в общественно-политической жизни свидетельствуют не только многочисленные скандалы, связанные с отдельными статьями в русвики и укрвики, но и заявления государственных деятелей о необходимости более внимательно относиться к качеству вики-текстов (Кабмин 2017).

³ К примеру, изменение места рождения Ильи Муромца в украинской Википедии вызвало скандал в российских СМИ (Мамонтов 2017).

вую десятку по общему числу статей (более 1,5 млн). Стоит указать, что значительное число читателей русвики – это граждане Украины, оттуда же исходит и немалое число ее правок (2-е место по правкам после России) (Русская Википедия). Украинская Википедия существенно уступает российскому сегменту (около 910 тыс. статей на начало июня 2019 г.), при этом количество статей на укрвики, написанных ботами, т.е. специально созданными программами, существенно превышает российские показатели (Українська Вікіпедія).

В данном исследовании автор попытался определить основные исторические темы, которые по-разному, а порой и диаметрально противоположно представлены в украинском и российском сегментах Википедии. При этом необходимо учитывать определенные трудности, связанные с анализом материала интернет-энциклопедии. Функционирование Википедии построено на механизме вики/wiki, т.е. с предоставленной возможностью свободной редакции любым пользователям, «без формального процесса экспертной оценки» (Википедия). Следствием подобного подхода является высокая информационная динамика в виде постоянного обновления вики-текстов, что, безусловно, затрудняет долговременные выводы и перспективную оценку.

В качестве терминологии, объединяющей исторический вики-наратив, нами были использованы формально чуждые научному сообществу лексемы – «битва», «сражение», «война» и пр., указывающие

на высокий уровень взаимной нетерпимости, оценочную полярированность и высокую идеологизированность. Если академический дискурс нацелен на выяснение истины и достижение максимально возможного согласия, то вики-тексты нередко носят характер пропаганды, главной целью которой является безусловная фиксация собственного взгляда на историю⁴. Для достижения искомого результата используются прежде всего приемы умолчания и/или фальсификации, т.е. «неудобные» исторические факты игнорируются или прямо искажаются. Отметим, что обострение политических отношений с начала 2014 г. усилило и без того нараставший антитетический характер русского и украинского сегментов Википедии.

Особенностью российско-украинского исторического нарратива в Википедии является его дихотомичность. Немало статей о совместном прошлом существует только на русском и украинском языках. Подобный взаимный интерес подтверждает актуальность заочной вики-полемики и в то же время указывает на его идейную ограниченность и интеллектуальную замкнутость. Однако стоит признать, что даже двуязычная вариативность может выступать в качестве коммуникативного моста, служить «окном» в информационную альтернативу, а также способствовать популяри-

зации в вики-пространстве малоизученных проблем совместной истории. Очевидно, что наличие других языковых вариантов (и прежде всего английского) предполагает большую смысловую инверсионность, возможность выбора «другого взгляда» (Костик 2014). Отметим также, что реализованное на принципе мультилатерализма историописание Википедии выгодно отличается от медиатизации исторического нарратива, как правило, одностороннего и безальтернативного.

Мы предлагаем рубрицировать историческую тематику в русвики и укрвики на отдельные «поля битв», на которых и происходят «исторические битвы», отличающиеся по масштабу, интенсивности и идейной непримиримости. При этом в задачу исследования не входит выяснение степени достоверности или качественного уровня той или иной вики-статьи. Автор стремится выявить наиболее уязвимые «точки» обсуждения общей истории, определить виды и приемы исторической пропаганды, реализуемой в формате интерактивной энциклопедии.

К числу наиболее значимых исторических вики-сражений можно отнести «битву за государственность». Стратегической целью данного нарратива является максимально комплиментарное описание процесса политогенеза России и Украины на разных этапах их истории. Эволюция государственных институтов в русвики и укрвики зачастую рассматривается с разных позиций. Существенные отличия можно

⁴ Разумеется, подобный подход реализуется далеко не ко всем статьям по исторической тематике в русвики и укрвики. Многие материалы с обеих сторон носят внеидеологический, безоценочный, чисто справочный характер.

найти во всей номенклатуре статей, связанной с историческим развитием государственности России и Украины — Московское княжество, Русское (Московское) государство, Российская империя, СССР, Великое княжество Литовское, Гетманщина, УНР, Украинская держава, УССР и пр. Особенно заметны эти расхождения при описании древнерусской государственности. Если российский сегмент Википедии акцентирует внимание на ее общеславянском характере, то украинцы рассматривают Киевскую Русь главным образом как часть собственной истории (Киевская Русь; Київська Русь). Авторы украинских вики-текстов связывают российскую государственность с Золотой Ордой, подчеркивают позднее распространение топонима «Россия», в то время как русвики рассматривает «Московию» как безусловный экзотопоним, а характер отношений Северо-Восточной Руси и Орды определяет как конфликтный (Великое княжество Московское; Великое князівство Московське; Московия; Московія). Усилить аргументацию в пользу своей версии истории государственности (как собственной, так и соседней) призваны и моноязычные статьи, т.е. существующие только на русском или украинском языке (Русское государство; Руський). Важную роль в «исторических битвах» играет и вики-терминология (названия статей). Украинская статья «Московське царство» в русском варианте именуется «Русское царство» (Русское царство; Московське царство). Статья «Формирование территории Российской империи» в украинском сегменте Википедии носит назва-

ние «Російський імперіалізм», что, безусловно, подчеркивает ее пейоративное содержание (Російський імперіалізм; Формирование территории Русского государства).

«Битва за нацию» предполагает отличающиеся описания этногенеза русских и украинцев, национальных движений и их лидеров, этнофолизмов, а также сопутствующих понятий — «шовинизм/шовінізм», «русофобия/русофобія», «украинофобия/українофобія» и пр. Особенностью данной категории вики-сражений является жесткое идейное противостояние, нередко наличие взаимоисключающих трактовок. В частности, украинская Википедия отмечает значительную роль финно-угорского субстрата в этногенезе русского народа, что отразилось в названиях многочисленных топонимов и гидронимов средней полосы России (Етногенез росіян). В то же время русвики негативно оценивает идеологию украинского национального движения и прежде всего его радикального течения «интегрального национализма» (Украинский национализм). Особняком стоит тема «русские на Украине/украинцы в России», которая в обоих сегментах рассматривается через призму потери национальной идентичности (Русские на Украине; Українці Росії).

На наш взгляд, идейный антагонизм в освещении национальной проблематики в российском и украинском сегментах Википедии связан с рядом факторов: политическим кризисом 2014 г. и последовавшим обострением двусторонних отношений; поступательным ростом

национализма на Украине и имперского мышления в России; общим усилением исторического ревизионизма на постсоветском пространстве.

Близкой по содержанию к «битве за нацию» является «битва за территорию». В Википедии данная тема реализована главным образом в серии статей, призванных доказать (или опровергнуть) историческую и/или национально-культурную принадлежность к Украине/России ряда территорий (Кубань; Новороссия). В рамках историко-территориального вики-нарратива также рассматривается история заселения (колонизация) украинцами Кубани, Дальнего Востока, Нижнего Поволжья, Западной Сибири и т. д. (Жёлтый Клин; Жовтий Клин). Ряд статей, связанный с «битвой за территорию», присутствует только в моноязычном варианте (Східна Слобожанщина). Отдельным вопросом выступает различная, зачастую полярная интерпретация прошлого и настоящего Юго-Восточной Украины и особенно Крыма, чья российская принадлежность яростно оспаривается (укрвики) или столь же энергично защищается (русвики) (Анексія Криму Росією (2014); Присоединение Крыма к Российской Федерации).

«Битва за язык» — это тексты, в которых различия присутствуют не столько в лингвистических характеристиках, сколько в исторических интерпретациях и использованных понятиях (Западнорусский язык; Руська мова). Важной темой для укрвики является языковое размежевание, т. е. подчеркнутое

дистанцирование от русского языка (Росіянізм; Українська мова). Соответственно, в украинском и русском сегментах по-разному объясняются термины, связанные с расширением/уменьшением национального языкового пространства — «русификация/русифікація», «украинизация/українізація», «дерусификация/дерусифікація», «коренизация/коренізація» и т. д. (Русифікація України; Украинизация).

На первый взгляд, весьма объемной и востребованной исторической темой является «битва за культуру и науку», однако по большей части различия здесь сводятся к определению национальности того или иного ученого или деятеля культуры, которого принято относить к «российскому наследию». По мнению авторов соответствующих статей в укрвики, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, А. А. Ахматова, М. А. Шолохов, В. В. Маяковский, Б. Л. Пастернак, С. П. Королев, И. Ф. Стравинский, К. С. Малевич, И. И. Сикорский, Н. А. Бердяев, К. И. Чуковский, Н. Н. Ге, М. М. Ковалевский, К. Г. Паустовский, Л. М. Гурченко, И. Е. Репин и т. д. являются представителями украинской культуры/науки или же имеют украинское происхождение⁵. Основанием для причисления

⁵ Порой национальность деятеля культуры/науки в вики-текстах обосновывается с помощью откровенного подлога. К примеру, местом рождения отца Антона Павловича Чехова — Павла Егоровича Чехова украинская Википедия объявляет село Ольховатка/Вільховатка Кобелякского района Полтавской области, хотя он родился в одноименном поселке, расположенном в Воронежской области. Справедливости ради следует указать, что малая родина П. Е. Чехова

их к украинцам становится география (рождение/смерть на территории современной Украины), этнические корни (как правило, отдаленные или однолинейные), реже самоидентификация⁶. В ряде случаев укрвики старательно игнорирует версии о российском/московском происхождении отдельных видных деятелей культуры (Иван Федоров). В свою очередь русвики старается не акцентировать внимание на их украинском происхождении (Бортнянский).

Значимой темой вики-нарратива является «битва за героев и антигероев». В данном случае речь идет об известных политических и общественных деятелях — важных фигурах в исторической памяти обеих стран. При этом «герои» украинской Википедии нередко предстают «антигероями» в ее российском сегменте, и наоборот. Так, Андрей Боголюбский, А. Д. Меньшиков, Петр I, Екатерина II и пр. на страницах украинской Википедии в той или иной мере дегероизируются (Петро I). В то же время «герои» укрвики — И. Е. Выговский, И. С. Мазепа, С. А. Бандера, Р. О. Шухевич и др. — в русскоязычных статьях оцениваются критически или даже негативно (Шухевич). Порой предметом разногласий является этническая принадлежность и/или место рождения того или иного «героя».

располагалась в Острогском уезде, население которого в XIX в. состояло главным образом из украинцев (Чехов).

⁶ Редким примером «национального компромисса» выступает фигура В. И. Вернадского, которого и русвики, и укрвики единодушно называют украинским и российским (в русском варианте еще и советским) ученым.

Наглядными примерами взаимной «приватизации героев» являются княгиня Ольга, Владимир Святой, Феофан Прокопович, Е. И. Пугачев, П. С. Нахимов, Л. М. Павличенко, Н. С. Хрущев, Л. И. Брежнев и т. д. (Ольга (княгиня киевская); Ольга (княгиня)).

Наконец, существенное место в общем объеме исторических статей обоих сегментов Википедии занимает «битва за победы и поражения». К числу побед следует отнести военные успехи, политические и социально-экономические достижения. Под «поражениями» мы понимаем прежде всего исторические травмы — неудачные восстания, военные неудачи, репрессии, депортации и голод. При этом, как и в случае с бинарной схемой «герой — антигерой», отдельные исторические события могут рассматриваться в русвики и укрвики совершенно по-разному (Конотопская битва; Конотопська битва). В российской и украинской версиях Википедии можно наблюдать попытки десакрализации и демифологизации важных для обеих стран исторических событий — «Куликовская битва/Куликовська битва», «русско-литовские войны XIV–XVI вв. / литовсько-московські війни», «взятие Батурина/Батуринська трагедія», «Смута / Смутний час», «Руина/Руїна» и пр. Особенно сложно и болезненно описываются в параллельных вики-статьях события XX — начала XXI в. — «Октябрьская революция / Жовтневий переворот», «Голод на Украине (1932–1933) / Голодомор в Україні (1932–1933)», «Великая Отечественная война / Німецько-радянська війна», «Оран-

жевая революция / Помаранчева революція», «Евромайдан/Євромайдан», «Вооруженный конфликт на востоке Украины / Війна на сході України», «Декоммунизация на Украине / Декомунізація в Україні» и т. д. (Голод на Украине; Голодомор в Україні). Ряд статей в полной мере ощутили всю тяжесть современного состояния российско-украинских отношений, вобрав в себя «язык ненависти», яростную пропаганду и пейоративные коннотации – «Победобесие», «Ватник», «Крымнаш», «духовные скрепы», «рашизм», «Русский мир / Російський світ» и пр. (Рашизм).

В заключение отметим, что схожие «битвы за историю» происходят и в других национальных сегментах Википедии. Так, зачастую популярными выглядят исторические статьи в Википедии на армянском и азербайджанском языках. Различные интерпретации «исторического наследия» Великого княжества Литовского можно наблюдать в материалах польской, литовской, белорусской и украинской Википедий. Однако по масштабу, глубине и непримиримости разногласий российско-украинскому вики-противостоянию на сегодняшний день нет равных. Очевидно, что авторы и модераторы русвики и укрвики вовлечены в жесткую, бескомпромиссную и, надо полагать, долговременную «войну за историю». На наш взгляд, пристрастность, пропагандистский характер, идеализацию собственного прошлого, манипуляции с историческими фактами демонстрируют обе стороны. Однако присутствуют и определенные различия. Для российской

Википедии в большей степени свойственны «имперский взгляд» на прошлое, сознательная (а порой и бессознательная) роль «Большого брата», замалчивание и/или преуменьшение участия украинцев в общей истории. Укрвики, напротив, стремится максимально расширить украинское присутствие в совместном прошлом, что нередко происходит посредством элиминирования из него «русскости». Обострение двусторонних отношений во второй половине 2010-х гг. повлияло на содержание и характер прежде всего украиноязычных статей. По нашему мнению, заметно увеличился их объем, усилилась националистическая составляющая, углубились расхождения с параллельными русскоязычными вики-текстами.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Андреев 2010 – Андреев О. В украинской Википедии не придумывают историю и не переписывают ее в угоду власти // Комсомольская правда в Украине. 2010. 26 авг. URL: kr.ua/life/241068-v-ukraynskoi-vykupedyu-ne-prydumyvauit-ystoryui-y-ne-perepysyvauit-ee-v-uhodu-vlasty (дата обращения: 27.05.2019).

Анексія Криму Росією (2014) – Анексія Криму Росією (2014) // Вікіпедія. URL: [uk.wikipedia.org/wiki/Анексія_Криму_Росією_\(2014\)](http://uk.wikipedia.org/wiki/Анексія_Криму_Росією_(2014)) (дата обращения: 30.05.2019).

Бортнянский – Бортнянский, Дмитрий Степанович // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Бортнянский,_Дмитрий_Степанович (дата обращения: 01.06.2019).

Великое княжество Московское – Великое княжество Московское // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/

Великое княжество Московское (дата обращения: 25.05.2019).

Велике князівство Московське // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Велике_князівство_Московське (дата обращения: 25.05.2019).

Википедия – Википедия // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Википедия (дата обращения: 07.06.2019).

Голод на Украине – Голод на Украине (1932–1933) // Википедия. URL: [ru.wikipedia.org/wiki/Голод_на_Украине_\(1932–1933\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_на_Украине_(1932–1933)) (дата обращения: 02.06.2019).

Голодомор в Україні – Голодомор в Україні (1932–1933) // Вікіпедія. URL: [ru.wikipedia.org/wiki/Голод_на_Украине_\(1932–1933\)](http://ru.wikipedia.org/wiki/Голод_на_Украине_(1932–1933)) (дата обращения: 02.06.2019).

Голубков, Резчиков 2017 – Голубков Н., Резчиков А. «Украинская «Википедия» превратилась в собрание бандеровцев» // Взгляд. 2017. 17 янв. URL: vz.ru/politics/2017/1/17/853606.html (дата обращения: 27.05.2019).

Етногенез росіян – Етногенез росіян // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Етногенез_росіян (дата обращения: 25.05.2019).

Жёлтый Клин – Жёлтый Клин // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Жёлтый_Клин (дата обращения: 30.05.2019).

Жовтий Клин – Жовтий Клин // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Жовтий_Клин (дата обращения: 30.05.2019).

Западнорусский язык – Западнорусский язык // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Западнорусский_язык (дата обращения: 30.05.2019).

Иван Федоров – Иван Федоров // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Иван_Федоров (дата обращения: 02.06.2019).

Кабмин 2017 – Кабмин взялся за «Википедию»: что предлагают реализовать? // Misto News. 2017. 17 янв. URL: http://misto.news/dnpr_people/kabmin-vzyalsya-za-vikipediyu-chto-predlagayut-realizovat-32436.html (дата обращения: 29.05.2019).

Киевская Русь – Киевская Русь // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Киевская_Русь (дата обращения: 26.05.2019).

Київська Русь – Київська Русь // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Київська_Русь (дата обращения: 27.05.2019).

Конотопская битва – Конотопская битва // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Конотопская_битва (дата обращения: 02.06.2019).

Конотопська битва – Конотопська битва // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Конотопська_битва (дата обращения: 02.06.2019).

Костик 2014 – Костик В. Чому статті про Степана Бандеру в українській і російській Вікіпедії так відрізняються // Преса України. 12 нояб. 2014. URL: ua.press.info/uk/news/show/47181 (дата обращения: 28.05.2019).

Кубань – Кубань // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Кубань (дата обращения: 26.05.2019).

Мамонтов 2017 – Мамонтов В. Битва Муромца с бандеровцами // Известия. 2017. 16 янв. URL: iz.ru/news/657370 (дата обращения: 25.05.2019).

Московия – Московия // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Московия (дата обращения: 24.05.2019).

Московія – Московія // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Московія (дата обращения: 24.05.2019).

Московське царство – Московське царство // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Московське_царство (дата обращения: 29.05.2019).

Новороссия – Новороссия // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Новороссия (дата обращения: 26.05.2019).

Новоросія – Новоросія // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Новоросія (дата обращения: 26.05.2019).

Ольга (княгиня киевская) — Ольга (княгиня киевская) // Википедия. URL: [ru.wikipedia.org/wiki/Ольга_\(княгиня_киевская\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ольга_(княгиня_киевская)) (дата обращения: 03.06.2019).

Ольга (княгиня) — Ольга (княгиня) // Вікіпедія. URL: [uk.wikipedia.org/wiki/Ольга_\(княгиня\)](https://uk.wikipedia.org/wiki/Ольга_(княгиня)) (дата обращения: 03.06.2019).

Петро I — Петро I // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Петро_I (дата обращения: 04.06.2019).

Присоединение Крыма к Российской Федерации — Присоединение Крыма к Российской Федерации // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Присоединение_Крыма_к_Российской_Федерации (дата обращения: 30.05.2019).

Рашизм — Рашизм // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Рашизм (дата обращения: 03.06.2019).

Російський імперіалізм — Російський імперіалізм // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Російський_імперіалізм (дата обращения: 28.05.2019).

Росіянізм — Росіянізм // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Росіянізм#Англійська (дата обращения: 30.05.2019).

Русифікація України — Русифікація України // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Русифікація_України (дата обращения: 01.06.2019).

Русская Википедия — Русская Википедия // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Русская_Википедия (дата обращения: 07.06.2019).

Русские на Украине — Русские на Украине // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Русские_на_Украине (дата обращения: 26.05.2019).

Русское государство — Русское государство // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Русское_государство (дата обращения: 01.06.2019).

Русское царство — Русское царство // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Русское_царство

(дата обращения: 29.05.2019).

Руська мова — Руська мова // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Руська_мова (дата обращения: 30.05.2019).

Руський — Руський // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Руський (дата обращения: 01.06.2019).

Східна Слобожанщина — Східна Слобожанщина // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Східна_Слобожанщина (дата обращения: 26.05.2019).

Українська Вікіпедія — Українська Вікіпедія // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Українська_Вікіпедія (дата обращения: 07.06.2019).

Українська мова — Українська мова // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Українська_мова (дата обращения: 30.05.2019).

Українці Росії — Українці Росії // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Українці_Росії#Тенденції (дата обращения: 26.05.2019).

Украинизация — Украинизация // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Украинизация (дата обращения: 01.06.2019).

Украинский национализм — Украинский национализм // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Украинский_национализм (дата обращения: 29.05.2019).

Формирование территории Русского государства — Формирование территории Русского государства // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Формирование_территории_Русского_государства (дата обращения: 28.05.2019).

Чехов — Чехов Антон Павлович // Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org/wiki/Чехов_Антон_Павлович (дата обращения: 03.06.2019).

Шухевич — Шухевич, Роман Иосифович // Википедия. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Шухевич,_Роман_Иосифович (дата обращения: 03.06.2019).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Николаев 2015 – Николаев Н. Ю. «Новое мифотворчество», или Проблемы конструирования исторической памяти на страницах современной украинской

прессы // Историческая экспертиза. 2015. № 2 (3). С. 20–41.

Николаев 2018 – Николаев Н. Ю. Современные украинские масс-медиа об истории России: от «негоцианизма» до научного лонгрида // Гуманитарный научный вестник. 2018. № 4. С. 1–9.

THE HISTORICAL NARRATIVE OF WIKIPEDIA AS THE SPACE OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN “BATTLES FOR THE PAST”

Nikolaev Nikolai Y. – Candidate of Sciences (History), Associate Professor Volzhsky Polytechnic Institute (Branch) of Volgograd State Technical University (Volgograd)

Key words: Wikipedia, Ukraine, Russia, historical narrative, historical battle.

Abstract. The article reveals differences in the historical writing of the Russian and Ukrainian versions of Wikipedia.

REFERENCES

Nikolayev N. Yu. «Novoye mifotvorchestvo». ili Problemy konstruirovaniya istoricheskoy pamyati na stranitsakh sovremennoy ukrainской pressy. *Istoricheskaya ekspertiza*, 2015, no. 2 (3), pp. 20–41.

Nikolayev N. Yu. Sovremennyye ukrain-skiye mass-media ob istorii Rossii: ot «negotsianizma» do nauchnogo longrida. *Gumanitarnyy nauchnyy vestnik*, 2018, no. 4, pp. 1–9.

«ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ “ПРОСТЫМИ ЛЮДЬМИ” И ВОПРОСАМИ КОЛОНИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В ПЕРЕХОДНЫЕ ПЕРИОДЫ ОСТАЕТСЯ НЕРЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ СЕГОДНЯШНИХ ЮЖНОЙ АФРИКИ И РОССИИ»

Интервью с К. Роббе

Ключевые слова: память в ЮАР после апартеида, сообщества памяти, раскол практик памяти, поколения, сравнение постапартеидных и постсоциалистических практик памяти.

Аннотация. В интервью рассматриваются политика и практики памяти в Южно-Африканской республике. Среди обсуждаемых вопросов: разнообразие сообществ памяти; неудача проектов создания национальной памяти на основании политики примирения в 1990-е и 2000-е; евроцентризм коммеморативных практик как препятствие возникновению диалогической памяти; культурная память об англо-бурской войне; вопросы травмы и постпамяти среди молодого поколения. Кроме того, автор размышляет о роли памяти в литературе и искусстве после апартеида и о возможностях, а также типичных ошибках, сравнения постапартеидных и постсоциалистических практик памяти.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-67-78

Ксения Роббе, доцент Лейденского университета, специализируется в африканских и российских литературных и культурных ис-

следованиях. Выросла в России, получила образование в Санкт-Петербургском университете и в Университете Гиссена (Германия). Автор монографии *Conversations of Motherhood: South African Women's Writing Across Traditions* (2015) и со-

редактор сборника статей *Post-Soviet Nostalgia: Confronting the Empire's Legacies* (2019). В настоящее время исследует воплощения памяти о пе-

реходных периодах в постсоветской и в постапартеидной литературе, театре и визуальных искусствах последнего десятилетия.

Беседовал С. Е. Эрлих. В подготовке вопросов участвовали А. С. Стыкалин, Олег Пекарь и Даниэль Пекарь.

С.Э. Верно ли расхожее утверждение, что в ЮАР существуют два обособленных сообщества памяти — черного большинства и белого меньшинства? Мой одноклассник, который проживает в Южной Африке более тридцати лет, отмечает, что после падения режима апартеида произошла консолидация, условно говоря, «белого» сообщества, которое сейчас включает африканеров (буров) — потомков преимущественно голландских колонистов XVII–XVIII вв., потомков переселенцев XIX и XX вв. из разных стран, включая евреев и индийцев. Согласны ли вы с этим наблюдением?

К.Р. Только отчасти. Действительно, можно заметить различия между, условно говоря, «белой» и «черной» разновидностями памяти об апартеиде, но это слишком сильное обобщение. Южноафриканское общество сильно фрагментировано по основаниям этничности, религии, языка и т.д., и я бы не сказала, что «белая» и «черная» памяти стали более консолидированными после отмены апартеида. Главные отличия современной памяти основаны не столько на культурных, сколько на политических различиях, подобно тому как это было во время апартеида (хотя эта

особенность политики памяти часто оказывается в тени и отрицается). Многое здесь зависит от семейного и социального окружения в период взросления и современной политической ориентации. Можно обнаружить много общего в том, как вспоминают апартеид критически настроенные белые, черные, индийцы и цветные. В той же мере «аполитичное» (консервативное) отношение к апартеиду свойственно представителям разных этнических групп.

Наблюдения вашего друга, скорее всего, отражают тот факт, что многие индийцы и цветные, которые активно участвовали в борьбе с апартеидом, как бы внезапно забыли об этом и стали убежденными капиталистами и сторонниками неолиберализма. Это радикальное изменение взглядов является предметом критики и сатиры, в том числе в романах Имрана Кувадии (*Imgaan Coovadia*). На самом деле эта переориентация началась еще в годы апартеида, с конца 1970-х — в экономических терминах и в 1980-е получила политическое воплощение, когда правительство старалось привлечь индийцев и цветных, чтобы расширить свою электоральную базу. В настоящее время подобная смена ориентации присуща и представителям черных элит.

Южноафриканские евреи, о которых вы упомянули, представляют интересное сообщество памяти, которой присуща собственная динамика. Многие из них эмигрировали на рубеже XIX–XX вв. из Восточной Европы, особенно из Литвы, спасаясь от погромов. Их главной стратегией в Южной Африке была, насколько я понимаю, ассимиляция с точки зрения языка и идентичности. Многие из них заключали браки с англоязычными южноафриканцами, но не с африканерами, «англизировались» и в годы апартеида были на стороне «либералов». В то же время они поддерживали тесные связи с Израилем. Недавние исследования политики памяти этого сообщества указывают на парадоксальность позиции южноафриканских евреев, с одной стороны, они ощущали себя жертвами европейского антисемитизма, с другой – были вовлечены в политику апартеида в Южной Африке и в Израиле. Фильм Хейди Грюнебаум (Heidi Grunebaum) «Деревня под лесом» (*The Village Under the Forest*), снятый в 2013 г., вытаскивает наружу это личное и коллективное соучастие, рассказывая историю группы южноафриканских евреев, которые во времена апартеида собирали деньги, чтобы высадить лес на месте уничтоженной палестинской деревни.

С.Э. Могли бы вы описать параметры основных сообществ памяти современной ЮАР? Есть ли у них «свои» присущие только одному сообществу памятные даты? Есть ли общие «места памяти»? Насколько велика сегодня пропасть в мировосприятии между черным и белым сообществами,

как сказывается на сосуществовании двух сообществ нелегкий груз исторической памяти о десятилетиях апартеида? И как эта проблема решается в школьных учебных программах?

К.Р. Я уже начала говорить о памяти еврейской общины, которая, конечно, является памятью меньшинства, но при этом весьма показательна. На национальном уровне в 1990-е и 2000-е предпринимались попытки создать коллективную память об апартеиде как основу «радужной нации», важным инструментом этого являлась Комиссия правды и примирения (1995–1998). Скорее всего, это была невыполнимая задача. Существует много интерпретаций деятельности Комиссии, и то, что я скажу, не затрагивает всех нюансов, а просто отражает мою точку зрения. Разумеется, это был поворотный процесс, особенно в смысле обогащения и в определенной мере изменения практики переходного правосудия посредством «нарративной правды» (свидетельств людей, которые прежде были принуждены к молчанию), ставшей важнейшим элементом судебной практики, а также в связи с тем, что эти персональные свидетельства, собиравшиеся в разных регионах страны, делались достоянием широкой, в том числе и международной публики. Вместе с тем серьезными недостатками процесса являлись его ограничение только массовыми насильями и «политическими» преступлениями, игнорирование повседневного насилия, присущего режиму апартеида, установка на «прощение», которая не отвечала запросу постколониального,

постапартеидного общества на *пра-восудие*. Последнее обстоятельство остается занозой в политическом теле Южной Африки, причиняющей боль и вызывающей разочарование.

Таким образом Комиссия правды и примирения, а также места и практики памяти, вдохновленные политикой примирения и национального строительства, не пустили корней, несмотря на значительное финансирование и продвижение со стороны государства. Музей на острове Роббен (бывшая политическая тюрьма для таких заключенных, как Нельсон Мандела) в большей степени является туристическим объектом, хотя недавно кураторы стали применять более нюансированные и лично ориентированные стратегии представления истории, отличающиеся от тех, что сосредоточиваются на политических «иконах» и национальных мифах. Статуи черных героев, как воплощающие образы борцов с апартеидом, так и апеллирующие к «традиционному» воображению, не стали, как показывают исследования Сабины Маршалл (Sabine Marschall)¹, местами памяти широких локальных сообществ. Это не означает, что эти сообщества не вспоминают о своей борьбе против колониализма и апартеида; но их коммеморации больше тяготеют к устной традиции (рассказы, песни, представления, речи), чем к визуальным и монументальным практикам.

¹ Например, *Marshall Sabine. Landscape of Memory: Commemorative Monuments, Memorials and Public Statuary in Post-Apartheid South Africa*. Leiden: Brill, 2010.

В целом продолжающееся использование евроцентричных форм и практик коммеморации является главным препятствием для диалога памяти в Южной Африке. Протесты против статуи Сесилия Родса в Университете Кейптауна и в целом движение #RhodesMustFall (Родс должен рухнуть) явились ответом на неспособность Южноафриканского государства и других институтов учредить новую публичную память и историю. Институты постапартеидного периода склонялись к компромиссу: строительство памятников и музеев, посвященных героям борьбы с апартеидом, сочеталось с сохранением значимых памятников колониальной эпохи и времен апартеида, включая статуи Родса и памятник Первопроходцам (Voortrekker, голландские переселенцы, которые в 1830–1840-х гг. отвоевали у местных племен и заселили обширные территории Южной Африки). Это отражается и в общей политике обращения с прошлым, в том числе и в учебных программах.

Преподавание истории в Южной Африке является одной из наиболее проблемных областей. Прежде всего, насколько я знаю, история не является обязательным предметом в школе. Во-вторых, истории после 1945 г. уделяется минимальное внимание, дается лишь схематический обзор основных этапов борьбы с апартеидом, дискуссии по этому вопросу не предусмотрены, мало говорится о социальной истории. В-третьих, основное внимание уделяется европейской истории и литературе. Поэтому прежде чем говорить о постколониальной памяти

и практиках в университетах, которые пытались затронуть участники движения #RhodesMustFall, школьные программы и методы преподавания должны быть тщательно пересмотрены.

Возвращаясь к вопросу о разделенной памяти, надо подчеркнуть, что это более чем вопрос расы: память в Южной Африке совпадает с границами общин. Для африканеров Англо-бурская война все еще является важным местом травматической памяти. Для местных индийцев, особенно в последнее время, становятся важными контакты через Индийский океан, память о миграциях и наемном труде, пребывание и работа Ганди в Йоханнесбурге. Между этими практиками памяти мало точек пересечения — разные герои, места, аудитории.

С.Э. Разделяет ли сегодня представителей южноафриканского белого сообщества память об Англо-бурской войне? Можно ли говорить о чем-то подобном войне памяти между белыми и красными в современной России? Или примирение произошло уже в те годы, когда один из великих южноафриканских деятелей Ян Христиан Сметс, успешно командовавший бурскими отрядами в Англо-бурской войне и который впоследствии стал британским фельдмаршалом, подал руку Уинстону Черчиллю, некогда сражавшемуся против него?

К.Р. В целом конфликт был разрешен путем послевоенного соглашения и компромисса при разделении политической и экономической

власти, особенно после 1948 г. Это не значит, что в повседневном общении отсутствуют стереотипы. Южноафриканцы британского происхождения часто смотрят свысока на африканеров, которые, в свою очередь, противопоставляют белому англоязычному сообществу «чистоту» своего языка и культуры. Но в этом культурном противостоянии ссылки на англо-бурскую войну отсутствуют. Память о войне, по меньшей мере в критическом дискурсе, уходит и от мифа героев-африканеров, которые страдали в британских концентрационных лагерях, и от истории героической борьбы двух групп белых поселенцев, по направлению к рассказу о жестоких колонизаторах. Ведь многие, сражавшиеся на стороне африканеров, были рабами, а британцы, привлекая на свою сторону африканских правителей, заключали не всегда достойные сделки. Эти истории до сих пор еще не стали частью южноафриканской коллективной и культурной памяти.

С.Э. Англо-бурская война вызвала большой отклик во всем мире и в том числе в России. Симпатии российского общественного мнения были однозначно на стороне обороняющихся буров. Вспоминается модное стихотворение второстепенной петербургской поэтессы Галины Галиной (Глафиры Адольфовны Эйнерлинг), которое было тогда на слуху у всех: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся лежишь в огне». Вспоминается и крупный русский праволиберальный политик, лидер октябристов и глава Госдумы А.И. Гучков, который не только

участвовал добровольцем в Англо-бурской войне, но и был там тяжело ранен. В Южной Африке кто-то помнит сегодня об этой русской солидарности?

К.Р. В Южной Африке этот эпизод русских антибританских настроений и солидарности с бурами почти забыт. На краткое время интерес к России возник в 1990-е гг., когда были восстановлены дипломатические и культурные связи и известный русский историк-африканист Аполлон Давидсон написал несколько книг об истории российско-южноафриканских отношений. В это же время появился рассказ, написанный на африкаанс и опубликованный в книге «Истории бурской войны» (*Boereoorlogstories*), где речь идет о русской медсестре, которая в качестве волонтера принимает участие в войне. Но этот нарратив является маргинальным.

Более широкой проблемой южноафриканско-российских отношений является то, что эпизоды солидарности во время расцвета апартеида (1950–1980-е гг.) полностью ушли в тень из-за государственной пропаганды, объявлявшей противников апартеида «коммунистами». Поэтому для среднего белого южноафриканца русские все еще являются опасными «коммунистами», по этой причине Путин и его политика также оцениваются негативно. В этом нет ничего удивительного, учитывая тесные связи с США в годы апартеида, что до сих пор порождает сходство с американским праволиберальным дискурсом.

С.Э. Южно-Африканский Союз до 1961 г. был членом Британского содружества, доминионом. А до этого южноафриканские солдаты сражались и гибли на фронтах обеих мировых войн под британским флагом. И после осложнения отношений с метрополией и выхода из Содружества сохранялись обширные культурные, общественные связи. Как воспринимается сегодня в южноафриканском обществе британское имперское наследие? Чувствуют ли современные южноафриканцы свою причастность к британской истории, в том числе военной истории, колониальной истории, истории культуры, или британская историческая память — это совсем чужая память для них?

К.Р. Для многих белых южноафриканцев британского происхождения, особенно тех, что иммигрировал в XX в., это все еще «их» память. Так, дед моего мужа в молодости служил в британской армии и после службы приехал в Южную Африку. Как и многие дети своего сообщества, мой муж вырос на семейных историях о двух мировых войнах, которые воспитывали в нем гордость за предков, и поэтому историю мировых войн он знает намного лучше истории колониальных войн в Южной Африке.

С.Э. Сильны ли сегодня в сознании южноафриканского белого сообщества ностальгические нотки, когда речь заходит об эпохе апартеида?

К.Р. Такие мотивы присутствуют, но не в публичном дискурсе. «Белая

ностальгия» (обычно воспоминания о временах невинного детства) ожидаемо была в 2000-е гг. важной темой для литературы на английском и африкаанс. Гораздо любопытнее, что ностальгия также присуща черным южноафриканцам. Я могу назвать увлекательную книгу Джекоба Дламини (Jacob Dlamini) «Ностальгия черных» (*Native Nostalgia*)², в которой он рассматривает парадоксальную тоску по жизни в черных *тауншипсах* 1970–1980-х, присущую его матери, другим людям старшего поколения и отчасти ему самому. Это, разумеется, тоска не по апартеиду, а по времени большей определенности, «порядка», в смысле взаимосвязей внутри общины, уважения к старшим и солидарности внутри поколений и между поколениями. Поэтому, говоря о ностальгии, важно определить, к чему конкретно она относится и каков ее социальный и дискурсивный контекст. В современной Южной Африке ностальгия может использоваться в качестве протеста против неуважения к общинной этике (так называемая ubuntu).

С.Э. Сын моего одноклассника, который только окончил университет в Йоханнесбурге, отмечает, что молодое поколение чернокожих африканцев унаследовало память своих родителей о борьбе за гражданские права в годы апартеида и продолжает с такой же яростью их борьбу тридцатилетней давности, не замечая, что общественная ситуация кардинально изменилась. Африканские

студенты, вопреки реальности, воспринимают себя в качестве представителей угнетенного и бесправного класса. Можем ли мы говорить, что постпамять, т.е. память о травме, пережитой родителями, является в данном случае ложным проводником в будущее?

К.Р. Это увлекательная тема, в том числе и с точки зрения теоретических понятий, поскольку в определенной мере подталкивает к переосмыслению понятия постпамяти. Я писала об этом в контексте #RhodesMustFall и буду еще писать. Но мой подход отличается от того, который вы наметили. Борьба против апартеида в прошлом действительно проходила в рамках борьбы за гражданские права (права человека), но в более широком контексте это была также борьба за социальное равенство и социальную справедливость. Сегодня в изменившихся обстоятельствах эта борьба продолжается на национальном и глобальном уровнях. Проблемы остаются теми же самыми, они не были разрешены после отмены режима апартеида, часть из них еще больше обострилась, в их числе пространственная сегрегация, огромное неравенство в образовании, санитарные условия и т.д. Появление немногочисленных черных элит и среднего класса не привело к структурным изменениям в обществе. Возникающий класс черных профессионалов, получающих достойные зарплаты, все еще сталкивается с необходимостью выплачивать «черный долг», как первому поколению им приходится вкладывать большие средства в строительство жилья и часто

² Dlamini Jacob. *Native Nostalgia*. Johannesburg: Jacana, 2009.

заботиться о больших семьях, которые нуждаются в их поддержке. Многие белые южноафриканцы, в отличие от черных, имеют привилегированный доступ к образованию и часто живут наследственным имуществом, накопленным старшими поколениями. Это ситуация продолжающейся колониальности.

Что касается постпамяти, сегодня среди молодых черных южноафриканцев заметен поиск языка, способного противостоять структурному неравенству, унаследованному от эпох колониализма и апартеида, и ближайшие образцы, разумеется, заимствуются из репертуара борьбы с апартеидом. Этот репертуар может в какой-то мере быть и ложным проводником, но в каких-то отношениях он может быть обоснованным. Например, память о восстании в Соуэто подчеркивает недостаток адекватных реформ в образовании 25 лет спустя после конца апартеида. Постпамять молодых поколений является попыткой протянуть руку поколению своих родителей и понять, в чем состоит их опыт, без того, чтобы обвинять их в неудаче переходного периода, что также встречается в публичном дискурсе. В отличие от Холокоста, действие апартеида все еще не закончилось, и поэтому поколение «рожденных свободными» испытывают на своем опыте последствия расизма, которые могут травмировать. Поэтому речь идет о контексте, где наслаивается множество травм и взаимно переплетаются память и постпамять.

С.Э. Что должен делать европейский исследователь Южной

Африки, чтобы адекватно реконструировать память черного большинства, которое до недавних пор было лишено права публично говорить о своей памяти, о своих исторических травмах? Как при взгляде со стороны избежать «вчитывания», когда мы приписываем изучаемому «экзотическому» сообществу априорные представления своей культуры? Были ли в вашей исследовательской практике случаи, когда вы убеждались, что привычные представления европейцев об Африке не соответствуют действительности?

К.Р. Исследователи постколониального общества постоянно задают себе этот вопрос. Но то же самое могут спросить себя исследователи «своего собственного» общества: сколь верно их знание и понимание всех общественных групп и их представителей? Я задаю себе этот вопрос в ходе исследований русской литературы и искусства, даже чаще, чем когда пишу об Южной Африке. Опыт взаимодействия с африканским и другими незападными контекстами помогает «остранить» взгляд на более близкие феномены. В то же время свежий взгляд со стороны может порой, по моему мнению, увидеть нечто неожиданное в привычных вещах.

Обсуждая эти вопросы со студентами, я часто привожу примеры из книги «Там еще была коза» (*There Was This Goat*) трех южноафриканских авторов: поэта и журналистки Анки Крох (Antjie Krog), психолога Копано Рателе (Kopano Ratele) и исследователя устной культуры народа коса Носиси Мполвени

(Nosisi Mpolweni)³. Они обращаются к головоломке, порожденной свидетельствами перед Комиссией правды и справедливости, которые дала госпожа Кониле (Konile), мать одного из борцов с апартеидом, застреленного полицией в 1986 г. В сравнении с речами других матерей и жен ее история выглядела малопонятной, т.к. изобиловала отсылками к местному контексту и не соответствовала нарративным формулам, принятым в Комиссии. Подход, принятый белыми исследователями, может усмотреть в этой невинтице признаки травмы, которую испытывает женщина, потерявшая сына. В результате длительного взаимодействия с госпожой Кониле, ее семьей и окружением исследователи установили, что она пыталась сообщить о своем разорении в результате потери нескольких членов семьи, о своей нищей жизни женщины, оставшейся без сына-кормильца, о необходимости заниматься тяжелой работой на шахте. Если в данном случае можно говорить о травме, то мы должны переосмыслить понятие травмы согласно жизненным условиям, особенностям восприятия и культурному багажу людей, чьи точки зрения мы пытаемся анализировать. Или, возможно, мы должны подходить к ним с совершенно другим понятийным аппаратом.

В моих собственных исследованиях я стараюсь увидеть, какие воззрения на травму и память воплощают

³ Krog Antjie, *Kopano Ratele and Nosisi Mpolweni. There Was This Goat: Investigating the Truth Commission Testimony of Notrose Nobomvu Konile.* Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press, 2009.

литературные тексты и произведения изобразительного искусства, какие критические инструменты здесь требуются и как мы можем развить эти инструменты.

С. Э. Как специалист по литературе и искусству, что бы вы сказали об осмыслении в художественной культуре ЮАР (литературе, кино, театре, изобразительном искусстве) памяти об эпохе апартеида, насколько сильно сказывается груз этой памяти в художественном творчестве?

К. Р. Несомненно, что память является одной из ведущих тем южноафриканских литературы и искусства. Но это, я считаю, не только тяжкая ноша, но и двигатель новых направлений публичного воспоминания. Посредством литературы и искусства развиваются, испытываются и кристаллизуются новые способы нынешнего и будущего воспоминания. Наблюдая тренды памяти в литературе, я могу сказать, что чрезмерное внимание к травме в 1990-е и 2000-е гг. сменяется интересом к более «активным» видам (пост)памяти, в связи с чем на первый план выдвигается воспоминание о жизни прежних поколений. Я сейчас пишу статью об этой динамике. Другая интересная тенденция связана с тем, что я называю многослойной памятью: писать о недавнем прошлом чрезвычайно тяжело, поскольку переходный период породил собственные травмы, поэтому авторы обращаются к далекому прошлому, но при этом используют намеки на современность и создают рамку для «чтения» своего времени.

С. Э. В одной из ваших работ вы называете южноафриканское общество пострепрессивным и проводите некоторые параллели между постсоциалистическими обществами СССР и Восточной Европы и постапартеидным обществом ЮАР. Можно ли говорить о каких-то общих закономерностях посттравматической исторической памяти в постсоциалистическом российском и постапартеидном южноафриканском сообществах?

К. Р. Да, это то, чем я сейчас занимаюсь и буду заниматься еще несколько лет. Я считаю, что существует сходство в логике обращения к прошлому режима апартеида и советского режима и в особенности между тем, каким образом протекала трансформация этих режимов, а также между установившимся в результате этих трансформаций режимами памяти: что надо вспоминать, а что следует забыть, чьи воспоминания являются более актуальными и значимыми, а чьим отводится второстепенное место, какие способы воспоминания становятся более привилегированными, а какие — средствами протеста.

Рассматривая термин «пострепрессивный», я привожу пример из недавней работы Шины О'Коннел (Siona O'Connell)⁴. Когда она попросила отца порассуждать по поводу старых фотографий, изображающих места и людей, которых он потерял в результате давней насильственной депортации, отец признался, что он до сих пор пос-

тоянно оглядывается, хотя не знает точно, чего ему стоит бояться. Это чувство иррационального страха и постоянной настороженности присуще, я думаю, и постсоветским людям, в том числе и молодым.

Несмотря на наличие многих запутанных совпадений, сравнивать нужно с большой осторожностью. Разумеется, идеология советского и других социалистических режимов сильно отличалась и даже была противоположностью режима апартеида, гораздо больше общих черт обнаруживается у апартеида и нацизма. Но механизмы социального инжиниринга, цензуры и методы секретной полиции обнаруживают большие сходства, которые оказывали свое действие.

Кроме того, использовавшиеся в 1980–1990-х нарративы «перехода» и практики памяти носили глобальный характер, т.е. были сходны по всему миру, но их сопроизводили местные социальные акторы из Восточной Европы, бывшего СССР, Южной Африки, Латинской Америки и т.д., и, следовательно, они имели местные корни, которые переплетались на глобальном уровне. Не обращая внимание на эти пересечения, мы впадаем в дихотомию холодной войны, которая до сих пор преобладает в нашем видении исторических глобальных взаимодействий. Заявляя о существенном сходстве процессов, протекавших в этих обществах, мы тем самым прибегаем к редукционизму времен холодной войны. На самом деле соотношение Южной Африки с Россией изобилует «ошибками перевода», основанными, как это

⁴ O'Connell Siona. "Apartheid Afterlives: Imagining Freedom in the Aftermath of Racial Oppression in Cape Town, South Africa." *Third Text* 32. 1 (2018). P. 32–45.

блистательно показало исследование Моника Попеску (Monica Popescu)⁵, на поверхностных и ложных сходствах. В Южной Африке целью перехода было объявлено достижение социальной справедливости, тогда как в России целью являлись рыночные преобразования. Тем не менее результаты во многом схожи. Переходы осуществлялись социальными группами, которые, к несчастью, были невнимательны к условиям жизни и взглядам простых людей и не придавали значения вопросам колониального наследия. Пренебрежение «простыми людьми» и вопросами колониального наследия в переходные периоды остается нерешенной проблемой для сегодняшних Южной Африки и России, это те вопросы, к которым интеллектуалы, производители культуры и активисты возвращаются. Это то, что я сейчас исследую.

С.Э. Какие изменения исторического дискурса стоило бы, по вашему мнению, произвести в публичном пространстве ЮАР, чтобы преодолеть концептуаль-

ные расхождения основных сообществ памяти этой страны?

К.Р. Это сложный вопрос. Я обычно осмысливаю то, что уже случилось, а не то, что должно случиться, и я, разумеется, не знаю, как достичь необходимых изменений. Учитывая фрагментацию памяти в Южной Африке, было бы здорово, если бы возникли практики взаимодействия памятьей различных сообществ и установился диалог между ними, т.е. чтобы формировалась более пересекающаяся и более многонаправленная память (multi-directional memory). Разумеется, как я уже говорила, необходимо изменить учебные программы в школах и университетах. Практики памяти черных и цветных сообществ (особенно рабочих и сельского населения) должны быть выдвинуты на первый план воспоминаний. Институты публичной памяти должны привлекать специалистов, занимающихся колонизацией, и все южноафриканцы должны обучаться пост- и деколониальным формам знания и воспоминания. Надеюсь, что хотя бы частично это произойдет.

“THE NEGLECT OF THE ‘COMMON’ AND OF ISSUES OF COLONIALITY DURING THE TRANSITIONS IS AN UNRESOLVED PROBLEM, WITH WHICH SOUTH AFRICA (AND RUSSIA) ARE DEALING TODAY”. INTERVIEW WITH X. ROBBE

Robbe Ksenia – assistant professor at Leiden University, working in the fields of African and Russian literary and cultural studies (Netherlands)

Key words: memory in post-apartheid South Africa, communities of memory, divided memory, generations, post-apartheid and post-socialist memory in comparison.

Abstract. The interview engages with the politics and practices of memory in South Africa. Among the questions discussed are the diversity of the communities of memory; the failure of creating a cohesive national memory based on a politics of formal reconciliation during the 1990s and 2000s; Eurocentric forms of commemoration as an obstacle towards the emergence of dialogical memory; cultural memory of the Anglo-Boer War; questions of trauma and postmemory among the younger generation. Further, the interview reflects on memory of apartheid as a leading theme in post-1994 South African literature and art, and the possibilities and pitfalls of analyzing post-apartheid and post-socialist memory practices comparatively.

МЕЖДУМОРЬЕ: ПРОСТРАНСТВО СУДЬБЫ

Ключевые слова: Междуморье, Центрально-Восточная Европа, субъектность, национализм, империя, интеграция, дезинтеграция, диктатура, демократия.

Аннотация. Статья к.и.н., специалиста по новейшей истории Центрально-Восточной Европы Я. В. Шимова посвящена важнейшим тенденциям в политической истории региона, который автор именует Междуморьем, в последние сто лет – с момента окончания Первой мировой войны до настоящего времени. Междуморье – регион, расположенный между Балтийским, Адриатическим и Черным морями, издавна был одним из важнейших европейских «перекрестков», местом пересечения и столкновения интересов различных геополитических сил. В статье проанализированы перипетии политической истории Междуморья последних ста лет с учетом двух ключевых для рассматриваемого периода тенденций: борьбы народов региона за политическую субъектность и столкновения интеграционных и центробежных импульсов.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-79-97

«Для европейской историографии остается огромной terra incognita восточная часть Центральной Европы, между Швецией, Германией и Италией, с одной стороны, и Турцией и Россией – с другой. В ходе европейской истории многие народы этого региона создавали собственные независимые государства, иногда довольно обширные и могущественные; в тесной связи с Западной Европой они развивали свои национальные культуры и вносили свой вклад в общий прогресс европейской цивилизации» (*Halecki* 1980: 9). Так в 1952 г. описывал пред-

мет своего научного интереса польско-американский историк Оскар Халецкий. Он был одним из первых современных теоретиков, которые обосновали необходимость изучения истории и современности Центрально-Восточной Европы (ЦВЕ) как самостоятельного региона, особенности развития которого отличают его как от западных, так и от восточных соседей.

ЦВЕ давно перестала быть для историков terra incognita. Более того, подходов и интерпретаций истории этого региона появилось довольно много, и нередко они противоречат друг другу. Это объясняется тем, что регион на протяжении нескольких веков то и дело оказывался в центре геополитических столкновений

© Я. В. Шимов, 2019

Шимов Ярослав Владимирович – кандидат исторических наук, специалист по новейшей истории стран Центральной Европы (Прага); J.Simov@seznam.cz

внешних по отношению к нему сил. Каждая из них выступала с тем или иным историко-идеологическим обоснованием своего намерения включить эти земли в сферу собственного влияния. Эти попытки пересекались со стремлением политических и культурных элит народов региона осмыслить свое прошлое и настоящее и, исходя из этого, определить пути наиболее перспективного, или хотя бы приемлемого, развития в будущем.

История — это не столько минувшие события как таковые и даже не их последующее описание, ведь какого-то «эталонного» описания прошлого не существует никогда и нигде. История — это совокупность восприятий минувшего, вечное переплетение и борьба версий и мнений о нем. Поэтому для начала нам не избежать обзора исторических и политических концепций, связанных с Центрально-Восточной Европой — регионом, расположенным между тремя морями: Балтийским, Адриатическим и Черным. Мы будем называть его «Междуморьем»: этот термин наиболее близок к географии и далек от политики, даже несмотря на его совпадение с польским межвоенным геополитическим проектом *Międzymorze*.

Междуморье — пространство, примерно совпадающее с описанным Халецким: между Германией, Австрией и Италией на западе, современной Россией на востоке, побережьем Польши и Прибалтийских стран на севере, берегом Черного моря, европейской частью Турции и Грецией на юге. Границы Междуморья определены его историей, сде-

лавшей этот регион одним из самых оживленных перекрестков Европы, сравнимых в этом отношении разве что с прирейнскими областями или севером Италии. На протяжении веков здесь сталкивались самые разнообразные силы и интересы, действовали разнонаправленные векторы, равнодействующая которых и определяла ход истории региона, становилась его судьбой. В определенном смысле Междуморье — это пространство судьбы, особенно в XX и начале XXI в. Это, возможно, самый драматичный период в истории земель, расположенных между европейским Востоком и Западом и во многих отношениях принадлежащих и Западу, и Востоку. А значит — объединяющих, а не разделяющих Европу, сколько бы границ в разные эпохи ни проходило через Междуморье.

1

С середины XIX в. в странах германского историко-культурного ареала, прежде всего в Пруссии и империи Габсбургов (с 1867 г. — Австро-Венгрии), появляются концепции Средней, или Срединной, Европы (*Mittleuropa*). Они становятся частью политико-идеологических усилий по реорганизации германского пространства, связанных с подъемом немецкого национализма и различными моделями объединения Германии. После того, как в 1864–1871 гг. была «железом и кровью» объединена Германская империя Гогенцоллернов, побудительными мотивами немецких концепций Срединной Европы как общности ряда стран под главенством новой Германии стали «попытки компенсировать

недостатки малогерманского объединения страны при Бисмарке, а также соперничество с мировыми державами, такими как Великобритания, Россия и США»¹.

В наиболее законченном и последовательном виде проект *Mitteleuropa* был описан Фридрихом Науманом в одноименной книге, вышедшей в период Первой мировой войны, в 1915 г. Он предусматривал создание колоссального политико-экономического союза, простирающегося от севера Франции и Бельгии до Балкан и Османской империи. Не осуществленная в силу поражения Центральных держав в Первой мировой войне, *Mitteleuropa*, однако, наложила отпечаток на последующее восприятие концепций Средней Европы как таковых. Они нередко толковались как более или менее завуалированные рецепты подчинения Германией ее восточных и южных соседей.

В действительности, однако, существовал широкий спектр местных интерпретаций истории и современности региона Междуморья. Один из ранних планов интеграции Центрально-Восточной Европы принадлежал князю Адаму Ежи Чарторыйскому. Этот политик, в ранней молодости — близкий сотрудник российского императора Александра I, позднее — один из лидеров восстания 1830–1831 гг. в Польше и наиболее видная фигура польской полити-

ческой эмиграции середины XIX в., рассматривал такую интеграцию как необходимое условие противостояния, с одной стороны, российской, а с другой — прусской экспансии. Польшу (точнее, восстановленную Речь Посполитую) и Венгрию Чарторыйский считал наиболее важными государствами, вокруг которых в рамках федеративной или конфедеративной модели могли бы объединиться Чехия, придунайские княжества (ядро будущей Румынии) и югославянские народы Балкан². Для Чарторыйского и его сторонников была разочарованием националистическая политика венгерского революционного правительства 1848–1849 гг., противопоставившая мадьяр национальным меньшинствам Венгерского королевства.

Многие представления об общности народов региона, лежащего между Германией, Османской империей и Россией, уходили корнями в идеи австрославизма середины XIX в. Согласно этой концепции, разделявшейся, в частности, лидером чешского национального возрождения Франтишеком Палацким, политическое и экономическое сотрудничество и культурное развитие центральноевропейских народов возможно в рамках многонациональной империи Габсбургов — в случае, если она обеспечит своим народам достаточный уровень автономии. По мнению Палацкого, считавшего, что «если бы Австрии не было, ее следовало бы придумать», само существование государства Габсбургов являлось гарантией от, с одной стороны,

¹ (Бафанов 2009: 174). Под «малогерманским» имеется в виду вариант объединения, оставивший «за бортом» Германской империи, в многонациональной Австро-Венгрии, ряд населенных этническими немцами территорий.

² Подробнее см.: (Chodakiewicz 2012).

пруско-германского, с другой — русского экспансионизма. Эта мысль перекликалась с идеями Чарторыйского, который, однако, в отличие от Палацкого, не видел в государстве Габсбургов с его немецкой династией и австро-германским «ядром» потенциального объединителя большей части Междуморья.

Дуалистическая реформа 1867 г., преобразовавшая Австрийскую империю в Австро-Венгрию, и неудачи габсбургской национальной политики последней трети XIX в. привели к закату австрославизма и подъему националистических движений народов империи, вступившей в период упадка. В качестве противодействия им те политические теоретики и государственные деятели, которые все же видели за Австро-Венгрией будущее, выдвигали планы ее федерализации. В частности, их вынашивал наследник габсбургского престола эрцгерцог Франц Фердинанд д'Эсте. Он опирался на предложенный трансильванским юристом и политиком Аурелом Поповичем проект «Соединенных Штатов Великой Австрии», предусматривавший преобразование дуалистической монархии в федерацию 15 провинций на этнокультурной основе³.

Венгерский политик и теоретик Оскар Яси, будучи поначалу сторонником концепции Наумана, на исходе Первой мировой изменил свое мнение, он «связывал ожидания распространения демократических институтов с победами сил Антанты. Весной 1918 г. он написал книгу

³ Подробнее см., напр.: (Шимов 2010).

о реорганизации империи Габсбургов в федерацию, где предложил создать Соединенные Штаты Данабии (от Danubius — Дунай. — Прим. авт.), состоящие из пяти частей: Австрии, Венгрии, Польши, Богемии и Иллирии» (Пок 2017: 28). Этим планам, однако, не суждено было сбыться: окончание Великой войны означало распад Австро-Венгрии, а Версальская система мирных договоров, в соответствии с которой решили обустроить Европу победители, комплексной интеграции Междуморья не предполагала.

До 1917 г. часть политической и интеллектуальной элиты славянских народов Междуморья видела в России будущую покровительницу, способную обеспечить свободное развитие европейских славян. На Балканах эти воззрения были особенно сильны после русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда Россия сыграла решающую роль в освобождении славянских народов этого региона от османского владычества. Начало Первой мировой войны воспринималось как в пангерманских, так и в панславистских кругах как решающий бой между германством и славянством, а в смысле геополитическом — схватка за господство над центром и востоком Европы.

Как с присущим ему идеализмом писал один из наиболее восторженных панславистов того времени, будущий первый премьер-министр Чехословакии Карел Крамарж, «решение России вступить в мировую войну во имя свободы славянских народов, без каких-либо эгоистических соображений, только по святому вдохновению русской

души, — это один из прекраснейших моментов русской истории»⁴. Крамаржу принадлежал проект реорганизации значительной части Центрально-Восточной Европы — создание «Славянской империи» под доминированием или непосредственным владычеством царской России. Эти планы, впрочем, не пользовались однозначной поддержкой даже в среде антигабсбургски настроенных чешских и словацких политиков, а после падения монархии Романовых и большевистской революции в России окончательно утратили актуальность.

Сложный контекст Великой войны не позволял национальным движениям народов Междуморья делать однозначные геополитические ставки. Так, польское движение, целью которого являлось восстановление независимости Польши, разделенной после 1795 г. между Россией, Австрией и Пруссией, раскололось на два лагеря. Они расходились во взглядах на внутреннюю политику и геополитическую ориентацию будущего польского государства. Национал-демократы (эндеки) во главе с Романом Дмовским рассматривали Польшу как монолитное в этнокультурном плане государство польского народа с жесткой ассимиляцией национальных меньшинств. В годы Великой войны Дмовский и его сторонники ориентировались на Россию, а затем — на западные державы, видя в них будущих гарантов польской независимости.

Большая часть левых и центристов в национальном движении, однако,

объединилась вокруг Юзефа Пилсудского, организовавшего в Западной Галиции с санкции австрийских властей польские легионы — вооруженные формирования для войны с Россией на стороне Центральных держав. Геополитическая ставка Пилсудского была сугубо тактической: по его собственным словам, «ясно, что Россия будет разгромлена, но Австрия и Германия [впоследствии] тоже проиграют... Когда Королевство Польское⁵ будет освобождено от русского ярма, роль легионов будет выполнена. Но затем полякам придется расчитаться с австрийцами и немцами» (*Jedrzejewicz* 1990: 58–59). Расчет Пилсудского в определенной мере оправдался. Однако впоследствии, в межвоенный период и даже позднее, на внутреннюю и внешнюю политику Польши оказывали влияние обе концепции — как этнический национализм эндеков, так и ориентировавшиеся на традиции Речи Посполитой проекты пилсудчиков. Последние рассчитывали на создание широкой федерации народов Северной Европы, ЦВЕ и Балкан под главенством Польши. Собственно, в историческом и политическом смысле термин «Междуморье» связан именно с этой концепцией⁶.

Подобные планы — разумеется, при несколько иной расстановке сил внутри предполагаемой конфедерации, — вынашивал и первый президент Чехословакии Томаш Г. Масарик (*Masaryk* 1994; см. также: *Svoboda*

⁵ Имеется в виду часть польских земель, находившаяся после 1815 г. по решению Венского конгресса под властью Российской империи.

⁶ Подробнее см., напр.: (*Okulewicz* 2001).

⁴ Цит. по: (*Lustigov* 2007: 120).

2003). Однако окончание Первой мировой и большевистская революция в России сильно повлияли на представления о политической ориентации и будущем Междуморья. Во-первых, победа большевиков в Гражданской войне, включая разгром «буржуазно-демократических» национальных движений на Украине, в Белоруссии, Грузии и т. д., недолговечная Венгерская советская республика (1919), советско-польская война (1920) сделали тему большевистской угрозы одним из лейтмотивов внутренней и внешней политики новых государств, образовавшихся в Междуморье. Позднее, на исходе 1920-х и в 1930-е гг., это способствовало подъему в регионе авторитарно-националистических, фашистских и милитаристских сил.

Во-вторых, объективная невозможность четкого национального размежевания в Междуморье с его этнической чересполосицей, помноженная на многочисленные несовершенства Версальской системы, привела к обострению противоречий между странами региона. Дезинтеграция возоблдала над интеграцией, Дунайская федерация Оскара Яси так и осталась мечтой. Сотрудничество между отдельными странами региона носило, как правило, временный и тактический характер и нередко было направлено против других соседей. Так, «Малая Антанта», военно-политический союз Румынии, Чехословакии и Югославии, была задумана как барьер на пути предполагаемых попыток Венгрии пересмотреть границы, навязанные ей Трианонским миром (1920). Там же, где наднациональ-

ное объединение произошло — например, интеграция югославянских народов в рамках Королевства сербов, хорватов и словенцев (СХС, с 1929 — Югославия), — оно сопровождалось такими перекосами и диспропорциями, что его недолговечность была видна уже многим современникам.

В-третьих, первоначальная ориентация новых государств региона на западные демократии, победившие в Великой войне, привела к поспешному подражательному внедрению в Междуморье парламентско-демократических систем, которые, однако, были лишены прочного социального и тем более экономического фундамента. Проявилось давнее противоречие, характерное для этого региона, когда, по словам польского историка Петра Вандича, «развитые формы политической организации появлялись и действовали в условиях, которые им еще далеко не соответствовали» (Wandycz 1998: 16). К середине 1930-х гг. в Междуморье повсеместно, за исключением Чехословакии, к власти пришли более или менее жесткие авторитарные режимы национал-консервативного или фашистского толка. К началу Второй мировой войны Междуморье подошло раздробленным и ослабленным.

2

Действия нацистского рейха к востоку и юго-востоку от его границ в 1930–1940-е гг. можно назвать чем-то вроде злой карикатуры на концепцию *Mittleuropa*, которая задумывалась все же как сфера

взаимовыгодного сотрудничества доминирующей державы и ее соседей. Гитлеровская Германия сумела вначале привязать к себе большую часть региона сетью экономических соглашений. Затем, после начала Второй мировой войны, она разделила страны Междуморья на два разряда: 1) формально независимых, но в реальности подчиненных воле Берлина сателлитов (Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия) и 2) оккупированные территории, на которых реализовывалась инспирированная расистской идеологией национал-социализма программа создания «нового европейского порядка» (Польша, чешские земли, оккупированные регионы СССР и Югославии).

Ни один из сателлитов рейха не получил каких-либо существенных и долговременных преимуществ⁷. Что же до оккупированных территорий, то количество страданий, перенесенных их населением в период 1933–1945 гг. в результате попеременного недобровольного участия в социальных экспериментах большевистского и нацистского режимов, позволило американскому историку Тимоти Снайдеру назвать эту часть Междуморья «кровавыми землями» (*Snyder 2012*). Сама концепция *bloodlands* не была

⁷ Определенным исключением здесь может считаться Венгрия, которой удалось в 1938–1941 гг. частично восстановить более справедливые с этнической точки зрения границы, чем отведенные ей Трианонским миром (1920). Однако платой за это явилось участие на стороне Германии в войне против СССР, соучастие в Холокосте и, наконец, фактическая утрата даже формальной независимости в результате насильственной смены режима в октябре 1944 г.

воспринята всеми историками без оговорок, однако она позволяет взглянуть на Междуморье под определенным углом зрения, существенным для понимания его прошлого и настоящего.

Это регион, где в результате интенсивного применения самых brutальных форм социальной инженерии, известных человечеству, в середине XX в. оказалась серьезно нарушена сама ткань общественного бытия. Из нее были вырваны миллионы людей: одни – в результате физического уничтожения, другие – как следствие насильственного перемещения (советские и нацистские ссылки и депортации периода Второй мировой и массовые депортации ряда групп населения, прежде всего польских и чехословацких немцев, в 1945–1947 гг.). Пережитое в этот период имело и долговременные психологические последствия: развитие в большинстве стран Междуморья национальных нарративов жертвенности. Это способ восприятия трагических эпизодов истории народа как страдания, причиненного чужими враждебными силами и являющегося неотъемлемой – и важнейшей – частью народной судьбы. В интерпретации этой судьбы доминируют, с одной стороны, яростное отторжение какого-либо вмешательства извне, причем нередко это отторжение переходит в откровенную ксенофобию, с другой – восприятие удела собственного народа как объекта, а не субъекта исторического процесса, бессильной игрушки в руках злых великанов-чужаков.

При этом зачастую страдания других народов, а главное – те

«неудобные» исторические факты, когда источником страданий соседей были представители «народа-жертвы», старательно выносятся за скобки. Это хорошо заметно, в частности, на примере польско-украинских споров о Волынской резне, операции «Висла» и других трагических событиях 1940-х гг. Как отмечает украинский политолог Евгений Магда, «когда сформировался польский нарратив жертвенности, появился нарратив страданий за Польшу, связанный с военными событиями, то в нем не оказалось места украинцам — в том понимании, как это видят сами украинцы» (Для сохранения... 2018). Но то же самое можно во многом сказать и о поляках в рамках украинского нарратива жертвенности, который тоже существует и развивается⁸.

Важной исторической основой нарративов жертвенности в странах Междуморья является, наряду с событиями Второй мировой, приход к власти и многолетнее господство коммунистических режимов. Одним из вариантов такого нарратива выступает теория «второй оккупации», согласно которой на смену нацистскому господству в 1945 г. почти сразу же пришло господство советское. Прочитав чешско-швейцарского историка Адриана Портмана, являющегося сторонником такого подхода: «Освобождение не восстановило свободу, а стало началом продолжавшегося еще более 44 лет периода дальнейшего подавления демократических принципов и подчинения нации новым формам авторитарного правления»

⁸ Подробнее см., напр.: (Касьянов 2019)

(Portmann б/г). Таким образом, при оценке событий второй половины 40-х гг. решающее значение придается внешнему фактору (ввод советских войск и резкий рост военно-политического влияния СССР в регионе после 1944–1945 гг.), зато уходят на второй план внутренние факторы, способствовавшие установлению коммунистических режимов.

Одним из наиболее известных примеров нарратива жертвенности можно считать имевшее в свое время большой резонанс и влияние на умы эссе Милана Кундеры «Трагедия Центральной Европы». В нем этот чешский писатель в разгар холодной войны описывал свою и соседние страны как части западного мира, насильственно отторгнутые в середине XX в. в результате Второй мировой войны: «“Географическая Европа” (простертая от Атлантики до Урала) всегда делилась на две части, каждая из которых развивалась самостоятельно: одна была неразрывно связана с античным Римом и католической церковью, другая — опиралась на Византию и православную церковь. После 1945 г. граница между этими двумя Европами передвинулась на несколько сотен километров на запад, и однажды утром несколько наций, всегда причислявших себя к Западу, обнаружили, что теперь они находятся на Востоке. Нам пора осознать: происходящее в Праге или Варшаве в основе своей — это не драма Восточной Европы, Советского блока или коммунизма; это драма Запада — ему угрожают, его теснят, промывают ему мозги, а он упорно защищает свою суть» (Кундера б/г).

Кундера вновь ввел в идейный оборот понятие Центральной Европы, старательно отделив оную от Европы Восточной (тогдашние республики СССР) и Юго-Восточной (Балканы) по признаку религии и «исторической ориентации» на Восток или Запад, — понятие весьма спорное даже в случае его родной Чехии, крещенной некогда св. Кириллом и Мефодием, прибывшими из Византии и ныне особенно почитаемыми в православном мире. На более глубоком научном уровне концепция Центральной Европы была проработана рядом исследователей — например, венгром Енё Сючем в его работе «Три исторических региона Европы» в начале 1980-х гг. (Sz cs 1983). После краха коммунистических режимов разделение на Центральную и Восточную Европу стало в странах региона официальным и общепринятым.

3

Интересные коннотации это разделение приобрело в странах бывшей Югославии, долгое время стоявшей в стороне от осмысления проблемы внутриевропейских границ — вернее, воспринимавшей эту проблему совершенно иначе. Разрыв между Сталиным и Тито в конце 40-х гг., последующее ловкое маневрирование режима Тито между Востоком и Западом, принятие югославскими коммунистами ряда принципов внутренней политики, придававших их правлению более демократичный облик, чем у советского режима и его восточноевропейских сателлитов, выдвигание «неприсоединения к военно-политическим

блокам» как главного принципа внешней политики — все это долгое время делало Югославию особым случаем, выбивавшимся из контекста западно-восточного разделения Европы времен холодной войны. В одной из дневниковых записей 1970 г. тогдашний посол Югославии в СССР Велько Мичунович так описывал ситуацию на Балканах: «Советский Союз присутствует там посредством Болгарии, Соединенные Штаты — посредством Греции, Китай — посредством Албании, а между этими государствами стоит Югославия как главный фактор политики неприсоединения» (Mićunović 1984: 110).

Однако внутренние проблемы, которые Иосип Броз Тито, один из наиболее политически изощренных диктаторов XX в., умел «разруливать» на протяжении десятилетий, после его смерти в 1980 г. почти сразу же вышли на поверхность. Трагедия распада Югославии и балканских войн 1990-х — отдельная большая тема. Для нас важно, что в ходе этого распада проявилась разнонаправленная ориентация отдельных частей распавшейся страны. Хотя радикально-националистические правительства пришли в начале 90-х гг. к власти практически во всех бывших югославских республиках, Словения и Хорватия декларировали свою «центральноевропейскую» и прозападную ориентацию, в то время как в Сербии режим бывшего коммунистического функционера Слободана Милошевича «переобулся на лету», начав использовать православные, панславистские и русофильские идеологемы времен династии Карагеоргиевичей.

Внешнеполитическая ориентация служила дополнительным фактором, позволявшим повышать градус националистической риторики и очернять противника: в одном случае — «прислужников западных агрессоров» и «новых усташей», в другом — «балканских дикарей» и «четников» на службе «русского варварства».

Граница Запада в восприятии многих словенцев и хорватов стала проходить примерно там же, где была до 1914 г. граница Австро-Венгрии и Сербии. Символичной в этом плане стала история с переименованием старейшего кинотеатра в Загребе, носившего название «Балкан Палас», в «Европу». В Сербии и Черногории после падения Милошевича отношение к дальнейшей «европеизации», синонимом которой считается сближение с Европейским союзом, остается главной внутривнутриполитической линией разделения. Это положение сохраняется, хотя Черногория в 2018 г. вступила в НАТО, а нынешний сербский президент Александр Вучич, несмотря на свое прошлое радикального националиста, провозглашает членство в ЕС одним из стратегических приоритетов Белграда.

В то же время острота проблемы разделения Европы на регионы в последние пару десятилетий снижается. С одной стороны, это связано с изменением статуса большой группы стран Междуморья, ставших в начале этого века членами ЕС и НАТО и тем самым, по крайней мере номинально, полноправной частью западного мира. С другой — меняются сами методо-

логические подходы к изучению прошлого. В рамках многих из них акцент на региональной проблематике не выглядит очевидным и необходимым. «В то время как в 1980-е гг. беспрецедентно повысился престиж центральноевропейской парадигмы, в 1990-е гг. начал происходить постепенный распад этого дискурса и стали появляться конкурирующие нарративы — “запутанные истории”, “множественные современности”, “кросс-истории”. Предстоит увидеть (возможно, это будет зависеть от политических взлетов и неудач политики интеграции Европы), почувствует ли новое поколение историков... необходимость пересмотра регионального нарратива для выделения своей относительной инаковости в рамках Европы. Или же они будут уведены в сторону для выработки новой общеевропейской региональной типологии, которая сделает центральноевропейскую и восточно-центральноевропейскую непохожесть несущественной перед фактом радикальной и радикализирующейся неевропейской инородности» (Janowski, Iordachi, Trencsényi 2005), — отмечает группа современных авторов.

То, что сохраняет тему Междуморья в числе важных для понимания европейского прошлого и настоящего, — политические события последних лет, от мигрантского кризиса в Европе до российско-украинского конфликта, и вновь актуализированная ими проблема (само)идентификации европейских обществ, разделения по линии «свой — чужой». В ставшей уже классической книге Ларри Вульфа «Изобретая

Восточную Европу» анализируется историческая роль восприятия западными наблюдателями востока Европы как Другого, причем наделенного чертами «извечной» отсталости, которая позволяла людям Запада оттенить собственную цивилизованность — понятие, получившее распространение вместе с идеями Просвещения в XVIII в.

Вульф формулирует это так: «Именно Европа Западная... в эпоху Просвещения изобрела Восточную Европу, свою вспомогательную половину... На том же самом континенте, в сумеречном краю отсталости, даже варварства, цивилизованность обнаружила своего полудвойника, полупротивоположность. Так была изобретена Восточная Европа. Эта исключительно живучая концепция... всегда находила себе обильную пищу, а в наше время точно наложилась на риторику и реалии холодной войны; она, несомненно, переживет распад коммунистической системы, оставаясь и в нашей культуре, и на тех картах, которые мы носим в своем сознании» (Вульф 2003: 35). В этом смысле торжество в Междуморье концепции Центральной Европы, отделенной от Восточной, к которой отнесены европейские республики бывшего СССР, за исключением стран Балтии, — это попытка интеллектуальных элит региона создать собственного Другого, очередного менее цивилизованного «полудвойника, полупротивоположность».

Характерно, что это четко осознают и антизападно настроенные российские исследователи: «Центральноевропейский дискурс утверждает

свое господство как дискурс антироссийский и атлантистский и, таким образом, приводит к атлантистской доминации в этом регионе» (Бовдунов б/г). В действительности такого рода дискурсы способны множиться в зависимости от преобладающей в том или ином обществе интерпретации текущих событий. Так, хотя для большинства соседей по Междуморью Украина принадлежит к Восточной, а не Центральной Европе, в украинском обществе после событий 2014 г. преобладает дискурс «Украина — это Европа», служащий инструментом противопоставления себя «российскому варварству». Нетрудно понять, что действия России в отношении Украины в последние пять с лишним лет послужили существенным фактором формирования такого типа украинской национальной идентичности. Альтернативные концепции «русского мира», «триединого русского народа» и т.п., получившие в последние годы распространение в России, носят скорее изоляционистский характер, идеологически обслуживая геополитическое противостояние не только с Западом, но и с большинством стран Междуморья, избравшим курс на евроатлантическую интеграцию.

4

Несмотря на все эти перемены, есть, на наш взгляд, два тренда, которые определяют характер истории Междуморья на протяжении многих десятилетий и сохраняются по сей день. Обозначим эти тренды как 1) борьбу за субъектность и 2) диалектику интеграции и дезинтеграции.

Борьба за политическую субъектность была основной целью национальных движений в Междуморье начиная с момента их формирования. Говоря о политической субъектности, мы имеем в виду ровно то же, что определяет этим термином современная социальная психология применительно к индивидам: «Его поведение (действия и акты) не полностью детерминированы условиями его непосредственного окружения» (*Harre* 1979: 246). Формирование национального самосознания у разных народов региона происходило неодинаково и шло различными темпами, но к началу XX в. почти все они вступили или близко подошли к «фазе С» по классификации этапов развития наций, предложенной Мирославом Грохом. Эта фаза характеризуется тем, что в ходе нее «подавляющая часть населения начинала придавать особое значение своей национальной идентичности, формировалось массовое [национальное] движение... обретала жизнь завершенная социальная структура и движение подразделялось на консервативно-клерикальное, либеральное и демократическое крылья» (*Грох* 2002: 125).

Политическая субъектность не всегда тождественна суверенитету, хотя в случае с национальными движениями Междуморья создание суверенного национального государства обычно являлось институциональным оформлением субъектности и завершением процесса формирования нации. В то же время иногда нация становилась политическим субъектом еще до создания или восстановления собственного государства — как, например, в случае с поль-

ским национальным движением в середине XIX в. Бывали и обратные ситуации: так, Чехословакия в период между Мюнхенским соглашением 30 сентября 1938 г. и уничтожением этого государства в результате нацистской агрессии в марте 1939-го фактически утратила политическую субъектность, хотя формально еще обладала всеми атрибутами суверенного государства.

С борьбой за политическую субъектность тесно связана тема интеграции и дезинтеграции в регионе. Развитие национальных движений в Междуморье происходило поначалу в рамках трех консервативно-традиционалистских континентальных империй — Османской, Российской и Габсбургской⁹. Эти империи могут рассматриваться как интеграционные проекты, однако относительная архаичность их внутренней структуры — несмотря на попытки довольно глубоких реформ, предпринимавшиеся во всех трех, — делала эти государства слабо совместимыми с растущим национальным самосознанием народов, которые они объединяли. Имперские власти осознавали эту проблему и принимали меры, которые, однако, зачастую были неадекватными. В качестве примеров можно привести Эмский указ Александра II (1876), фактически поставивший вне закона украинский язык в Российской империи, или решение властей Австро-Венгрии после перехода под ее контроль

⁹ Исключением можно считать часть польских земель, отошедших в результате разделов Речи Посполитой и решений Венского конгресса к Пруссии (с 1871 г. — Германской империи).

Боснии и Герцеговины (1878) не передавать новую провинцию в ведение ни одной из двух «половинок» дуалистической монархии — дабы не нарушать их этнический баланс еще парой миллионов славян.

Первую мировую войну можно в этой связи считать следствием одновременно и межимперских противоречий, и внутриимперских кризисов, попыткой выхода из которых тогдашним элитам казалась война. Ее результатом, однако, стал крах всех трех империй восточной части Европы. Этот крах, вероятно, не был бы столь быстрым и не повлек за собой столь катастрофических последствий, если бы не «катализатор» в виде четырех лет войны.

В 1917–1918 гг. возникла уникальная ситуация, когда в результате развала трех империй одновременный шанс на реализацию своих требований получила большая группа национальных движений. Имперская «оболочка» была в одночасье отстранена, что выдвинуло на передний план проблему национально-государственного размежевания. В Междуморье она осложнялась тем, что для целых обширных областей (Силезия, Трансильвания, Банат, Воеводина, Моравия, Восточная Галиция, Буковина, Виленский край и др.) было характерно совместное проживание различных этнических общин. Далеко не повсеместным было и четко выраженное национальное самосознание. Так, еще в 1931 г. при переписи населения на востоке Польши¹⁰, прежде всего в белорус-

ских воеводствах, 707 тысяч человек называли своим родным языком «здешний», или «местный» (польск. tutajszы, бел. тутэйшы) (Polonsky 1972: 38), тем самым обозначив отсутствие ясной национальной самоидентификации.

Межвоенный период стал эпохой национального размежевания, нарастания напряженности и возникновения в Междуморье целой серии конфликтов как между новыми независимыми государствами, так и внутри них. Ведь почти все эти государства оказались столь же многонациональными, как и империи, на руинах которых они возникли. Как отмечает немецкий историк Роберт Герварт, «чрезвычайно губительный, но в конце концов конвенциональный конфликт между государствами — Первая мировая война — проложил путь серии взаимосвязанных столкновений, чья логика и смысл были куда более опасными... Речь шла об экзистенциальных конфликтах, целью которых было уничтожить врагов — этнических или социальных. Это была логика геноцида, которая в 1939–1945 гг. возобладала на большей части Европы» (Gerwart 2018: 27). И эта логика геноцида служила утверждению в регионе ЦВЕ двух тоталитарных интеграционных проектов — нацистского «нового порядка» и коммунистического «самого передового в мире общественного строя». В 1939–1941 гг. они действовали согласованно, в тактическом союзе друг с другом, в 1941–1945 гг. — в колоссальном военном противостоянии, значительная часть которого проходила на «кровавых землях» Междуморья.

¹⁰ В границах, определенных Рижским миром (1921).

Колебание маятника интеграции и дезинтеграции мы наблюдаем в истории региона и в дальнейшем. В 1945–1948 гг. в Междуморье идет процесс советизации политических систем. Его суть — переход от демократии, восстановленной (или установленной) после нацистской оккупации и/или власти местных правых авторитарных режимов, к новому авторитаризму под тавтологической вывеской «народной демократии». На сей раз диктатура приняла форму единовластия местных коммунистических партий при жестком контроле Москвы за политическими процессами в странах региона.

Последующие 40 с лишним лет советского доминирования по восточную сторону железного занавеса можно толковать как попытку интеграции Междуморья в рамках интернационалистского проекта коммунистической империи. СССР как метрополия этой империи — в рамках метрополии, впрочем, имелся собственный центр и периферия, так что многие исследователи делят советскую империю на «внутреннюю» и «внешнюю»¹¹, — последовательно стремился лишить своих восточноевропейских сателлитов политической субъектности. В конце 1960-х гг. этот подход был сформулирован официально — в виде так называемой «доктрины Брежнева». Она послужила политико-идеологическим обоснованием вторжения войск пяти стран Варшавского договора во главе с СССР в Чехословакию: «...Когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму,

пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистического содружества в целом — это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран» (Брежнев 1970: 329).

Насаждению советской модели и безвариантности коммунистической интеграции в Междуморье противостояли силы, стремившиеся к восстановлению субъектности стран региона — даже в том случае, когда формально они не ставили своей целью демонтаж советской «внешней» империи. Москва в союзе с консервативным крылом местных коммунистов подавила выступления сторонников более либеральной модели социализма в Венгрии (1956) и Чехословакии (1968) и препятствовала реформам в Польше и Восточной Германии. Однако альтернативу интеграции по-советски представлял собой не только «социализм с человеческим лицом», практически разгромленный вместе с реформами «Пражской весны».

С одной стороны, ссора Сталина и Тито в 1948 г. дала старт оригинальному национал-коммунистическому проекту — «югославской модели». Она являла собой уникальное сочетание «стандартного» коммунистического авторитаризма с элементами децентрализации в экономике и (в меньшей степени) политической системе, а так-

¹¹ См., напр.: (Crozier 1999).

же успешными попытками вести внешнюю политику, независимую по отношению как к Западу, так и к Москве. Со временем собственными национал-коммунистическими моделями, куда более ригидными и тоталитарными по своей сути, обзавелись также Албания и Румыния. В первом случае это сопровождалось открытым разрывом с СССР и сближением с маоистским Китаем как олицетворением более радикального коммунистического курса, во втором — тем, что британский историк Арчи Браун назвал «весьма нелегким союзом с СССР» (Brown 2010: 291). Но и Белград, и Бухарест, и Тирана достигли полной или весьма существенной политической независимости от Москвы, вернув себе субъектность и показав, что и в рамках коммунистического проекта возможны определенные альтернативы.

С другой стороны, начиная с 70-х гг. (в качестве отправной точки здесь могут служить массовые забастовки и волнения в Польше в 1970–1971 гг., приведшие к отставке тогдашнего лидера Владислава Гомулки) усиливается антикоммунистическая составляющая антисоветского¹² дви-

¹² Под «антисоветским движением» в данном случае мы понимаем всю совокупность весьма разнородных по идеологической направленности и политическим целям организованных действий политической активной части народов Междуморья, которая была так или иначе направлена на ослабление советского влияния в регионе. В этом смысле антисоветскими можно считать как национальное восстание в Венгрии в 1956 г. (которое поддержал глава правительства коммунист-реформатор Имре Надь), так и куда более умеренную Пражскую весну 1968 г., и даже действия радикального сталиниста, албанского диктатора Энвера Ходжи,

жения в Междуморье. Здесь можно выделить три основных течения: 1) диссидентские группы, состоявшие в основном из представителей интеллигенции; 2) рабочее движение — поначалу с социально-экономическими требованиями, которые по мере противостояния с властями дополнялись требованиями политическими (прежде всего в Польше); 3) церковные, главным образом католические, круги как центр притяжения многих недовольных режимом, в том числе симпатизантов традиционных антикоммунистических сил, разгромленных в ходе советизации в конце 40-х гг. Большая часть этих трех течений, неодинаково представленных в разных странах Междуморья (наиболее полно — в Польше, наименее — вероятно, в Болгарии), уже не имела иллюзий в духе «социализма с человеческим лицом», а добивалась постепенного или радикального демонтажа существующей системы.

В целом эти движения можно охарактеризовать как национально-демократические — в том смысле, что их общей целью, хоть и по-разному артикулированной, являлось восстановление как демократической политической системы, так и национального суверенитета — иными словами, субъектности своей страны. Понятно, что реализация этой цели означала бы конец советского интеграционного проекта в том виде, в каком он возник в 40-е гг. и в каком Москва, несмотря на все воз-

окончательно сменившего к тому же 1968 г. советское покровительство на китайское. Однако далеко не все «антисоветчики» (в указанном выше смысле) были антикоммунистами.

никавшие турбуленции, удерживала его до второй половины 80-х. Этот крах произошел в результате серии антикоммунистических революций 1988–1989 гг., носивших более (Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия) или менее (Румыния) мирный характер. Вопрос о том, привели ли к этим революциям в большей степени внутренние (кризис сателлитных коммунистических режимов) или внешние (советская перестройка) факторы, до сих пор является предметом дискуссий. Но крушение интеграции по-советски означало очередное колебание исторического маятника Междуморья.

Новый период дезинтеграции, который принесла с собой победа национально-демократических сил, оказался не столь продолжительным и куда менее катастрофическим, чем предыдущий, межвоенный. Исключением была лишь распавшаяся мини-империя наследников Тито: войны 1990-х гг. в бывшей Югославии отбросили эту часть Междуморья по многим параметрам на десятилетия вспять. Распад СССР произошел более мирно, хотя на территории Междуморья оказались два очага связанных с этим распадом вооруженных конфликтов: Приднестровье и Донбасс. При этом изменения социально-политических структур и общественных настроений в постсоветской части Междуморья (возможно, за исключением стран Балтии) оказались несколько иными, чем в странах бывшей «внешней» советской империи.

Как бы то ни было, несмотря на наличие целого ряда потенциальных

«мин замедленного действия», заложенных в предыдущие исторические эпохи, странам региона удалось избежать повторения негативного опыта 1920–1930-х гг. Главной причиной этого были избранные большинством «молодых демократий» ЦВЕ внешнеполитические ориентиры — интеграция в ЕС и НАТО. Вступление большей части стран региона в эти международные сообщества в последние годы XX — начале XXI в. могло показаться апофеозом «центрально-европейской мечты». На сей раз, в отличие от нацистского и советского интеграционных проектов, импульс к интеграции с Западом исходил из самого региона Междуморья, подтверждением чему стали референдумы о вступлении в ЕС, проведенные в большинстве стран-кандидатов. Интеграция вновь сменила дезинтеграцию — но, похоже, опять-таки ненадолго. Бег истории ускоряется, а вместе с ним и колебания исторического маятника Междуморья: каждая последующая фаза становится короче предыдущей.

Кризис, в котором оказался Европейский союз в последнее десятилетие, привел к появлению новых оттенков самоидентификации народов Междуморья — на сей раз в отношении европейского Запада. Этап безропотного ученичества, когда любые инициативы западных союзников принимались в регионе на ура или по крайней мере без возражений, явно миновал. Активное и успешное сопротивление стран «Вышеградской четверки» введению обязательных квот по приему мигрантов, на которых настаивали Брюссель и Берлин, по-

казывает, что политические элиты Междуморья более не чувствуют себя младшими партнерами. Некоторые исследователи даже заявляют о «конце Центральной Европы» как модели восприятия регионом самого себя в качестве неотъемлемой части Запада, поскольку «политические элиты стран Вышеградской группы заняты конструированием новых идентичностей, частично противостоящих западному либерализму» (Kazharski 2018). Насколько успешным окажется этот процесс и какое влияние окажет он на будущее не только Междуморья, но и всей Европы, судить пока сложно.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Брежнев 1970 — *Брежнев Л. И.* Ленинским курсом. Т. II. М., 1970.

Для сохранения... 2018 — Для сохранения дипломатических отношений с Польшей Украине не нужно углубляться в историческую память // *Голос.ua*, 06.02.2018. URL: golos.ua/i/594939.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Баранов 2009 — *Баранов Н. Н.* Срединная Европа Фридриха Наумана: становление концепции // *Известия Уральского государственного университета*. Сер. 2, гуманитарные науки. 2009. № 3 (65).

Бовдунов б/г — *Бовдунов А.* Политико-географические образы Центральной и Восточной Европы и геополитическая организация региона. URL: oko-planet.su/politik/politiklist/77867-politiko-geograficheskie-obrazy-centralnoy-i-vostochnoy-evropy-i-geopoliticheskaya-organizaciya-regiona.html.

Вульф 2003 — *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в со-

знании эпохи Просвещения. М.: НЛО, 2003.

Грех 2002 — *Грех М.* От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе // *Нации и национализм*. М., 2002.

Касьянов 2019 — *Касьянов Г.* Украина и соседи. Историческая политика 1980–2010-х годов. М.: НЛО, 2019.

Кундера б/г — *Кундера М.* Трагедия Центральной Европы / пер. А. Пустогарова. URL: www.proza.ru/2005/12/16-142.

Пок 2017 — *Пок А.* Срединная Европа (1915–2004). Посткоммунистический реквием // *Современная Европа*. 2017. № 7.

Шимов 2010 — *Шимов Я.* Планы эрцгерцога Франца Фердинанда по преобразованию Австро-Венгрии: утопия или нереализованная возможность? // *Славяноведение*. 2010. № 4. URL: naukarus.com/plany-ertsgertsoga-frantsa-ferdinanda-po-preobrazovaniyu-avstro-vengrii-utopiya-ili-nerealizovannaya-vozmozhnost.

Brown 2010 — *Brown A.* The Rise & Fall of Communism. L., 2010.

Chodakiewicz 2012 — *Chodakiewicz M. J.* Intermarium: The Land between the Black and Baltic Seas. New Brunswick, NJ. 2012.

Crozier 1999 — *Crozier B.* The Rise and Fall of the Soviet Empire. NY, 1999.

Gerwart 2018 — *Gerwart R.* Porážení. Světová válka byla jen jedna. Praha, 2018.

Halecki 1980 — *Halecki O.* Borderlands of Western Civilization. NY, 1980.

Harre 1979 — *Harre R.* Social Being. Oxford, 1979.

Janowski, Iordachi, Trencsényi 2005 — *Janowski M., Iordachi C., Trencsényi B.* Why Bother About Historical Regions? Debates Over Central Europe in Hungary, Poland and Romania. East Central Europe // *L'Europe du Centre-Est: eine wissenschaftliche Zeitschrift*. 2005. Vol. 32. P. 22–23.

- Jedrzejewicz* 1990 — *Jedrzejewicz W.* Pilsudski: A Life For Poland. NY, 1990.
- Kazhariski* 2018 — *Kazhariski A.* The End of “Central Europe”? The Rise of the Radical Right and the Contestation of Identities in Slovakia and the Visegrad Four // *Geopolitics*. 2018. Vol. 23. № 4. P. 754–780. URL: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650045.2017.1389720?journalCode=fggeo20.
- Lustigová* 2007 — *Lustigová M.* Karel Kramář, první československý premiér. Praha, 2007.
- Masaryk* 1994 — *Masaryk T.G.* Nová Evropa. Brno, 1994.
- Mičunović* 1984 — *Mičunović V.* Moskovske godine, 1969–1971. Beograd, 1984.
- Okulewicz* 2001 — *Okulewicz P.* Koncepcja „Międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926. Poznań, 2001.
- Polonsky* 1972 — *Polonsky A.* Politics in Independent Poland 1921–1939. The Crisis of Constitutional Government. Oxford, 1972.
- Portmann* б/г — *Portmann A.* Onesvobození, aneb Co si skutečně myslím o událostech roku 1945. URL: www.minulost.cz/cs/content/onesvobozeni-1945.
- Snyder* 2012 — *Snyder T.* Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. NY, 2012.
- Svoboda* 2003 — *Svoboda L.* Náznaky TGM na ideu sjednocené Evropy // *Středoevropské politické studie*. 2003. Vol. 5. № 2–3. URL: journals.muni.cz/cepsr/article/view/3949/5322.
- Szücs* 1983 — *Szücs J.* The Three Historical Regions of Europe: An Outline // *Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae*. 1983. Vol. 29. № 2/4. P. 131–184.
- Wandycz* 1998 — *Wandycz P.* Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti. Praha, 1998.

BETWEEN SEAS: THE SPACE OF DESTINY

Shimov Yaroslav V. — candidate of historical sciences, specialist in the modern History of Central Europe (Prague)

Key words: Intermarium, Central-Eastern Europe, subjectness, nationalism, empire, integration, disintegration, dictatorship, democracy.

Abstract. The article by Jaroslav Šimov, Prague-based historian specializing on the modern history of the Central-Eastern Europe, deals with the most important trends in the modern political history of Intermarium — the region which lays between the three seas — Baltic, Black and Adriatic. This region has for centuries been one of the most important crossroads of Europe, the place where the interests of different geopolitical actors were meeting, competing and clashing. The author analyzes the most important historical events from the end of WWI until nowadays. This analysis is based on two important historical trends which should be emphasized: the struggle of the Intermarium nations for the political subjectness and the clash of integration and disintegration, centripetal and centrifugal forces which made a great impact on the past and present of Intermarium.

REFERENCES

- Baranov N. N. Sredinnaia Evropa Fridrikha Naumana: stanovlenie kontseptsii. *Izvestiia Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta*. Ser. 2, gumanitarnye nauki, 2009, no. 3 (65).
- Bovdunov A. *Politiko-geograficheskie obrazy Tsentral'noi i Vostochnoi Evropy i geopoliticheskaia organizatsiia regiona*. URL: oko-planet.su/politik/politiklist/77867-politiko-geograficheskie-obrazy-centralnoy-i-vostochnoy-evropy-i-geopoliticheskaya-organizaciya-regiona.html.
- Brown A. *The Rise & Fall of Communism*. L., 2010.
- Chodakiewicz M. J. *Intermarium: The Land between the Black and Baltic Seas*. New Brunswick, NJ, 2012.
- Crozier B. *The Rise and Fall of the Soviet Empire*. NY, 1999.
- Gerwart R. *Poražení. Světová válka byla jen jedna*. Praha, 2018.
- Grokh M. Ot natsional'nykh dvizhenii k polnost'iu sformirovavsheisia natsii: protsess stroitel'stva natsii v Evrope. *Natsii i natsionalizm*. Moscow, 2002.
- Halecki O. *Borderlands of Western Civilization*. NY, 1980.
- Harre R. *Social Being*. Oxford, 1979.
- Janowski M., Iordachi C., Trencsényi B. Why Bother About Historical Regions? Debates Over Central Europe in Hungary, Poland and Romania. *East Central Europe. L'Europe du Centre-Est: eine wissenschaftliche Zeitschrift*, 2005, vol. 32, pp. 22–23.
- Jedrzejewicz W. *Pilsudski: A Life For Poland*. NY, 1990.
- Kas'ianov G. *Ukraina i sosedī. Istoricheskaia politika 1980–2010-kh godov*. Moscow: NLO, 2019.
- Kazharski A. The End of “Central Europe”? The Rise of the Radical Right and the Contestation of Identities in Slovakia and the Visegrad Four. *Geopolitics*, 2018, vol. 23, no. 4, pp. 754–780. URL: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650045.2017.1389720?journalCode=fgco20.
- Kundera M. *Tragediia Tsentral'noi Evropy*, per. A. Pustogorova. URL: www.proza.ru/2005/12/16-142.
- Lustigová M. *Karel Kramář, první československý premiér*. Praha, 2007.
- Masaryk T. G. *Nová Evropa*. Brno, 1994.
- Mičunović V. *Moskovske godine, 1969–1971*. Beograd, 1984.
- Okulewicz P. *Koncepcja „Międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918–1926*. Poznań, 2001.
- Pok A. Sredinnaia Evropa (1915–2004). Postkommunisticheskii rekvie. *Sovremennaia Evropa*, 2017, no. 7.
- Polonsky A. *Politics in Independent Poland 1921–1939. The Crisis of Constitutional Government*. Oxford, 1972.
- Portmann A. *Onesvobození, aneb Co si skutečně myslím o událostech roku 1945*. URL: www.minulost.cz/cs/content/onesvobozeni-1945.
- Shimov Ia. Plany ertsgertsoga Frantsa Ferdinanda po preobrazovaniiu Avstro-Vengrii: utopiia ili nerealizovannaia vozmozhnost'? *Slavianovedenie*, 2010, no. 4. URL: naukarus.com/plany-ertsgertsoga-frantsa-ferdinanda-po-preobrazovaniiu-avstro-vengrii-utopiya-ili-nerealizovannaya-vozmozhnost.
- Snyder T. *Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin*. NY, 2012.
- Svoboda L. Názory TGM na ideu sjednocené Evropy. *Středoevropské politické studie*, 2003, vol. 5, no. 2–3. URL: journals.muni.cz/cepsr/article/view/3949/5322.
- Szücs J. The Three Historical Regions of Europe: An Outline. *Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 1983, vol. 29, no. 2/4, pp. 131–184.
- Vul'f L. *Izobretaia Vostochnuiu Evropu: karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniia*. Moscow: NLO, 2003.
- Wandycz P. *Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti*. Praha, 1998.

М. В. Белов

СООБЩЕСТВО ПАМЯТИ ПРОТИВ ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ: полемика вокруг книги Х. Зундхауссена «История Сербии с XIX до XXI века»

Ключевые слова: Сербия, историческая наука, политика памяти, Хольм Зундхауссен.

Аннотация. Выход в свет перевода книги немецкого историка Х. Зундхауссена «История Сербии» в 2009 г. вызвал бурную реакцию среди профессиональных историков и в широкой публичной сфере. Своей основной задачей автор работы считал деконструкцию сложившейся исторической мифологии, что стало вызовом национальному сообществу памяти. Проявленная реакция показала расстановку сил внутри него, а именно: преобладание защитников «мест памяти» от угрожающей им ревизии. Сам Зундхауссен был обвинен в воспроизводстве антисербских пропагандистских стереотипов. Отчасти этот результат был предсказан автором, который дополнительно способствовал отрицанию значимости своей работы некоторыми изъятиями методологического характера. Но не это оказалось в центре внимания сербских историков. Сценарий осуждения Зундхауссена сложился до начала научного рецензирования его работы.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-98-121

Появление в начале 2009 г. на прилавках книжных магазинов Сербии перевода книги Хольма Зундхауссена (1942–2015), посвященной ее национальной традиции и истории Нового времени, сразу стало

© М. В. Белов, 2019

Белов Михаил Валерьевич — доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой Новой и новейшей истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижегород); belov_mihail@mail.ru
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 19-09-00163.

большим событием в пространстве публичных дискуссий. Если эта работа и не произвела переворота в сербской историографии, на что честолюбиво надеялся ее автор, то сыграла роль контрастного элемента, проявившего соотношение сил, доминирующие тенденции, а также степень политической вовлеченности ведущих историков.

Может ли иностранец толковать «нашу» историю?

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

«Зачем это немцу писать историю Сербии?» — таким вопросом Хольм Зундхауссен начал предисловие к сербскому изданию своей книги (Зундхауссен 2009: 9)¹. По-видимому, он предвидел негативную реакцию и заранее пытался защититься. Историк признал на первый взгляд оправданной постановку вопроса, с которого начал, заметив, что в самой Германии исследователь Юго-Восточной Европы оказывается на периферии даже своего собственного профессионального сообщества гуманитариев. Однако с другой стороны, добавляет он, если считать историю научным занятием, такая постановка вопроса лишена смысла: «...я писал историю Сербии не как немец, а как историк». Законы физики действуют как в США, так и во Вьетнаме, а человеческие сердца функционируют одинаково в Сьерра-Леоне и в Норвегии.

В подобных аналогиях присутствует скрытая полемика с теми голосами, которые радикально противопоставляют естественные (технические) и гуманитарные (общественные) науки, но еще в большей степени — с теми, кто предпочитает характеризовать их,

¹ Далее ссылки на страницы этого издания в тексте без указания источника. Немецкое издание книги вышло тремя годами ранее: (Zundhaussen 2007). Хольм Зундхауссен в то время занимал посты профессора истории Юго-Восточной Европы в Институте восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина и председателя научного совета Института восточноевропейских исследований в Мюнхене. Он автор весьма почитаемой среди сербов книги о статистике XIX — начала XX в.: (Zundhaussen 1989). Ряд его работ посвящен истории Югославии.

соответственно, как интернациональные и национальные. Если задача истории — воспитание патриотизма, то «какому-то немцу» вовсе не следует писать историю Сербии². Опровержение этому ложному самоуничижению читатель обнаружит ниже. Автор — не простой немец, но исследователь, который до середины 1980-х считал Сербию «...чем-то вроде второй родины» (с. 18)³.

Аргументация Зундхауссена упрощена и метафорична (по-видимому, он хотел достучаться и до неискушенного в методологических вопросах читателя), поэтому она часто хромает. От сердца как органа кровообращения через цитату из Ж. Клемансо, сетовавшего на неисправимый «атавизм наших сердец», он легко переходит к неизменной или, точнее, мало изменчивой (не более чем на 2–5 % за последние две тысячи лет, как утверждается в предисловии) «природе человека». И тут «сердце» становится метафорой того, что вмещает наши ощущения и эмоции. А к сомнительному

² Если верить газетному сообщению, такая постановка вопроса была отвергнута сербскими историками как неправомерная на их первом публичном обсуждении книги Зундхауссена: (Цвијић 2009а). (Здесь и далее даты указаны по электронной публикации, которая появилась поздним вечером предыдущего дня от выхода номера из печати.) Однако обсуждение правомочности автора постоянно всплывало в других местах как обращение к мотивам написания книги.

³ Р. Люшич с издевкой использовал такое признание в конце своей рецензии, обыгрывая сравнение Л. Ранке и Х. Зундхауссена не в пользу последнего: «Независимо от всего, сербы должны быть благодарны и одному, и другому историографу — первому за знатность, второму за преданное “землячество”» (Ljušić 2010: 248).

концепту «человеческой природы» добавляется еще одна двусоставная метафора: компьютерного «железа», заложенного в нас от рождения, и прошлого, уподобленного «софту», т.е. программному обеспечению. «Кодирование информации о прошлом служит в первую очередь психологическим потребностям группы. Оно необходимо для сотворения идентичности и ощущения солидарности. <...> Постольку занятие прошлым не только наука, но и психология» (с. 10).

Такое признание выглядит тактическим отступлением от твердой «академической» позиции. Зундхауссен рассуждает далее о диалектической связи отождествления и отчуждения, о сотворении своего собственного «я» через принятие и отвержение Другого, о возможных ошибках «чужого» программного обеспечения (эмоциональных искажениях) и завершает это предисловие уничтожительной самооценкой: «Если [моя] “История Сербии”... не представляет прибавка для Сербии, то она большой прибавок для меня [самого]», поскольку «в сравнительной перспективе я узнал многое о себе и о своем окружении» (с. 10).

История Сербии как исследование «мест памяти» в событийном и процессуальном контексте

Вступление к книге («Что такое история Сербии, и как она может быть написана?», с. 11–29) в большей мере проясняет авторский замысел, хотя и здесь, несмотря на ритуальные ссылки на П. Нора и А. Ассман, остаются методологические недомолвки. Вероятно, Зун-

дхауссен не был готов предъявить развернутый теоретический сценарий книги, которая носит скорее полемический характер и служит приглашением к дискуссии.

И угол зрения автора, заявленный во вступлении, колеблется в системе приоритетов. Зундхауссен ориентировался на «транстерриториальную и транснациональную» (с. 20) историю Сербии, намереваясь создать симбиоз политической, социальной и культурной истории с акцентом на две последние: «Заметно меньше мы знаем об истории общества и повседневной жизни, об истории культуры и о суевериях, о сифилисе и о униженных женщинах в Сербии» (с. 25). Впрочем, мера соотношения и принцип соединения составных частей желанного симбиоза остались не проясненными. Автор обращает внимание на регулярное расхождение между государством (государствами) Сербия и «ментальной», воображаемой Сербией, которая также является предметом его рассмотрения. Основной целью работы, как ясно из сказанного, стала деконструкция слагавшейся в течение продолжительного времени исторической мифологии и систематический подрыв моделирующего ее стереотипа о народе-жертве, распространенного как в господствующей историографии⁴, так и в массовом сознании.

В заключительной главе, подводя итог работе, автор вновь возвращается к общей идее: «В центре

⁴ Во вступлении проанализированы риторические приемы, характерные для внушения такой мысли читателю, на примере текста Л. Димича (с. 21–23).

рассмотрения были создание нации и национального государства и их последствия: формирование национальных образцов понимания и “памяти”, напряжения между прошлым и историей, между традицией и современностью, между городом и деревней, между “европейской” и “исконной” Сербией, между Сербией как реальностью и Сербией как волей и представлением и столкновения между “западниками” и “антизападниками” в рядах элиты, которые постоянно повторялись» (с. 506).

Фундаментальным разграничением для Зундхауссена становится заимствованное из лекции Дж. Г. Плама 1968 г. различие прошлого и истории⁵. Британский историк исходил из оптимистических ожиданий вытеснения из современности «проклятого прошлого» (мифологических представлений, националистических стереотипов и предубеждений) его критической научной интерпретацией. Лекция Плама прозвучала еще до «вызова постмодернизма» и «мемориального бума» конца XX в. Текущая историографическая ситуация выглядит уже совершенно иначе. Однако контрверзы «истории памяти» в книге Зундхаузена намечены только пунктирно. Он опять соскальзывает с обсуждения сложности коллективной проработки прошлого («культурной памяти») к индивидуальным механизмам (не) восприятия новой информации, если она не вписывается в сложив-

шиеся убеждения. И такая редукция делает объяснение устойчивости исторической мифологии слишком очевидным. Вопреки ожиданиям, среди методологического инструментария, предъявленного во вступлении к книге, отсутствует понятие «травмы» или же критика подобного направления исследований (trauma studies)⁶. Зато известное место здесь занимает обсуждение конструктов «исторического времени». На выручку вновь приходит естествознание с эйнштейновской «теорией относительности» и квантовой физикой, что опять же выглядит неоправданной редукцией. Парадоксы «исторического времени» определяются полярностью циклического и линейного воображения⁷, но почему-то даже не упомянуто о концепции Ф. Броделя, в которой акцент сделан на множестве пересекающихся временных протяженностей.

Зундхауссен рассуждает о силе образов прошлого и «воспоминаний», неподвластных эмпирике и рациональным аргументам. «Тогда как актуальные события в эпоху масс-медиа непосредственно превращаются в картинки, “великие события” из домодерной истории должны быть дополнительно “перенесены” или “перелиты” в изображения» (с. 13). Одним из инструментов со-

⁶ Травматическое объяснение сербской истории тем не менее присутствует в книге (с. 171–172), и оно стало поводом для издевок сербских рецензентов (Р. Люшича и С. Терзича).

⁷ Оно необходимо для выявления исключенного в национальном воображении «невремени» османского владычества между «золотой эпохой» Средневековья и «национальным возрождением» XIX в.

⁵ Это отправное цитирование явно заимствовано из другого труда с похожими установками: (Pawlowitch 2002). Сербская версия: (Павловић 2004: 6).

здания «икон» национальной славы или национальной катастрофы называется историческая живопись, плод XIX в., но этого явно недостаточно. Выше автор упоминает о включении неотрефлексированных «воспоминаний» и образов прошлого в национальный гранд-или мастер-нарратив (со ссылкой на Ф. Лиотара), однако парадокс ситуации связан с тем, что подобные канонические наррации создавались в Европе одновременно со становлением истории как науки и утверждением принципа историзма в середине XIX в. Правда, в самой Сербии этот процесс запаздывал.

Механизмы взаимодействия и взаимовлияния между разными формами знания о прошлом не столь просты и однозначны, и они могут различаться в разных социумах, завися от конфигурации социальных полей, институтов и акторов. Однако специальное рассмотрение конкретных констелляций и их теоретическое моделирование остается за пределами внимания автора. Поэтому в конце вступительной части он вынужден вновь меланхолично ссылаться на силу исторической мифологии, укорененной в самой семантике языка описания⁸, и на расхождения во взглядах инсайдера и аутсайдера (т. е. того, кто находится внутри той или иной национальной традиции, и того, кто — вне ее). Научная реконструкция, как можно заключить из рассуждений автора, возможна по преимуществу извне,

⁸ Зундхауссен справедливо указывает на термины, особенно легко становящиеся инструментами манипуляций: народ, нация, угнетение, геноцид, освобождение, терроризм, предательство и т. д.

но она неизбежно отторгается кодами «культурной памяти» с ее выборочным подходом.

Предложенное противопоставление, разумеется, ошибочно с методологической точки зрения. С одной стороны, презумпция объективности, закрепленная за внешним наблюдателем, нивелирует его собственные стереотипы, которые должны быть подвергнуты ревизии в первую очередь, поскольку академическая «башня из слоновьей кости» — это утопия. С другой стороны, такая бинарная оппозиция, опровергающая право на «внезаходимость» для инсайдера, вряд ли соответствует установкам (пост) современного гуманитарного знания. Это противопоставление могло быть прочитано как оскорбление сербскими историками, хотя сам Зундхауссен называет ряд имен (С. Чирковича, Д. Стояновича, М. Йовановича), чьи работы не вписываются в предписанное им правило. На самом деле, это далеко не полный список, но в контексте сказанного он прозвучал как псевдодонос⁹.

В любом случае Зундхауссен принял весьма рискованный поход по сербским «местам памяти». Риски нарастали по мере приближения к финалу книги, поскольку в соответствии с замыслом и по логике изложения трагедия Югославии односторонне увязывалась здесь

⁹ На это упрощение ситуации обратил внимание М. Ристович, а Л. Перович, не пеняя автору прямо на неточность, внесла поправку о длительности расхождений внутри сербской историографии. См. об их выступлениях ниже.

исключительно с сербским национализмом. А любой национализм, в свою очередь, следует рассматривать в конкурентном и международном контексте, которого как раз в финале так не достает. Закономерно, что противоречие между установкой на преодоление национального нарратива (транснациональное и транстерриториальное видение) и фиксацией на сербских «местах памяти» проявилось тут особенно остро.

Автор открыто призвал к деконструкции прежних образов сербского прошлого, бросив вызов не только мифологии дилетантов, но и тем историкам, которые «владеют своим ремеслом, но используют его национально односторонним способом» (с. 508). Здесь кто-то мог вычитать намек на соучастие в преступлениях 1990-х гг. Если Зундхауссен рассчитывал на громкий резонанс его работы в Сербии, то он не ошибся. Но готовы ли были сербские историки следовать его деконструктивистской стратегии, без которой, как утверждается в заключительной главе книги, невозможно движение вперед?

Бурная реакция: публичная полемика о сербской истории по мотивам книги Зундхауссена

Работу Зундхауссена можно рассматривать и как своеобразный тест-эксперимент, который мог подтвердить или опровергнуть авторскую гипотезу, обрамляющую книгу, в зависимости от ответной реакции. Впрочем, дефекты методологии нарушали чистоту эксперимента и позволяли противникам отвергнуть

гипотезу целиком. Бурное возмущение, казалось бы, подтверждало худшие предположения немецкого историка... Однако стоит все же разобраться в нюансах восприятия и эффектах публичной коммуникации, в сетях которой происходило обсуждение книги.

Плотность высказываний была столь высока, что прозвучавшие оценки уже стали достаточным материалом для пространного историографического обзора (*Божич* 2013: 141–161)¹⁰. Он содержит корректный пересказ основных публикаций, однако автор обзора С. Божич предельно скупа в своих собственных оценках и вовсе проигнорировала, впрочем, как и многие другие сербские критики, главный идейный посыл книги Зундхауссена.

Итак, ведущая сербская газета «Политика» известила своих читателей о выходе сербского перевода книги 26 января 2009 г. Подготовившая материал журналистка сразу предсказала ей большую полемику, поскольку, «несмотря на ценные замечания и заключения, она демонстрирует и известные слабости, какими “больны” историографы мира, когда речь заходит о Сербии и сербском народе» (*Цвијић* 2009b). Читатели-комментаторы схватились за эту мысль и сокрушались о том, до чего дошла Сербия, когда некий немец пишет ее историю («Милан Трипкович»). Желание дать отпор немцу (и осуждение смешивания разных наук), а также трактовка книги как официальной

¹⁰ Английская версия статьи: (*Bozic* 2015).

позиции ФРГ среди комментариев преобладали. Опровержение им одно — под именем «Велибор». Дисбаланс похожего рода сохранялся и далее.

Первые индивидуализированные отклики на книгу Зундхауссена, если не считать послесловия Д. Батаковича, помещенного в самой книге, опять же вышли в газетной печати — в виде интервью, где говорящий отчасти зависел от журналиста, задающего вопросы, а отчасти от преобладающих ожиданий читательской аудитории. Можно с уверенностью сказать, что в этих самых интервью сложился сценарий осуждения (вместо обсуждения) книги и нейтрализации ее реформаторских призывов.

Первым в печати высказался соратник Батаковича по Институту балканологии Войслав Г. Павлович; он, предположительно, мог ознакомиться с книгой до выхода тиража. В начале здесь (и во многих случаях позже) отмечается масштабность замысла, серьезность и внушительность, как вариант, междисциплинарных характер работы и т.п. Но затем сразу следует перечеркивающий все достоинства переход: «...она не свободна от субъективных и голословных оценок, да и стереотипов, которые во многом следуют образу Сербии, созданному в девяностых годах прошлого века» (*Цвијућ* 2009с).

Павлович согласился с тем, что Зундхауссен отказался от части стереотипов и выразил надежду, что зарубежные историки и далее будут постепенно продвигаться к объек-

тивной оценке Сербии, по мере того, как она все реже будет попадать на первые полосы мировых СМИ. Сам формат газетного интервью слишком далек от высоких стандартов научной дискуссии. Однако готовность Павловича в нескольких словах оценить, насколько правильно немецкий автор осветил тот или иной период сербской истории, обескураживает. Интервью выдержано в менторском тоне хранителя истины и направлено на разоблачение мифа об «исключительной вине» Сербии и сербов. В такой тональности не могла зайти речь о состоянии текущей сербской историографии. Разделение на традиционалистскую (большую) и современную (меньшую) Сербию как сквозную доминанту двух последних веков ее истории под знаком модернизации Павлович отверг, согласившись, однако, с политической инструментализацией старой мифологии в посткоммунистический период.

Под интервью Павловича поместились 18 комментариев читателей (во всяком случае, таково количество, сохраненное модераторами сайта издания). Среди них оказались и сторонники теории заговора со своей версией «кафанской истории», и те, кто объяснял, каким образом следует дать отпор немцам, а также прочим европейцам и американцам, распространяющим ложь о Сербии и сербах. Любопытны два комментария прямо противоположного рода. Их автор под именем «Драган» (возможно, за ним скрылся какой-то профессиональный историк) написал, что познакомился с книгой Зундхауссена еще на немецком языке и считает

ее «отличной». Поскольку хронологический разбег работы велик, в каких-то случаях автор вынужден был пожертвовать аргументацией, отчего и происходят «голословные оценки. Мне даже кажется, что автор хотел в некоторых местах спровоцировать наших историков, что, конечно, ему в похвалу», — и это, действительно, проницательное наблюдение. «Драган» не считал книгу Зундхауссена истиной в последней инстанции, но выражал сожаление, что «многие пишут комментарии о книге, к которой даже не прикасались. Это типично сербская болезнь, о которой, правда, Зундхауссен, из куртуазности, ничего не сказал. Вместо того чтобы самим критически исследовать нашу историю, мы постоянно рассказываем о неких заговорах и фальсификациях. Всякий учится на своих ошибках, но мы свои ошибки с радостью повторяем». Нельзя сказать, чтобы в дальнейшей дискуссии такая самокритичная точка зрения преобладала.

«Политика» последовательно поддерживала интерес читателей к переводной «Истории Сербии», и спустя два дня после интервью с Павловичем здесь появился новый материал А. Цвийич. На этот раз корреспондентка поговорила с редактором серии «Полис», в которой вышла книга, С. Марьянович-Душанич и М. Ристовичем, одним из проводников реформы в сербской историографии (*Цвијић* 2009d). Журналистка здесь отметила провокативный характер книги, а ее собеседники подчеркивали возможность во встрече с иным подходом пересмотреть достижения и прос-

четы в изучении сербской истории Нового времени. Ристович был сдержан, но тверд в похвалах Зундхауссену, а его замечания имели принципиально методологическое назначение. Он допустил, что в некоторых случаях преувеличена зависимость политических решений от господствующей исторической мифологии, а также обратил внимание на упрощение Зундхауссеном ситуации в сербской историографии.

Под этим материалом помещены два полярных комментария. Первый («Миодраг») привычно осуждал сербского недоброжелателя и разрушителя страны (которую сам и создал) И. Б. Тито, добавляя, что эта мысль выстрадана им самим. Т.е. он просто воспользовался случаем, чтобы поделиться ею. Второй комментарий («Наталия»), напротив, самокритичен. Автор удивлялась тому, насколько сербы не ценят настоящую научную работу и не удосужились за сто лет издать книгу основоположника критического метода И. Рувараца, чей портрет, как она предположила, никто, кроме специалистов, даже не узнает. Взамен этого «мы бомбардированы *гусярской* (здесь и ниже выделено автором. — М. Б.) историей нашего народа». В результате «мы повторяем *те же ошибки*, и чего же мы достигли — остались уже практически без Косово и без культуры, с самой большой диаспорой на свете». «Наталия» явно имела в виду комментарий «Драгана» под предыдущей публикацией, но придерживалась ностальгической интонации и меланхолии национальных утрат.

Еще несколько дней спустя неутомимая А. Цвийич опубликовала на страницах «Политики» интервью с Д. Батаковичем (*Цвийић* 2009е), автором послесловия к сербскому издания книги Зундхауссена. Уже в этом послесловии Батакович определил работу немецкого автора как «парадигмальный пример идеологической проекции сегодняшних и недавних реалий в глубокое прошлое», где вся сербская история сводится к феноменам «насилия, ксенофобии и злодеяний» (*Батаковић* 2009: 549). Батакович обвинил Зундхауссена в тенденциозном подборе источников и в злоупотреблении концептом «коллективной вины», которая, по его мнению, должна быть возложена только на коммунистических функционеров, С. Милошевича и его приспешников. Поскольку труд Зундхауссена трактовался в послесловии скорее как политически мотивированное измышление, ему давался отпор в той же плоскости, следовательно, отвергалась дискуссия о возможностях мемориальной парадигмы в применении к сербской истории и об ответственности местной элиты, включая интеллектуалов и, в частности, историков в дне сегодняшнем. Напротив, это западные интеллектуалы (и историки тоже) несут ответственность за демонизацию сербов.

По прочтении зачина послесловия Батаковича читателю оставалось только недоумевать: зачем же следовало публиковать на сербском языке перевод столь злобного пасквиля¹¹,

¹¹ Ближе к концу Батакович несколько смягчил оценку, помещая Зундхауссена где-то между оголтелыми сербофобами

не является ли сама его публикация актом национального предательства? Как будто для того, чтобы компенсировать причиненный ущерб, большая часть послесловия посвящена изложению правильного видения сербской истории и историографии, и в конце концов, уже как настоящий политик Батакович высказал истинные желания сербского народа, а будучи демократом, защищал свободу высказывания от тирании «политкорректности» (*Батаковић* 2009: 563–564).

Интервью в «Политике» предваряет краткая справка, информирующая читателя об академическом статусе эксперта, автора около пятидесяти исторических исследований на разных языках и пяти монографий на иностранных языках (английском, французском, румынском) о Югославии, Косове и боснийских сербах. Международное признание работ Батаковича подчеркнуто, конечно, не случайно. Под определенным углом зрения такой акцент делал его ответственным за позиционирование сербской истории на мировой сцене. При этом в газетном материале не упоминается о политической деятельности и государственной службе собеседника, ставшего в нулевых годах некарьерным дипломатом

и вдумчивыми исследователями, а значение перевода свел к ознакомительным целям (*Батаковић* 2009: 562, 568–569). Несколько позднее академик В. Крстич прямо назвал перевод книги Зундхауссена, выражающей официальную антисербскую позицию ФРГ, большой издательской, научной и политической ошибкой, поскольку ее главная цель — «помутить сознание» широкой читательской аудитории (*Крстич* 2009).

и побывавшего во главе посольств в нескольких странах.

В интервью даны пояснения по ключевым тезисам послесловия, и первый же из них задает негативную оценку работе как продукту антисербской военной пропаганды, подхваченной из официальной хорватской позиции мировыми СМИ и восходящей к австро-немецким клише эпохи Первой мировой. К ним-то и подверстана более ранняя история Сербии и сербов («варваров, азиатов, антидемократов»). Книга Зундхауссена «тенденциозно преувеличивает маргинальные явления», игнорируя достижения национальной культуры, и ее нельзя рассматривать как фундированный научный синтез. «Поэтому она не способствует общему вектору демократизации балканского пространства через примирение и европейскую перспективу, но дополнительно углубляет постоянные разногласия, предлагая болезненно острое разделение на виновников и жертв». Отвергнув научное значение книги, Батакович вынес ей политический приговор, который перечеркнул терапевтический посыл ее автора. Главным виновником распада Югославии, как будто следуя за комментарием «Миодрага» из предыдущей публикации А. Цвийич, Батакович назвал Тито и титоизм, который напрасно идеализируется левыми интеллектуалами на Западе. Вопрос о «коллективной вине» Батакович отверг как идеологический, а не научный концепт. Тем самым сообщество историков освободилось от обсуждения своей социальной функции. Но Батакович пред-

ложил свой рецепт исправления ситуации с негативным образом сербов в мировом общественном мнении: создание при поддержке госбюджета соответствующих исследовательских центров (кафедр балкановедения с фокусом на сербистику) в ведущих университетах мира, как это делают уже Греция и Турция.

Небольшое интервью Батаковича имело большой отклик (34 комментария). Оно и было обречено на успех, поскольку играло на чувстве национальной обиды. Присутствовали осуждения и насмешка над немецким историком, то ли обманутым, то ли намеренно лживым. Но и наивные допущения Батаковича (Сталин умер слишком рано, а Тито слишком поздно, с точки зрения сербских интересов) тоже стали предметом иронии. В дискуссии участвовал уже известный нам «Драган», который был по-прежнему меток и назвал Батаковича «экспонентом» той части националистической историографии, которую решил препарировать Зундхауссен, поэтому он только подтверждает его худшие опасения. Позицию этого комментатора поддержал некий «второй Драган», мечтавший о сербском Зундхауссене.

Во многих случаях интервью стало поводом для обсуждения личности Тито, причин распада Югославии, часто на основе личного опыта и воспоминаний комментаторов, но многие были явно неудовлетворены персоналистской трактовкой Батаковича. В конце концов сам Зундхауссен был забыт участниками дискуссии, которая сосредоточилась

на событиях Второй мировой войны, приведших к власти «хорвата» Тито.

Следующее интервью о книге Зундхауссена вышло в «Политике» через две недели. На этот раз собеседником А. Цвийич выступил историк-новист М. Кович, охарактеризованный журналисткой как представитель «младшей генерации» (*Цвијић* 2009г)¹². Он предусмотрительно дистанцировался от крайностей, заметив, что, наряду со старой националистической традицией, согласно которой «мы всегда правы» (М. Младенович), возникла ее полная противоположность. Если Зундхауссен к ней и не относится, то все же ближе именно к ней. Кович верно определил глав-

¹² Позднее Кович развил свои суждения в статьях: (*Ković* 2011: 407–409; 2012: 334–337). В указанных статьях дается обзор мировой историографии последних десятилетий, посвященной Сербии XIX — начала XX в. Кович здесь последовательно проводит различие между стремлением понять (наука) и намерением использовать (публицистика) историю, приписав ей ценностные значения дня сегодняшнего (ср. с похожей селекцией в послесловии Батаковича). Как можно догадаться, он отнес книгу Зундхауссена к последней категории. Отдельное место уделено в статьях Ковича критике теории модернизации, примененной к Сербии и Балканам, но ничего не сказано об «истории памяти» или «исследованиях национализма» как методологических направлениях, к которым может быть отнесена книга Зундхауссена. В то время как тот призывал к пересмотру сербской историографии, Кович переадресовал этот вызов, проведя разбор иностранной историографии. При этом понятие «ревизия» употребляется Ковичем в негативном значении, близком фальсификации. Ревизия вдохновлена стремлением «выпихнуть» Балканы (Серию) из Европы, а также связана с физическим уходом из жизни ряда серьезных зарубежных специалистов по истории и культуре Балканского региона.

ную цель книги как деконструкцию националистической мифологии. Он не стал ее прямо отвергать, но с подсказками интервьюера перевел внимание на зависимость судьбы малых держав от решения великих, примером чего как раз стал распад Югославии, и нивелировал значение ценностных суждений (морального суда) по сравнению с автономией прошлого. Вслед за этим Кович осудил Зундхауссена за анахронизмы, которые вытекали из его видения двухвековой сербской истории в перспективе кровавых 1990-х.

Комментаторы отметили методологический акцент в интервью Ковича, обсуждая возможность объяснения прошлого вне ценностей дня сегодняшнего. Известный нам «Драган» обратил внимание на постоянные анахронизмы в сербской политике последних десятилетий (стремление сохранить СФРЮ, когда остальные республики ее покинули, реформировать социализм в период его краха, косовский завет и т.д.), поэтому, как остроумно замечено, «анахроничный» подход Зундхауссена может быть оправдан. В свою очередь «Босилька» предложил(а) постколониальную перспективу в рассмотрении новой истории Сербии, а попытку нивелировать колониальный режим Османской империи интерпретировал(а) как легитимизацию стремления Турции в Евросоюз. В той же постколониальной перспективе предложил позднее искать ответы на болезненные проблемы Балканского региона и сам Кович (не он ли написал этот комментарий под своим интервью?).

Не прошло и месяца, как состоялось первое публичное обсуждение книги Зундхауссен в белградском Гёте-институте, в котором принял участие внушительный список сербских историков первого ряда¹³. Ему предшествовало программное выступление в «Политике» авторитетной и критически настроенной по отношению к сербскому историографическому мейнстриму Л. Перович. Она предусмотрительно отказалась от формата интервью, выбрав монологическую форму статьи (*Перовић* 2009)¹⁴. Перович скрыто полемизировала с предшествующими выступлениями сербских историков, но не упомянула ни одного имени. Раздраженная реакция на перевод столь значимого труда явно не адекватна, поскольку он заслуживает благодарности: «Ибо историк не делает то, что его не волнует, что его тем или иным образом не привлекает, что он не хочет понять и объяснить». Равным образом в пику Батаковичу, Павловичу и Ковичу она отвергла характеристику книги как ненаучной (идеологической или публицистической).

Перович первой обратила внимание на своеобразие замысла Зундхауссена (в русле «истории памя-

¹³ Латинка Перович, Чедомир Антич, Милош Кович, Јово Бакич, Слободан Маркович, Миле Белаяц, Никола Самарджич, Радош Люшич, Предраг Ђ. Маркович, Милан Ст. Протич, Ана Столич, Милан Ристович, Мирослав Йованович, Мирослав Перишич, Мира Радойевич и Радмила Радич (*Булућевич* 2009).

¹⁴ Появление оппозиционно и антинационалистически настроенной Л. Перович в официальной печати стало неожиданностью для некоторых комментаторов: «У нас есть надежда. Текст Латинки Перович в «Политике» («Бояна»).

ти») и его готовность к дискуссии, а также приветствовала попытку рассмотреть историю Сербии вне национальных или классовых предписаний, в пространстве реализованных и нереализованных возможностей. А подоплекой критики сербского национализма служит Зундхауссену немецкий опыт «проработки прошлого», с которым он хорошо знаком.

В заключение Перович с сожалением констатировала оправданность опасений Зундхауссена, изложенных в предисловии, но подчеркнула, имея в виду и саму себя, что «различия между воображаемой и реальной Сербией» проходят через саму сербскую историографию, а споры в ней ведутся с разной интенсивностью уже больше века. Не было никого из выступивших в сербской печати историков, кто бы столь решительно солидаризировался с позицией Зундхауссена. Вероятно, именно этот текст Перович воспроизвела в общих чертах и на обсуждении в Гёте-институте.

Поскольку в начале выступление Перович было направлено на восстановление репутации Зундхауссена как ученого, комментаторы вновь взялись обсуждать личность и мотивы автора книги, вольного или невольного, сознательного или бессознательного выразителя точки зрения Германии (Евросоюза). Закономерно, такой аргумент *ad hominem* привел к обсуждению личности самой Л. Перович, некогда секретаря ЦК Союза коммунистов Сербии. По мнению «Верице Остойич», превращение «крайней коммунистки» в «крайнюю

демократку» свидетельствует о стиле ее мышления. Более того, в соответствии с конспиративистской логикой, выход книги Зундхауссена в Сербии – плод интриги Л. Перович и ее круга. Ссылаясь на проведенный стилистический анализ, «Верига Остойич» предположила, что под именем немецкого историка вышел «коллективный труд Дубравки Стоянович, Николы Самарджича, Латиник Перович, Любинки Трговчевич, Андрея Митровича и других». Ее фантазии приветствовали другие комментаторы. Пытаясь вразумить участников дискуссии, комментатор «Дача» высказался против всезнайства «мелкобуржуазной кафанской политики» и предложил довериться профессионалам независимо от их политических взглядов. Тем самым он поддержал репутацию Л. Перович: «Немного политической культуры, больше терпимости к разным мнениям и разным углам рассмотрения общественных феноменов, и тогда будем иметь шанс стать достойным обществом».

Дискурс разнообразия был использован противниками Зундхауссена и Перович, которые якобы под флагом глобализации намереваются лишить сербов национального самосознания. Известная уже «Босилька» в довольно сумбурном комментарии обвинил(а) Зундхауссена в жонглировании модными терминами и в других манипуляциях, ведущих к ремифологизации истории под предлогом ее демифологизации. А «Жалостна садашност»¹⁵ констатировал(а) национальное

падение, упирая на чуждое происхождение и деньги с их вечным мотивом зависти: «Томислав Бекич, хорват из Нови Сада, переводит книгу немца Золдхауссена¹⁶, оба получают огромные гонорары, а сербы, самые большие жертвы тех хорватов и немцев, “обретают” книгу, в которой уже сербы представлены как дикий, геноцидный народ. <...> В самом центре этого позора находится “наша”, то есть их Латинка Перович, чье имя символично указывает, с какой стороны она появилась».

Круглый стол в Гёте-институте, состоявшийся 20 февраля 2009 г., был озаглавлен «Интерпретация или ревизия», т. е. предполагал некий вердикт по книге Зундхауссена, но он стал все же и поводом для обсуждения дел в цеху сербских историков. Если верить журналисту, большинство участников согласилось с тем, что в книге немецкого автора лучше представлен XIX в., чем XX, и особенно спорны те периоды, которые хуже изучены в самой Сербии. Отчасти самокритика носила «дежурный» характер и сводилась к недоработкам (в том числе в обосновании жертв эпохи мировых войн). Отчасти она имела оправдательный характер – историки пеняли на то, что национальная идея пленяла отнюдь не только сербов, но большинство европейских народов XIX в., и настаивали на четком разграничении истории и публицистики (характерная замена оппозиции памяти/прошлого и истории), которым, как следует понимать, пренебрег немецкий автор. Ближе всех к принятию идеи Зундхауссена

¹⁵ Печальная действительность (серб.).

¹⁶ Так в тексте.

подошел М. Ст. Протич, отметивший, что «книга Хольма Зундхауссена не является ни новой, ни превосходящей [другие] по своей критике сербской истории, но, в самом деле, наша национальная вина в том, что мы, вследствие исключительного занятия собой, оказались в плену стереотипов, из которого нас может извлечь только коммуникабельность молодых ученых».

Тогда как корреспондент «Политики» сделал акцент на сходстве некоторых выступлений круглого стола, то вторая крупнейшая газета «Данас» констатировала раскол в сообществе сербских историков. Кроме того, здесь было процитировано выступление Л. Перович, предложившей рассматривать книгу Зундхауссена, совершенно в духе его собственного замысла, как повод для обсуждения внутрицеховых проблем. В пику этому предложению в заметке, автором которой был присутствовавший на встрече М. Йованович, отмечено нежелание вести диалог (Jovanović 2009).

Более подробный материал о круглом столе вышел в «Политике» в воскресном культурном приложении. Здесь больше самокритики сербских историков, упомянуты призывы к междисциплинарной кооперации и компаративному рассмотрению национальной истории, открытости мировой историографии. Еще более важным является замечание о зависимости работы историков от политического заказа — в этом случае не ясно, кто высказался подобным образом. Но раскол «на две Сербии» (традиционалистскую и современную),

если верить корреспондентке, был единодушно опровергнут участниками круглого стола (Цвијић 2009а). Их суждения сильно контаминированы и частично обезличены в газетных материалах, поэтому воссоздать реальную палитру голосов затруднительно.

После круглого стола интервью изданию «Сведок» дал Ч. Антич, представленный журналистом не только как сотрудник Института балканистики, но и лидер студенческих протестов 1997–1998 гг., а позднее председатель политического объединения «Прогрессивный клуб» (Dinić 2009)¹⁷. Антич повторил основные тезисы против книги Зундхауссена, сформулированные ранее Батаковичем и Паловичем. Имея в виду бурное обсуждение в Гёте-институте, он назвал реакцию на ее перевод преувеличенной, неадекватной ее ценности для сербской историографии, в силу идеологической предвзятости автора; он уклонился от предложения интервьюера использовать выход книги как стимул для консолидации профессионалов. А когда речь зашла о ситуации в сербской историографии, Антич констатировал разделение на «две Сербии», вызванное политическими разногласиями и иностранным

¹⁷ Соратник Антича в Прогрессивном клубе высказал схожую позицию, опубликовав отклик на книгу Зундхауссена на сайте организации (*Вучинић М. Историја у наводницима* // www.napredniklub.org), который, впрочем, больше не поддерживается. См., однако, пересказ этой утраченной публикации: (Божич 2013: 156–158). В дальнейшем Вучинич сосредоточился на разоблачении «другой Сербии» (об этом понятии речь пойдет ниже, в связи с рецензией Р. Люшича): (Виџинић 2012; Вучинић 2016).

влиянием. «Оценка историков и их работ, — добавил он, — должна быть над всем этим, профессиональной, методологической. Сербия во многом глубже и судьбоноснее поделена в сравнении с этим временным разделением, речь о неинтегрированности нашего общества и культурно-социальном разделении, возникшем во времена “эгалитарной” идеологии». Однако развивать эту мысль далее он не стал. В свою очередь историк церкви Р. Пилипович назвал книгу Зундхауссена еще одним «библиографическим помощником» либералов и критиков церкви, средством блокировать решение «сербского вопроса» на международной арене (Пилиповић 2009).

Если судить по этим публикациям, после круглого стола политический акцент в суждениях о книге Зундхауссена стал нарастать. Визит в Сербию в начале апреля автора уже не мог ничего изменить (Цвијић 2009g, 2009h)¹⁸. Интервью в «Политике», где Зундхауссен повторил свои основные тезисы, собрало 22 комментария. Разумеется, читателей привлекла болезненная проблема Косово, вынесенная в заголовки (вина здесь возлагалась большинством на иностранцев и коммунистов, которые, по существу, приравниваются к первым). Но более важной представляется реакция на фразу в конце интервью о том, что «конфликты из прошлого нельзя переносить в будущее». Кто-то иронизировал, упоминая

¹⁸ Позднее Зундхауссен опубликовал расширенную версию своих выступлений в Гётеинституте 3 апреля и Университете Коларца 4 апреля 2009 г.: (Sundhaussen 2011).

рецидивы кровной мести в независимом Косово («Стеф»). А кто-то вспоминал как актуальное прошлое трагедии и жертвы мировых войн, которые нельзя так просто забыть; более того, именно замалчивание их привело к гражданской войне 1990-х, и о тех жертвах и страданиях тоже забывать нельзя («Боян»). Один из критиков глобализации и мирового истеблишмента использовал даже любопытный неологизм «меморицид» («манник»). Имея в виду именно этот аспект единообразия и единомыслия, один из комментаторов назвал европейский проект новым изданием сталинизма («Заиста»). Голоса в пользу Зундхауссена потонули в преобладающем осуждении. Уже мелькавший в комментариях «Босилька» (на этот раз «Биельчевич Босилька») дал убедительную трактовку: демонизация сербов Зундхауссенем — стремление компенсировать ущерб немецкому национальному самосознанию, травмированному виной за геноцид. Но более остроумный аргумент против демифологизации, предложенной Зундхауссенем, — парадокс вне поля патриотической обороны — высказал некто «Эразмо»: едва ли сербская мифология красивее какой-то другой, а ее ценности более возвышенные, чтобы сербы следовали исключительно ей. Впрочем, этот аргумент находился и вне поля научного понимания мифологии. В целом оставалось ощущение, что войны XX в. в сознании большинства комментаторов еще не закончились.

Хотя репертуар возможных суждений о пользе и вреде книги Зунд-

хауссена практически исчерпался, интерес сербской публики к ней еще не угас. 14 апреля 2009 г. Юридический факультет Белградского университета провел общий семинар, в котором приняли участие историки с репутацией публичных интеллектуалов Л. Перович, С. Терзич, Р. Люшич и Ч. Антич. Семинар собрал переполненный конференц-зал и продолжался более трех часов¹⁹.

ОТКЛИКИ В НАУЧНОЙ ПЕЧАТИ

После массивной «артподготовки» в периодической печати, в ходе которой было испытано соотношение сил, а сербские историки выступили и как эксперты, и как авторитетные общественные фигуры²⁰, наступил этап научного рецензирования «Истории Сербии» Х. Зундхауссена в специализированных изданиях, рассчитанных на профессионалов. Восстановить последовательность появления рецензий в них довольно сложно, но, очевидно, они писались в меньшей зависимости друг от друга, чем от выявившегося уже в первичном обсуждении перевеса голосов.

¹⁹ См. сообщение на сайте Юридического факультета. Там же помещена информация о заседании 8 декабря 2009 г. с выступлением профессора Д. Басты, критиковавшего Зундхауссена в «Письме близкому немецкому коллеге», некоему господину В. URL: http://www.ius.bg.ac.rs/org/o_seminar_sastanci.html. Выступление Басты опубликовано: (Баста 2010).

²⁰ Комментарии на сайте «Политики», в свою очередь, демонстрировали мнения в разных сегментах широкой читательской аудитории.

Единственной воздержанной от яростных обвинений рецензией оказалась публикация З. Янетовича (*Јанетовић* 2009). Отмечая пробелы и смысловые искажения при подаче материала в отдельных разделах книги, он все же считал ее полезным чтением, поскольку она подбрасывает представления об исключительности сербской истории (и сербах как поголовных жертвах или преступниках), т.е. способствует нормализации исторической памяти. На противоположном полюсе, по-видимому, находится рецензия Д. Опсеницы, отличающаяся особым обвинительным накалом, сосредоточенным на небольшой печатной площади (*Опсеница* 2009).

Самой подробной рецензией стала работа Р. Люшича, опубликованная на страницах «Истории XX века» (*Ljušić* 2010)²¹, составившая 36 страниц, или более двух печатных листов. Рецензия озаглавлена так, что уже понятна ее негативная направленность: «Историография “выборки”, сербофобии и югофилии»²². Как поясняет автор, Зундхауссен в своей книге выборочно использовал исторические источники и исследовательскую литературу, с тем чтобы достичь цели, подчиненной ценностной шкале глобализации. Замысел автора трактуется в контексте идеологической борьбы, поэтому проведенное им различие между

²¹ Предварительные замечания на книгу Зундхауссена он опубликовал по горячим следам в общественно-политическом еженедельнике вскоре после ее выхода: (*Льушић* 2009).

²² Последнее понятие указывает на некритичное отношение Зундхауссена к режиму коммунистической Югославии.

Сербией как государством и воображаемой, ментальной Сербией объясняет стремлением легитимировать усекновение этнической территории: «Хотя это и не высказано прямо, смысл этого утверждения сводится к тому, что Сербия — это Белградский пашалык²³, и это реальность, а всякое расширенное понимание Сербии только воображение и нелепая сербская мегаломания» (Ljušić 2010: 214).

Вследствие искажения замысла книги в зеркале идеологической предубежденности, вся рецензия Люшича построена на доказательстве хронической неполноты предполагаемого исторического синтеза, искажающего «реальную» картину прошлого²⁴. Рецензент провел основательную работу над ошибками и заполнил своими интерпретациями главные из обнаруженных им пустот (в политической истории, недооценке жертв сербского народа и в использовании исторических трудов). Хотя некоторые термино-

²³ Административная единица Османской империи, ставшая начальным очагом сербского национально-освободительного движения во время восстания 1804–1813 гг.

²⁴ Ближе к концу рецензии становится ясно, что Люшич понимал истинные намерения автора, но считал их нереализованными, вследствие его предубеждений: «Это было бы прекрасное вложение в историческую методологию... а может еще более тому, как “воспоминания” или история изменчивы, возможно, даже испорчены, несмотря на такое количество документов, историографических, литературных и других трудов. Такой работой он показал бы, как поверженные и оспоренные заблуждения рождают новые заблуждения, которые часто возвращаются как бумеранг или служат в скрытом виде указаниями на явления... нежелательные, чтобы их в данный момент вынести» (Ljušić 2009: 243).

логические неточности могли стать следствием ошибок перевода, сербский историк не стал обращаться для сверки к немецкому оригиналу.

Придирчивость рецензента, его стремление заметить любую оплошность, поместить на место неправильной оценки истинно правильную производят впечатление утомительного упорства. Ведь если реальная ценность книги столь низка в глазах профессионала, то она и не может стоить такого длительного внимания. В формулировках рецензента прочитывается раздражение оскорбленного читателя, хотя в целом он сохраняет позицию уверенного превосходства над вредителем, осуществившим диверсию на чужой территории²⁵. Рецензент готов был принять критический анализ развития сербского общества, если бы оно рассматривалось в типологическом ключе, как один из вариантов постосманского балканского социума, но не как стигматизированное исключение. Иными словами, он имплицитно указал на расхождение между провозглашенным «транснациональным и транстерриториальным» подходом и реальной фиксацией на *национальной* сербской истории.

²⁵ Раздражение Люшича вызвала, кроме прочего, высокая оценка Зундхауссеном двух авторов сборника «Сербия 1804–2004: три точки зрения, или приглашение к диалогу» (2004) Д. Стоянович и М. Йовановича. Хотя последний не принимал участие в печатной полемике вокруг скандальной книги, журнал «История XX века», вероятно, для соблюдения баланса напечатал в том же самом номере, где помещена рецензия Люшича, отрывок из его книги с резкой критикой текущей сербской историографии: (Jovanović 2010; Jovanović, Raduh 2009).

Люшич иногда находил повод, чтобы высказать похвалу Зундхауссену, например, когда речь зашла о разделе его книги «Создание нации и национальный проект»²⁶. Но и здесь вслед за одобрительной характеристикой следует ряд исправлений и наставлений. Рецензент порой соскальзывал с позиции заведомого превосходства и с обидой говорил о неполученном им, из-за навета сербских коллег, европейском гранте (*Ljušić* 2010: 223). Таким образом в его рассуждения входит тема внутрисербской историографической ситуации, прочитанная в конфронтационном ключе. Мотив враждебной партии в кругу сербских историков возникает и далее: весь раздел книги Зундхауссена о независимой Сербии между 1878 и 1914 гг., по мнению Люшича, «писала рука “второй” Сербии, а не “первой”!» (*Ljušić* 2010: 224)²⁷.

Поскольку Люшич выбрал путь детальной «работы над ошибками» по всему тексту книги Зундхауссена, он, для удобства чтения, разбил свою рецензию на разделы в соответствии со структурой книги и периодизацией сербской истории. Как великодушный учитель, Люшич

с одобрением отозвался о многих абзацах раздела, посвященного королевской Югославии, более того, он не обнаружил здесь и серьезных библиографических пробелов. Характерно, что важным критерием для него являлось справедливое распределение негативных оценок между народами, включенными в ее состав: «Хотя для него албанцы и далее слабая сторона, Зундхауссен выразительно говорит о качествах, что они были “бандой” (с. 282), не щадя и хорватов (“хорватские националисты и расисты”, с. 293)» (*Ljušić* 2010: 232). Столь же лоялен Люшич и к освещению периода Второй мировой войны, однако размер жертв геноцида сербов в Независимом государстве Хорватии он счел спорным вопросом и, обвинив Зундхауссена в стремлении скрыть (приуменьшить) истинное число погибших, постарался его уточнить в пространственных замечаниях (*Ljušić* 2010: 235–237)²⁸.

Более всего автор рецензии остался недоволен освещением коммунистического периода, войн 1990-х и заключительными увещеваниями Зундхауссена. Пожалуй, один из самых

²⁶ «Это, несомненно, один из лучших разделов книги, содержательный, проницательный, точный в приводимых фактах и богатый в анализе общественных событий» (*Ljušić* 2010: 220).

²⁷ «Другая» или «вторая Сербия» — условное наименование современных либералов, реформаторов, западников; с точки зрения их противников — национальных предателей. Рецензию завершает своего рода историографический раздел, в котором Люшич обвиняет Зундхауссена в игнорировании по-настоящему основательных сербских историков в пользу авторов из «другой Сербии» (*Ljušić* 2010: 245–248).

²⁸ Помимо этого, вслед за рецензией Люшича, в том же номере журнала следует еще одна, специально посвященная разделам книги Зундхауссена после 1941 г., со сходными претензиями к ее автору (*Dimitrijević* 2010). Димитриевич заметил, что в книге Зундхауссена сербский демократический лагерь последних десятилетий оказался почти полностью вытеснен «новыми правыми», клерикалами и неочетнической поп-культурой, что избочивает намерение сгустить краски и исказить текущее состояние дел. Но рецензент явно не понимал (и не принимал) крен книги в сторону анализа общественно-го сознания, исторической и культурной мифологии.

серьезных вопросов, поставленных в рецензии, — связь между титовской и послетитовской ситуацией, вопрос о подоплеке национализма, разрушившего коммунистическую Югославию с ее плакатным «братством-единством». Все ли можно объяснить антисербской политикой Тито и его приспешников?

Отдельный раздел рецензии составил отклик на дилемму, сформулированную Зундхауссеном в конце книги: сможет ли Сербия стать открытым обществом или останется приверженной «философии паланки»²⁹, самоизоляции и обскурантизму? Вместо того, чтобы обсуждать предложенную альтернативу, Люшич пошел по пути выявления исторического контекста, в котором возникла книга Р. Константиновича, и критики отдельных ее разделов. В результате такого историзирующего подхода и сам актуальный выбор общественного пути оказался либо ложным, либо забытым. Люшич осудил вторжение историка в современные вопросы и попытки давать какие-либо практические советы³⁰.

С. Терзич назвал свою рецензию, опубликованную и в переводе на русский, «История Сербии с гневом и пристрастием» (Терзич 2010а; 2010b)³¹. Он увидел мало достоинств

²⁹ Так называлась книга Р. Константиновича (1969) с критикой балканского варианта «закрытого» общества.

³⁰ О неприемлемости такой актуализации труда историка говорится в связи с поучениями Зундхауссена П. Хандке: (Ljušić 2010: 241–242).

³¹ Сербский журнал пошел путем организации дискуссии с привлечением нескольких участников и предоставил слово и самому

в работе, функция которой, по его впечатлению, — «дополнительная легитимация разрушения Югославии и созданной после него политической архитектуры, всех драконовских мер, предпринятых против Сербии и сербов, а возможно, и того, что еще произойдет в будущем» (Терзич 2010а: 83). По сути, это политическое обвинение, в то время как предметная критика в рецензии имеет методологически неточное определение: «Сербская история сводится у Зундхауссена к мифам и мифологическому и националистическому сознанию, а сербская этническая территория ограничивается, по существу, Белградским пашалыком» (Терзич 2010а: 84).

Автор рецензии осуждает методологию Зундхауссена с позиций позитивистских стандартов точного знания, а не в контексте современных *nationalism studies* или *memory studies*. Поэтому уместно долгое перечисление исследовательских работ, которые проигнорировал Зундхауссен, пускай упущенные сочинения имеют весьма солидный возраст. Так и Люшич не счел некорректным сравнивать Зундхауссена с Ранке (не в пользу первого).

Терзич также сетует, что труд немецкого историка прямо или косвенно третирует достижения сербской историографии, а именно авторов академического разряда. И в то же время указывается, что «большую часть книги составляет интерпретация в основном известных фактов, прежде всего, вопросов сербской

Зундхауссену. Здесь опубликована его статья о Косово: (Зундхауссен 2010).

государственной идеи, политической и культурной интеграции сербов, политической мысли, национальной идеологии, культурных и духовных традиций и вопросов сербского самосознания в целом» (Терзич 2010а: 82). Очевидно, что *известные* факты в данном случае противопоставлены *неверной* интерпретации. Из дальнейшей рецензии можно понять, что факты в книге Зундхауссена, по мысли Терзича, сильно искажены.

Одно из самых существенных расхождений в подходах, которое лишь вскользь упомянуто у Терзича, — это оценка роли внутренних и внешних фактор в политической динамике. Рецензент обвиняет немецкого историка именно в том, что его заключения сделаны «без реальной оценки исторического контекста развития Сербии и особенно внешних вызовов, с которыми она сталкивалась и на которые должна была реагировать» (Терзич 2010а: 82). В противоположность ссылкам на «внешние вызовы», Зундхауссен отмечал в заключении: хотя иностранные державы нередко вмешивались в дела Сербии и других балканских государств, «все же было бы ошибочным интерпретировать историю Сербии так, как если бы внешние факторы имели для нее исключительное и превосходящее значение» (с. 506). Признание такой перспективы ставит вопрос об ответственности элиты и ее способности к критическому пересмотру своей позиции. Зундхауссен призывал к категорическому отказу от жертвенной трактовки сербской истории: «Сербы — это не “трагический народ”, как это сформулиро-

вал Добрица Чосич, и не “небесный народ”, но совершенно “нормальное” общество, которое ослепили и завлекли нарциссические проповедники, пророки и политики (как и многие другие общества до них)» (с. 507).

Не полемизируя открыто с такой перспективой ответственной самокритики, Терзич на протяжении своей длинной рецензии систематически защищает жертвенную концепцию сербской истории, перечисляя ее печальные страницы, о которых не рассказал Зундхауссен³². И если в видении последнего самосознание элиты является ключом к толкованию сербской истории, то в понимании Терзича оно нерелевантно ее политической ипостаси, поэтому ничего не объясняет: «Он целенаправленно концентрируется на некоторых эфемерных явлениях исторической антропологии и истории менталитета, ставя во главу угла характерологию сербов, их мнимую патологию, культ жертвы и мученичества» (Терзич 2010а: 93). Однако поправки Терзича с его обостренным вниманием к насилию, направленному против сербов в эпоху мировых войн, косвенно подтверждают приверженность рецензента упомянутому культу.

Почему маститые сербские историки старались не замечать замысел Зундхауссена и навязывали ему «невыполненную» задачу: создание сбалансированного обобщающего

³² Как указывалось выше, в главах о 1980–1990-х гг. Зундхауссен впадал в противоположную крайность, представляя сербов единственными виновниками югославской трагедии.

труда позитивистского типа? Обвинительный вердикт не был следствием простого непонимания подлинной задачи книги, направленной на деконструкцию сербских «мест памяти». Скорее это было принципиальное нежелание обсуждать вопрос о соотношении междисциплинарных memory studies, традиционной политической истории и исторической аргументации, применимой в публичных дебатах. Лишь последний аспект, транслированный на международные отношения, нашел отражение в негативных отзывах на книгу Зундхаусена. Критика исторических мифов обернулась против него, поскольку он и ему подобные возрождают враждебные сербам агрессивные стереотипы для оправдания несправедливости постюгославского урегулирования. В таком ракурсе обсуждение книги стало делом исторической политики или оборонительной «войны памяти». Она имела и свою внутреннюю проекцию.

Тогда как Зундхаусен предсказывал сопротивление исторической памяти, он столкнулся с логикой внешнеполитической конфронтации. В то время как немецкий автор призывал сербскую элиту к примирению через переосмысление своей истории, массивная критика большинства нейтрализовала робкие попытки меньшинства историков с реформаторскими намерениями развить позитивный смысл призыва Зундхаусена. Им также были предъявлены не академические укоры, а скорее политические обвинения, поэтому никто из них так и не решился выступить с развернутым изложением своей позиции в науч-

ной печати. Они предпочли уклониться от дискуссии в подобном формате, чтобы высказаться иначе, при других обстоятельствах.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Вулићевић 2009 – *Вулићевић* М. Недостатак историјских синтеза // Политика. 20.02.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/76042/Недостатак-историјских-синтеза/.

Крестић 2009 – *Крестић* В. Издавачки, научни, политички промашај // Печат. Бр. 52. 27.02.2009. С. 24–25.

Перовић 2009 – *Перовић* Л. Прошлост није исто што и историја // Политика. 19.02.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/75871/Proslost-nije-isto-sto-i-istorija/.

Цвијић 2009а – *Цвијић* А. Критичко сагледавање // Политика. 22.02.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/76288/Kriticko-sagledavanje/.

Цвијић 2009б – *Цвијић* А. Полемична Историја Србије // Политика. 25.01.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/72515/Polemicka-Istorija-Srbije/.

Цвијић 2009с – *Цвијић* А., [*Павловић* В. Г.] Гарашанин није зачетник национализма // Политика. 26.01.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/72613/Интервјуи-култура/Гарашанин-није-зачетник-национализма/.

Цвијић 2009д – *Цвијић* А. Изазов за нашу науку // Политика. 28.01.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/72925/Изазов-за-нашу-науку/.

Цвијић 2009е – *Цвијић* А., [*Батаковић* Д.] Тито је умро прекасно // Политика. 31.01.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/73334/Tito-je-umro-prekasno/.

Цвијић 2009ф – *Цвијић* А., [*Ковић* М.] Задатак историје је да објашњава // Политика. 17.02.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/73334/Tito-je-umro-prekasno/.

rs/scc/clanak/75596/Zadatak-istorije-je-da-objasnjava/.

Цвијић 2009g — *Цвијић А.* Пишем књигу о Југославији // Политика. 04.04.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/81859/Пишем-књигу-о-Југославији/.

Цвијић 2009h — *Цвијић А.* Србија државно-правним средствима није успела да умири Косово // Политика. 05.02.2009. URL: www.politika.rs/scc/clanak/74046/Србија-државно-правним-средствима-није-успела-да-умири-Косово/.

Јовановић 2009 — *Јовановић М.* *Домаћа историографска заједница подељена* // Danas. 20.02.2009. URL: <https://www.danas.rs/kultura/domaca-istoriografaska-zajednica-podeljena/>.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Баста 2010 — *Баста Д.Н.* Писмо блиском немачком колеги // Летопис Матице српске. Нови Сад, 2010. Књ. 485. Бр. 1–2. С. 114–127.

Батаковић 2009 — *Батаковић Д. Т.* Сlike модерне Србије: домети, ограничења, оспоравања // Зундхаусен Х. Историја Србије од 19. до 21. века. Београд: Слио, 2009. С. 549–569.

Божих 2013 — *Божих С.* Историја Србије од 19. до 21. века Холма Зундхаусена и српска научна заједница — одједи и реговања // Зборник Матице српске за историју. Књ. 88. Нови Сад, 2013. С. 141–161.

Вучинић 2016 — *Вучинић М. М.* *Анатомија Друге Србије.* Београд: Catena Mundi, 2016.

Зундхаусен 2009 — *Зундхаусен Х.* Историја Србије од 19. до 21. века / Превео с немачког Т. Бекић. Београд: Слио, 2009.

Зундхаусен 2010 — *Зундхаусен Х.* Ослобођење Косова: крај једне бесконачне приче? // Летопис Матице српске. Нови Сад, 2010. Књ. 485. Бр. 1–2. С. 128–147.

Јањетовић 2009 — *Јањетовић З.* Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. века, Clio, Beograd, 2009, 579 str. // Токови историје. 2009. Бр. 1–2. С. 331–334.

Јовановић, Радић 2009 — *Јовановић М., Радић Р.* Криза историје. Српска историографија и друштвени изазови краја 20. и почетка 21. века. Београд, 2009.

Љушић 2009 — *Љушић Р.* Полемично и контроверзно // НИН. Бр. 3034. 19.02.2009. С. 48–49.

Опсеница 2009 — *Опсеница Д.* Холм Зундхаусен, Историја Србије од 19. до 21. века, превео са немачког Томислав Бекић, Београд, 2008, 579 стр. // Споменница Историјског архива «Срем». 2009. Књ. 8. С. 288–291.

Павловић 2004 — *Павловић С. К.* Србија. Историја иза имена / Превела с енглеског И. Газикаловић-Павловић. Београд: Слио, 2004.

Пилиповић 2009 — *Пилиповић Р.* Историја Србије трећег миленијума // Православље. Бр. 1007. 1.03.2009. С. 32–33.

Терзич 2010a — *Терзич С.* История Сербии с гневом и пристрастием // Славяноведение. 2010. № 5. С. 82–96.

Терзих 2010b — *Терзих С.* Историја Србије са гневом и пристрашношћу // Летопис Матице српске. Нови Сад, 2010. Књ. 485. Бр. 1–2. С. 148–168.

Bozic 2015 — *Bozic S.* History of Serbia from 19 to 21 century of Holm Sundhausen and its Reception in the Serbian Scientific Community // Култура полиса. 2015. Бр. 26. С. 155–172.

Dimitrijević 2010 — *Dimitrijević B. B.* Krajnje problematičan konstrukt // Istorija 20. века. 2010. Br. 1. S. 249–254.

Dinić 2009 — *Dinić M., [Antić Č.]* Zaključci istoričara mogu da idu u prilog jednoj od strana, ali istoričar ne sme da stane na jednu stranu // Svedok. 2009. Br. 658. URL: www.svedok.rs/index.asp?show=65802.

Јовановић 2010 — *Јовановић М.* *Savremena srpska istoriografija: karakteristike I*

trendovi // Istorija 20. veka. 2010. Br. 1. S. 183–192.

Ković 2011 – Ković M. Saznanje ili namera: savremena svetska istoriografija o Srbima u XIX veku // Sociologija. 2011. Br. 4. S. 401–416.

Ković 2012 – Ković M. Imagining the Serbs: Revisionism in the Recent Historiography of Nineteenth-century Serbian History // Balcanica. Kn. XLIII. Beograd, 2012. P. 325–346.

Ljušić 2010 – Ljušić R. Istoriografija ‘odbi-
ra’, srbofobije i jugofilije // Istorija 20.
veka. 2010. Br. 1. S. 213–248.

Pavlowitch 2002 – Pavlowitch S. K. *Serbia: The History Behind the Name*. London: C. Hurst & Co. Publishers, 2002.

Sundhaussen 1989 – Sundhaussen H. *Historische Statistik Serbiens 1834–1914. Mit europäischen Vergleichsdaten*. Munich, 1989.

Sundhaussen 2007 – Sundhaussen H. *Geschichte Serbiens, 19.–21. Jahrhundert*. Böhlau; Wien; Köln; Weimer, 2007.

Sundhaussen 2011 – Sundhaussen H. “Wenn ein Deutscher eine serbische Geschichte schreibt...” Ein Beitrag zum (Miss)Verstehen des Anderen [2011]. URL: <https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/wenn-ein-deutscher-eine-serbische-geschichte-schreibt/>.

Vučinić 2012 – Vućinić M. M. *Druga Srbija: na mrtvoj straži političke korektnosti*. Beograd: Службени гласник, 2012.

THE COMMUNITY OF MEMORY AGAINST ITS RESEARCHER: THE CONTROVERSY AROUND THE BOOK “THE HISTORY OF SERBIA FROM THE XIX TO THE XXI CENTURY” BY H. SUNDHAUSSEN

Belov Michael V. – Ph.D., the Head of the Chair of Modern and Contemporary History at the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

Key words: Serbia, historical science, politics of memory, Holm Sundhaussen

Abstract. The book “The History of Serbia” (2009) written by the German historian H. Sundhaussen provoked a strong reaction among professional historians and in the public sphere in general. The author set the task to deconstruct the prevailing historical mythology, and this challenged the national memory community. The ensuing reaction showed the alignment of forces within the community, namely: the predominance of the defenders of lieux de mémoire. Sundhaussen was accused of reproducing anti-Serb propaganda stereotypes. To some extent, this result was predicted by the author himself. He contributed to the denial of the significance of his research by some flaws of a methodological nature. However, this was not the focus of Serbian historians. The condemnation scenario was formed before the scientific review of the book.

REFERENCES

Basta D. N. Pismo bliskom nemačkom kolegi. *Letopis Matice srpske*, 2010, 485, 1–2.

Батаковић Д. Т. Слике модерне Србије: дoмeти, oгpaничeња, oспoрaвaња. Зун-

дхаусен Х. *Историја Србије од 19. до 21. века*. Београд: Клиo, 2009.

Bozic S. Istorija Srbije od 19. do 21. veka Holma Zundhaussena i srpska naucna zajednica – odjeci i reagovanja. *Zbornik Matice srpske za istoriju*, 2013, 88.

- Bozic S. History of Serbia from 19 to 21 century of Holm Sundhaussen and its Reception in the Serbian Scientific Community. *Kultura polisa*, 2015, 26.
- Dimitrijević B.B. Krajnje problematičan konstrukt. *Istorija 20. veka*, 2010, 1.
- Dinić M., [Antić Č.] Zaključci istoričara mogu da idu u prilog jednoj od strana, ali istoričar ne sme da stane na jednu stranu. *Svedok*, 2009, 658. URL: <http://www.svedok.rs/index.asp?show=65802>.
- Janjetovic Z. Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka, Clio, Beograd, 2009, 579 str. *Tokovi istorije*, 2009, 1–2.
- Jovanović M. Savremena srpska historiografija: karakteristike I trendovi. *Istorija 20. veka*, 2010, 1.
- Jovanovic M., Radic R. *Kriza istorije. Srpska historiografija i društveni izazovi kraja 20. i pocetka 21. veka*. Beograd, 2009.
- Ković M. Saznanje ili namera: savremena svetska historiografija o Srbima u XIX veku. *Sociologija*, 2011, 4.
- Ković M. Imagining the Serbs: Revisionism in the Recent Historiography of Nineteenth-century Serbian History. *Balkanica*, 2012, 43.
- Ljušić R. Istoriofrafija ‘odbira’, srbofobije i jugofilije. *Istorija 20. veka*, 2010, 1.
- Ljusic R. Polemicno i kontroverzno. *NIN*, 3034, 19.02.2009.
- Opsenica D. Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka, preveo sa nemackog Tomislav Bekic, Beograd, 2008, 579 str. *Spomenica Istorijskog arhiva «Srem»*, 2009, 8.
- Pavlovitch S.K. *Serbia: The History Behind the Name*. London: C. Hurst & Co. Publishers, 2002.
- Pavlovitch S.K. *Srbija. Istorija iza imena*. Beograd: Clio, 2004.
- Pilipovic R. Istorija Srbije treceg milenijuma. *Pravoslavje*, 1007, 1.03.2009.
- Sundhaussen H. *Historische Statistik Serbiens 1834–1914. Mit europ ischen Vergleichsdaten*. Munich, 1989.
- Sundhaussen H. *Geschichte Serbiens, 19.–21. Jahrhundert*. B hlau–Wien–K ln–Weimer, 2007.
- Sundhaussen H. *Istorija Srbije od 19. do 21. veka*. Beograd: Clio, 2009.
- Sundhaussen H. Oslobodenje Kosova: kraj jedne beskonacne price? *Letopis Matice srpske*, 2010, 485, 1–2.
- Sundhaussen H. “Wenn ein Deutscher eine serbische Geschichte schreibt...” Ein Beitrag zum (Miss)Verstehen des Anderen [2011]. URL: <https://zeitgeschichte-online.de/kommentar/wenn-ein-deutscher-eine-serbische-geschichte-schreibt/>.
- Terzic S. Istorija Serbii s gnevom i pristrastiyem. *Slavyanovedeniye*, 2010, 5.
- Terzic S. Istorija Srbije sa gnevom i pristrasnoscu. *Letopis Matice srpske*, 2010, 485, 1–2.
- Vučinić M.M. *Druga Srbija: na mrtvoj stra i političke korektnosti*. Beograd: Службени гласник, 2012.
- Vucinic M.M. *Anatomija Druge Srbije*. Beograd: Catena Mundi, 2016.

«ОТЕЦ ЯВНО НЕДООЦЕНИЛ ПОСЛЕДСТВИЯ УСИЛЕНИЯ ПАРТАППАРАТА ВО ГЛАВЕ С ХРУЩЕВЫМ И ВСКОРЕ ПОПЛАТИЛСЯ ЗА ЭТО» Интервью с А. Г. Маленковым

Ключевые слова: Г. Маленков, И. Сталин, Н. Ежов, Л. Берия, Н. Хрущев, партийно-государственное руководство СССР, последние годы эпохи Сталина, «ленинградское дело» 1949 г., реформы оттепели 1950-х в СССР, экономическая политика СССР, антихрущевский путч 1957 г.

Аннотация. Ученый биофизик Андрей Маленков рассказывает о своем отце видном партийном и государственном функционере СССР Георгии Маленкове и о времени в котором тот жил.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-122-165

Маленков Андрей Георгиевич (1937 г.р.), выпускник физического факультета МГУ, доктор биологических наук. Профессор, почетный вице-президент Российской Академии естественных наук. Автор многих работ по биофизике, ис-

следований ноосферы, инициатор новых методов, обеспечивающих профилактику и нетоксическую терапию злокачественных опухолей. Ряд работ А. Г. Маленкова посвящен особенностям формирования исторического мышления.

Беседовал М. Бисенгалиев

М. Б. Андрей Георгиевич, несмотря на то, что ваш отец — пусть и не долгое время — занимал первый пост в Советском Союзе, — известно о нем мало. Кто знает, напри-

мер, что его предки относились к достаточно экзотической национальности — были македонцами?

© Историческая Экспертиза, 2019
Маленков Андрей Георгиевич — выпускник физического факультета МГУ, доктор биологических наук (Москва)

А. М. Да, наши предки — выходцы из знатного рода в Македонии — в начале XIX в. осели в Оренбуржье. В Македонии же род Маленковых, существующий и сейчас,

прослеживается еще до XVI в. Основатель рода имел редкую и почетную профессию — искатель воды и копатель колодцев. В Государственном архиве Оренбургской области удалось найти документ, гласящий, что мой прадед Федор Романович Маленков был домовладельцем в Форштадте, казачьем предместье Оренбурга. Он был полковником, а его брат — даже контр-адмиралом. Ну а мой дед Максимилиан, отец будущего руководителя СССР, служил по гражданской линии сначала коллежским секретарем, затем помощником начальника газетного стола Оренбургского губернского правления. Вопреки воле родителей он женился на 16-летней дочери местного кузнеца — Анастасии Георгиевны Шемякиной, которая поступила в семью Маленковых в услужение. Они полюбили друг друга и решили пожениться. Семья неравный брак не признала, и Максимилиан порвал отношения с родней. Выйдя замуж в шестнадцать лет, к 23 годам моя бабушка уже родила четверых сыновей — Александра (в 1898), Георгия (в 1901), Николая (в 1903) и Валентина (он родился в 1906 г. и умер младенцем). А уже год спустя, в 1907-м — Анастасия Георгиевна овдовела. Максимилиан Федорович умер совсем молодым от воспаления легких, бабушка пережила его больше чем на 60 лет.

К счастью, помогал молодой семье отец моей бабушки — кузнец Егор (1857–1918). Окрестные казахи-скотоводы величали его на свой лад — «Джагор». Возможно, отсюда идет и легенда, популярная в Казахстане, о том, что у Г. М. Маленкова есть казахские корни, хотя на самом де-

ле род «Джагора» своими корнями восходит к стрельцам, сосланным под Астрахань еще Петром I, а затем рассеянным по Оренбуржью Екатериной II после подавления пугачевского бунта, в котором они приняли активное участие. Среди кочевников «Джагор» пользовался огромным авторитетом, и даже в годы Гражданской войны в бескрайних оренбургских степях Георгию Максимилиановичу не раз помогал статус «внука Джагора».

Жизнестойкость и энергия бабушки, а возможно, и дворянское происхождение покойного деда помогли определить всех троих братьев Маленковых в Оренбургскую первую мужскую гимназию «на казенный кошт». Любопытно, что сразу после революции директором Оренбургской первой мужской гимназии преподаватели тайным голосованием выбрали Бориса Брониславовича Пиотровского — известного тогда педагога, автора учебников и... деда нынешнего директора Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаила Борисовича Пиотровского. Его отец и, соответственно, сын Бориса Брониславовича, тоже Борис, был на шесть лет младше Георгия Маленкова, учился в той же гимназии. Впоследствии он станет археологом с мировым именем и более полувека посвятит работе в Эрмитаже.

В июне 1919 г. молодого Георгия Маленкова, только что с отличием окончившего гимназию, призывают в Красную армию — сначала рядовым бойцом, а затем он становится комиссаром бригады. И где-то в Средней Азии в 1920 г. он

знакомится со своей будущей супругой Валерией Алексеевной Голубцовой (она работала библиотекарем в агитпоезде). Георгию Максимилиановичу в ту пору шел 19-й, а моей маме Валерии — 20-й год. Эта встреча была на всю жизнь, и я, перебирая сейчас весь свой житейский, уже немалый опыт, скажу: не встречал более любящей, бесконечно преданной друг другу супружеской пары.

М. Б. Андрей Георгиевич, насколько я понимаю, демобилизованные красноармейцы — ваши отец и мать — изначально планировали стать не партийными работниками, а инженерами?

А. М. После окончания Гражданской войны, осенью 1921 г. родители приехали в Москву. Георгий Максимилианович поступил в Московское высшее техническое училище им. Баумана на электротехнический факультет. Но приняли его с обязательным условием: после окончания учебы он, как бывший политкомиссар, должен был вернуться на партийную работу. Вскоре студента Маленкова избирают секретарем институтской парторганизации. Это было время острейшей политической борьбы (пока лишь в форме дискуссий) с Львом Троцким и то выступавшими против него, то объединявшимися с ним Зиновьевым и Каменевым. Отец, по его словам, с самого начала активно выступал против троцкистов, которых среди студентов и преподавателей МВТУ было немало. А вот Николаю Ивановичу Бухарину, который был в 20-е гг. признанным лидером антитроцки-

ма, Георгий Максимилианович, безусловно, симпатизировал. Но когда между Бухариным и большинством Политбюро ЦК ВКП(б) возникли разногласия, отец твердо поддерживал Сталина в его борьбе с «правым уклоном».

Впрочем, это было значительно позже, а в МВТУ на последних курсах отец серьезно учился — в том числе и у патриарха отечественной электроники члена-корреспондента АН СССР Карла Адольфовича Круга. Тот даже приглашал отца в аспирантуру, что не получилось, ибо после третьего курса Маленков уже был инструктором одного из отделов Центрального комитета Российской коммунистической партии (большевиков). Уйти с партработы отец не мог, правда, добился разрешения в свободное время продолжать исследования электромагнитного поля. Это продолжалось два года, но с диссертацией дело не вышло — партийные и общественные обязанности отнимали все больше и больше времени.

М. Б. И каковыми же были эти обязанности? В чем они заключались?

А. М. Сталин обратил внимание на молодого партработника Маленкова еще в конце 20-х, во время борьбы с «бухаринцами». Так что не случайно уже к середине 30-х гг. Георгий Маленков сделал серьезную партийную карьеру. В 1936 г. отец возглавил отдел руководящих партийных кадров ЦК ВКП(б), что с учетом сказанной Сталиным за год до этого фразы «Кадры решают все» было очень серьезным поручением.

В 1935–1936 гг. Георгий Максимилианович и его сотрудники провели всесоюзную кампанию по проверке и обмену партийных документов, в ходе которой были составлены учетные карточки-досье на всех членов и кандидатов в члены ВКП(б) — более двух миллионов человек, такая своеобразная перепись партийного населения. На базе собранной картотеки, в которую также вошли данные и на беспартийных руководителей и специалистов, была построена существовавшая позднее до самого конца советской власти «номенклатурная система». По этим данным удавалось быстро и эффективно (безо всяких компьютеров!) находить кандидатуру практически на любую значимую должность руководителя или специалиста по всей стране — от наркома до начальника почтового отделения. Но попадание в номенклатуру — по крайней мере тогда — вовсе не означало синекуру. Известен такой случай. Както ответственный работник ЦК был назначен на должность первого секретаря одного из дальневосточных обкомов. Он не хотел уезжать туда из Москвы и пришел на прием к Маленкову с просьбой изменить назначение. Выслушав его, Георгий Максимилианович ответил: «Этот вопрос уже не ко мне. Обратитесь к Швернику» (Н.М. Шверник руководил тогда профсоюзами). Так главный кадровик партии напомнил просителю, что коммунист не может отказываться от поручений. Это был 1939 г.

М.Б. Андрей Георгиевич, но до 1939 г. были страшные репрессии 1937–1938 гг., которые изначально связывались с именем Николая



Ивановича Ежова, который, кстати, тоже работал в «кадрах» до того, как стать наркомом внутренних дел. Затем в этих репрессиях стали обвинять и Сталина, а еще позднее — и всех его соратников, включая официального искоренителя сталинизма Никиту Хрущева. А как вел себя в эти страшные годы Георгий Максимилианович, чем он занимался?

А. М. До 1936 г. Ежов работал заведующим отделом ЦК, который ведал всеми кадрами, причем не только партийными. Николай Иванович был на хорошем счету и пользовался доверием Сталина. Уже в 1935 г. в руках Ежова сосредоточилась огромная власть: он был одновременно членом Оргбюро и секретарем ЦК, председателем Комиссии партийного контроля, а с сентября 1936 г. возглавил НКВД. Портреты Ежова висели в приемных ЦК, а знаменитый плакат Бориса Ефимова «Враги народа — в ежовых рукавицах» — по всей стране. Истерия по поиску «врагов народа»

нарастала и превратилась в буквальную «охоту на ведьм». Нарком внешней торговли Микоян, выступая от имени Политбюро на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР, посвященном 20-летию органов ВЧК — ОГПУ — НКВД, провозгласил: «Каждый гражданин СССР — сотрудник НКВД». Была в той ситуации угроза и для Маленкова, например, в мае 1937 г. на московской городской партконференции заслушивался доклад первого секретаря МК и МГК ВКП(б) Н. С. Хрущева (кстати, на эту должность он был выдвинут Ежовым, с которым вообще был довольно близок). Хрущев задал вопрос присутствовавшему на конференции Георгию Максимилиановичу: «Почему вы, товарищ Маленков, так затягиваете разбор дел врагов народа? Ведь здесь необходима быстрота, и промедление вредит делу партии и народа». Маленков обстоятельно и спокойно объяснил, что быстрота в разоблачении нужна, но необходимо в интересах партии действовать по закону, сверяясь при этом с партийной совестью, привел факты, когда поспешность приводила к обвинению невинных людей. Из зала раздался выкрик: «А белые были в Оренбурге?» Маленков: «Да, были». Из зала: «Значит, и он был с ними!» О том времени хорошо скажет такой факт: сразу же по окончании этой конференции было арестовано 19 человек. К счастью, отца не тронули, поскольку присутствовавший на конференции Сталин сказал, что удовлетворен ответами Маленкова. Это была индульгенция.

Поскольку с 4 февраля 1936 г. отец был назначен заведующим отделом

руководящих партийных органов ЦК, именно он и его сотрудники вынуждены были заниматься анонимными и подписанными доносами на руководителей всех рангов, письмами и апелляциями тех, кто был отстранен, письмами на доносителей. Но — что очень важно — подписи Георгия Максимилиановича нет ни на одном из печально знаменитых «расстрельных списков».

Право подписи таких списков имело только самое ближайшее окружение Сталина, Маленков в него не мог входить хотя бы в силу своего возраста. Относительно «молодой» Хрущев был старше его на 7 лет, Микоян — на 6...

Дело не только в возрасте. Как вы помните, в то время готовилась новая конституция СССР. Сталин и узкий круг его единомышленников — В. М. Молотов, Я. А. Яковлев, Б. М. Таль, некоторые другие — предлагали идею альтернативных выборов на всех уровнях государственной власти в СССР. Большинство членов ЦК, естественно, были против — резонно опасаясь, что в таком случае не будут переизбраны и потеряют свои посты. Думаю, что Сталин этого и добивался — поскольку справедливо считал партийную верхушку некомпетентной в решении хозяйственных вопросов периода индустриализации. Маленков полностью разделял позицию вождя. В мае 1937 г. Политбюро постановило, что с этого момента любые кадровые перемещения высших партийных работников требуют обязательной визы Маленкова как заведующего соответствующим отделом ЦК. Это означало, что теперь

Георгий Максимилианович вошел в «узкое руководство» ВКП(б) во главе со Сталиным.

М.Б. Не может быть, чтобы партработник такого ранга мог остаться в стороне от всего происходящего в стране в 1937–1938 гг.

А.М. Отец неоднократно ездил в командировки — летом 1937 г. по поручению И.В. Сталина вместе с Н.И. Ежовым, А.И. Микояном и Л.М. Кагановичем он посещал Белоруссию, Армению, Грузию, Таджикистан, Татарскую АССР, Новосибирскую и Свердловскую области и другие районы, где был развернут массовый террор, для «проверки деятельности местных парторганизаций, НКВД и других государственных органов». Особую роль в его размахе сыграли так называемые «тройки» НКВД. Это были органы внесудебной репрессии, созданные по приказу Н.И. Ежова от 30 июля 1937 г. Они состояли из руководителя управления НКВД по республике (краю или области), секретаря обкома ВКП(б) и прокурора республики (края или области), имели право приговаривать к расстрелу, к заключению в лагеря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. Решения выносились «тройкой» заочно — по материалам дел, представляемым органами НКВД, а в некоторых случаях и при отсутствии каких-либо материалов — по представляемым спискам арестованных. Процедура рассмотрения дел была свободной, протоколов не велось. Характерным признаком дел, рассматриваемых «тройками», было минимальное количество документов, на основании которых выносилось решение

о применении репрессии. В картонной обложке с типографскими надписями «Совершенно секретно. Хранить вечно» обычно подшиты постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, один или два протокола допроса арестованного, обвинительное заключение. Следом в форме таблички из трех ячеек на пол-листа идет решение «тройки», которое обжалованию не подлежало, и, как правило, заключительным документом в деле являлся акт о приведении постановления в исполнение.

Механизм «троек» работал так, что фактически не оставалось следа от осужденных людей, не за что было зацепиться. Но был такой момент — коммуниста, прежде чем осудить, надлежало исключить из партии. Соответственно, по уставу коммунист имел право подать апелляцию. И по итогам инспекции Маленкова, охватившей 25 областей, краев и республик страны, оказалось, что во многих случаях местные руководители не обращали на апелляции никакого внимания, чуть ли не выбрасывали их в мусорную корзину. А люди исчезали бесследно. Результатом проделанной отцом работы стал доклад на Пленуме ЦК ВКП(б) «Об ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по устранению этих недостатков» (14 января 1938 г.). 17 февраля 1938 г. на столе у Сталина лежала 18-страничная записка Маленкова о том, какие меры принимает отдел руководящих органов ЦК ВКП(б) по исправлению

отмеченных им на Пленуме недостатков. В результате десятки тысяч коммунистов были восстановлены в партии, а партийные руководители, виновные в безразличном и предвзятом отношении к апелляциям, сняты со своих должностей. Увы, только к осени 1938 г. удалось остановить преступную практику «троек». И именно Маленков готовил постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 18 ноября 1938 г. «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», которое положило конец Большому террору.

М. Б. Как именно это было?

А. М. Надо сказать прямо — Ежов пользовался большой поддержкой в Политбюро и располагал доверием самого Сталина и не только его. Но ситуация требовала решительных мер, и, тщательно подготовившись, Маленков в августе 1938 г. передает Сталину личную записку «О перегибах». Далее я излагаю рассказ отца, записанный мною с его слов и затем проверенный им по моей записи: «Я передал записку И. Сталину через Поскребышева, несмотря на то, что Поскребышев был очень близок с Ежовым. Я был уверен, что Поскребышев не посмеет вскрыть конверт, на котором было написано “лично Сталину”. В записке о перегибах в работе органов НКВД утверждалось, что Ежов и его ведомство виновны в уничтожении тысяч преданных партии коммунистов. Сталин вызвал меня через 40 минут. Вхожу в кабинет. Сталин ходит по кабинету и молчит. Потом спрашивает: “Это вы сами писали записку?” — “Да, это я писал”. Сталин молча продолжает

ходить. Потом еще раз спрашивает: “Это вы сами так думаете?” — “Да, я так думаю”. Далее Сталин подходит к столу и пишет на записке: “Членам Политбюро на голосование. Я согласен”». Таким образом, Сталин выразил недоверие Ежову. И тогда же, по словам Д. Н. Суханова (помощник Г. М.), вождь попросил Маленкова подобрать на должность первого заместителя наркома НКВД человека, который бы удовлетворял трем условиям: имел опыт работы в органах, опыт партийной работы и чтобы он, Сталин, мог ему лично доверять. Маленков поручил одному из своих ответственных сотрудников В. А. Донскому подобрать по картотеке кандидатуру первого зама Ежова. Донской сразу предложил Л. П. Берию, с которым Георгий Максимилианович познакомился во время командировок в Грузию и Армению в 1937 г.

Берия имел большой опыт работы в партийных и чекистских органах, а после того, как заслонил Сталина грудью во время им же самим организованного мнимого покушения, пользовался его личным доверием.

Правда, Маленков распорядился подобрать еще несколько кандидатур. Донской предложил еще шесть, и весь этот список был представлен Сталину. Сталин ожидаемо выбрал Берию.

М. Б. Что же было дальше?

А. М. О том, как развивались события, мне рассказали отец и его помощник Д. Н. Суханов. Эти рассказы, слышанные мною в разное время, совпали до деталей. В начале

1939 г. Ежов добился через Поскребышева приема у Сталина. Сталин принял его в присутствии Маленкова. Ежов обвинил Маленкова в попустительстве врагам народа и белогвардейщине, намекая на его дворянское происхождение. Маленков, со своей стороны, повторно обвинил Ежова и его ведомство в уничтожении преданных партии коммунистов. Сталин сказал: «Пройдите в кабинет Маленкова, я сообщу свое решение». Они прошли в кабинет. Через некоторое время туда вошел и Берия. Отец и Берия объявили Ежову, что он арестован. Немедленно после ареста Ежова Маленков распорядился вскрыть его сейф. Там были найдены заведенные Ежовым дела на многих членов ЦК, в том числе и на самого Сталина — в частности, записка одного старого большевика, в которой тот высказывал подозрение о связи Сталина с царской охранкой. Любопытно, что в сейфе Ежова не оказалось дел на членов Политбюро В. М. Молотова, Н. С. Хрущева и Л. М. Кагановича (не берусь утверждать, что до сье на них не было в НКВД вообще). На заседании Политбюро Молотов предложил создать специальную комиссию для разбора вопроса о Ежове. Тогда Сталин сказал: «А знаете ли вы это?» И показал дело на себя. И, выдержав паузу, обратился к Молотову: «Вячеслав Михайлович, скажите, пожалуйста, за какие особые заслуги нет материалов на вас? И на вас?» — продолжил Сталин, обращаясь к Кагановичу и Хрущеву. Ответа, видимо, не последовало, как и «оргвыводов».

Вскоре состоялся Пленум ЦК, на котором Маленков доложил

о деле Ежова и квалифицировал практику безграничного рукоприкладства и истязаний подследственных, применявшихся сотрудниками НКВД с 1937 г. (после специального распоряжения Ежова, снявшего все ограничения на применение пыток при дознании), как методы, заимствованные Ежовым в фашистской Германии (Ежов был там на лечении от педерастии в 1936 г.). Отец был уверен, что Ежов — с которым он все-таки был знаком в течение достаточно долгого времени — и в самом деле психически больной. Осуждение Ежова и практики работы его ведомства позволило отцу освободить некоторых хорошо известных людей, в том числе К. К. Рокоссовского, прекратить следствие против талантливейшего металлурга и организатора промышленности И. Ф. Тевосяна.

М. Б. Очень странно — кому могла прийти в голову мысль назначить руководителем НКВД педераста, да еще и только что вернувшегося из психиатрической клиники в фашистской Германии... Впрочем, тема наша все-таки не Ежов. Расскажите, как складывалась карьера вашего отца дальше?

А. М. Перед войной отец занимался еще более широким кругом вопросов: руководил секретным аппаратом Коминтерна, занимался военными кадрами, курировал авиацию и работу по созданию реактивной техники. В феврале 1941 г. на XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б), посвященной задачам мобилизации народного хозяйства для нужд обороны, Маленков делает основной доклад «О задачах партийных

организаций в области промышленности и транспорта». В этом докладе отец сделал упор на необходимость строгого соблюдения «технологической дисциплины», переключая, таким образом, внимание с контроля за «формальной дисциплиной», т.е. по сути с бесконечного поиска «вредителей». 21 февраля на Пленуме ЦК ВКП(б) Маленкова выбрали кандидатом в члены Политбюро. Отныне Георгий Максимилианович, уже с июля 1940 г. являвшийся членом Главного военного совета РККА, занял прочное место в ближайшем окружении Сталина.

М. Б. С началом войны что-то в его статусе изменилось?

А. М. 30 июня 1941 г. был создан Государственный комитет обороны (ГКО). Идея его формирования возникла на совещании у В. М. Молотова в Кремле. В его кабинете собрались Г. М. Маленков — член Главного военного совета РККА, Л. П. Берия — заместитель предсовнаркома и нарком внутренних дел, А. И. Микоян — зампредсовнаркома и нарком внешней торговли, маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов — зампредсовнаркома, возглавлявший до конца мая 1941 г. Комитет по делам обороны при СНК СССР, и Н. А. Вознесенский — первый заместитель председателя Совета народных комиссаров. Но к Сталину утверждать постановление о создании ГКО поехали только трое — отец, Молотов и Берия. Сталин согласился.

Первоначально в составе ГКО было пять человек — И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов, Г. М. Ма-

ленков, Л. П. Берия и К. Е. Ворошилов. Микоян и Вознесенский вошли в состав ГКО в феврале 1942 г. В Государственном комитете обороны отец отвечал в первую очередь за оборонную промышленность, и в частности — за авиационную. Опираясь на выдвинутых им молодых, талантливых специалистов — В. А. Малышева, позднее отвечавшего за советский атомный проект, Е. П. Славского, М. З. Сабурова, М. Г. Первухина, А. Н. Косыгина, Д. Ф. Устинова, вырванного из лап НКВД И. Ф. Тевосяна и др., — Маленков взял на себя контроль за освоением новой техники. Помню его рассказ о том, как вместе с Сергеем Ивановичем Вавиловым он в предельно короткий срок наладил выпуск «ночезрительных» (инфракрасных) приборов для танков, как они вдвоем проехали ночью по дорогам Подмосковья на танке, оборудованном новым прибором. Именно тогда отец убедился в талантах Вавилова, и позже, в июле 1945 г. Георгий Максимилианович предложил его на пост президента Академии наук СССР. Такое назначение было не из простых: во-первых, нужно было, чтобы Вавилов сам согласился, во-вторых, требовалось преодолеть некоторое сопротивление спецслужб — ведь старший брат Сергея Ивановича выдающийся биолог, академик Николай Иванович Вавилов — погиб в саратовской тюрьме с клеймом «враг народа».

М. Б. Но мы говорили об авиации.

А. М. Производство самолетов было под неусыпным контролем Сталина. Каждое утро ему приносили данные по авиапромышленности, и если

было выпущено хотя бы на один самолет меньше установленной цифры, следовали вызов в Кремль и суровый разбор причин снижения темпов производства. В этих условиях отцу однажды пришлось пойти на чрезвычайный риск. В стране не хватало алюминия для самолетов, и специалисты предложили заменить его «дельта-древесиной». Первоначально ее изготавливали из березового шпона толщиной 0,5 мм, пропитывали специальным лаком и прессовали при высокой температуре под большим давлением. Имеющий в два раза большую плотность, чем обычная древесина, материал значительно превосходил ее по прочности. Но переход на него требовал приостановки одного из авиазаводов для освоения новой технологии, и сделать это надо было так, чтобы суточная норма выпуска не снизилась. Отец рассказывал мне, что хотел было доложить о необходимости такого маневра Сталину, но... не доложил. Он знал, что по всем организационно-инженерным выкладкам задача осуществима, но понимал и то, что Сталин мог не согласиться с ними. Сама мысль о том, что нужно «приостановить завод», могла представиться вождю слишком рискованной, и он вполне мог отклонить это предложение. Не поставив Сталина в известность о своем решении, отец в короткие сроки осуществил задуманную реорганизацию производства. И только когда Сталин при просмотре очередной ежедневной сводки обратил внимание на резкое увеличение выпуска самолетов, отец, уже имея на руках данные о высоких боевых качествах машин, сделанных с применением дельта-древесины, рас-

крыл ему свою тайну. Сталин только покачал головой.

Уже упоминавшийся Д. Н. Суханов вспоминал, что отец в первую очередь брал на себя не все большую власть как таковую, а все больший объем работы, прекрасно понимая, что именно в этом он неизмеримо сильнее любого из ближайшего окружения Сталина. Именно в конкретном организаторском и инженерном деле — при точном подборе молодых, талантливых руководителей — выковывался авторитет отца, росло его влияние в высших эшелонах власти. Вскоре и крупные военачальники той поры — Жуков, Василевский, Рокоссовский, адмирал Кузнецов — поняли: Маленков как раз тот человек, с которым можно иметь дело, не тратя попусту время на всяческие обходные маневры. Все решалось компетентно и оперативно. На этой почве и завязывались у Маленкова прочные, доверительные отношения с военными — отношения, которые позже сыграли немалую роль.

М. Б. Маленков занимался только оборонной промышленностью?

А. М. Нет, не только. Например, в августе 1941 г. он находился на Ленинградском фронте, где впервые близко познакомился со вторым секретарем ленинградского обкома партии Алексеем Александровичем Кузнецовым. Узнал и крепко с ним сдружился. Вообще обстановка в руководстве обороной города в тот момент была крайне сложная. Из Ленинграда пришло паническое послание от К. Е. Ворошилова, бездарно командовавшего фронтом.

Суть его сводилась к следующему: город придется сдать. По заданию ГКО отец срочно вылетел в Ленинград. А. А. Жданова, возглавлявшего тогда ленинградскую парторганизацию, Маленков застал опустившимся, небритым, пьяным. Он дал Жданову три часа привести себя в божеподобный вид и повел его на митинг, который по предложению отца был созван на знаменитом Кировском заводе. В те несколько дней, что Маленков пробыл в Ленинграде, ему удалось сделать многое, чтобы укрепить оборону города, которая по вине Ворошилова была полностью расстроена. В частности, по инициативе отца Балтийский флот был тут же переподчинен командованию фронта, и вскоре дальнотбойные орудия наших кораблей остановили мчавшиеся на полной скорости к Ленинграду немецкие танковые колонны.

М. Б. Как Маленкову это удалось?

А. М. Нужно учитывать то, что Сталин отправил Георгия Максимилиановича в Ленинград не просто с исключительными полномочиями, но и во главе большой группы, в которую входили чекисты, ответственные сотрудники Управления кадров, военачальники высшего уровня, включая наркома ВМФ, командующего авиацией РККА и командующего артиллерией. Впоследствии такая практика получит продолжение, и экспертные группы, инспектирующие критические участки фронта и наделенные чрезвычайными полномочиями, станут знаменитыми «маленковскими» комиссиями ГКО. С такими комиссиями Георгий Максимилианович вы-

езжал и в Сталинград при подготовке окружения армии фельдмаршала Паулюса. Именно Маленков настоял на назначении К. К. Рокоссовского командующим этой операцией. Был Маленков и на Курской дуге.

Но вернемся к поездке в Ленинград. Запомнились мне слова отца: «Вернувшись в Москву, я ничего не рассказал Сталину о состоянии Жданова, но с тех пор мое уважение к Жданову пошатнулось». Запомнилась особенно отчетливо именно эта фраза потому, что отец тогда вслед за именами Ворошилова и Жданова недоброе слово помянул Мехлиса и некоторых других, мягко говоря, некомпетентных руководителей. Я невольно воскликнул: «Но как же с такими руководителями можно было выиграть войну?!» Отец сказал только: «У нас были очень хорошие военные».

Беседу с отцом дополнил позже Д. Н. Суханов: как только они приехали в Ленинград, А. А. Кузнецов сразу же заручился полной поддержкой Маленкова. Прощаясь, отец сказал Кузнецову: «На вас вся надежда, Алексей Александрович». Моя сестра Воля вспоминала, что и после войны А. А. Кузнецов звонил к нам домой в любое время суток.

М. Б. К Кузнецову давайте вернемся позже, когда станем обсуждать события второй половины 40-х гг. Что было после возвращения из Ленинграда?

А. М. Немецкое наступление продолжалось, Москва была под ударом — и в какой-то момент из всех

членов Политбюро отец остался в Москве один. По его словам, даже «сам Сталин отсутствовал 10 дней». И как раз в эти дни ему под любыми предложениями звонили из партийных комитетов республик, областей и краев, звонили с единственной целью: убедиться, что Москва не сдана. Маленков твердо отвечал: «Сталин и все руководство здесь». Несколько дней вся стратегическая информация о положении дел в стране стекалась только в аппарат Маленкова. Получена была и телефонограмма из Хабаровска о том, что, по надежным разведанным, Япония не собирается нападать на СССР, свою агрессию она направила на Китай и Юго-Восточную Азию. Принял это важнейшее донесение лично Суханов и передал его Маленкову, а тот немедленно довел до сведения Сталина. Телефонограмма из Хабаровска позволила перебросить несколько сибирских дивизий под Москву, и это сыграло решающую роль в разгроме немцев на подступах к столице.

М. Б. Но все-таки с учетом опыта и образования Маленков вряд ли сосредотачивался только на чисто военных вопросах?

А. М. Разумеется, Георгий Максимилианович основную часть времени занимался военным производством, в первую очередь авиационной промышленностью. После огромных потерь советской авиации в первые недели войны германская армия имела превосходство в воздухе до конца 1942 г., но затем ситуация стала меняться. Советская промышленность сумела обеспечить отечественные ВВС большим

количеством современных боевых машин, и уже к сражению на Курской дуге превосходство в воздухе Германия утратила. И вовсе не случайно в качестве куратора Народного комиссариата авиационной промышленности «за особые заслуги в области усиления производства самолетов и моторов в трудных условиях военного времени» 30 сентября 1943 г. Г. М. Маленков получил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина. Незадолго до этого, 4 июля 1943 г. при ГКО под председательством Георгия Максимилиановича был создан Совет по радиолокации. Его заместителем стал другой уроженец Оренбурга доктор технических наук, профессор Аксель Иванович Берг. Бывший морской офицер и инженер Берг в 1932 г. организовал и возглавил Научно-исследовательский морской институт связи, который занимался разработкой системы радиовооружений Военно-морского флота. Но в 1937 г. Берга арестовали по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса за «контрреволюционную деятельность». К счастью, не расстреляли — и в мае 1940 г. он уже преподавал в Военно-морской академии, а в 1943 г. стал заместителем наркома электропромышленности. В августе того же года Аксель Иванович становится исполняющим обязанности начальника головного НИИ радиолокации.

М. Б. Наверняка у Георгия Максимилиановича нашлись и другие задачи?

А. М. В 1943 г. отец становится Председателем Комитета при СНК

СССР по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации. И при этом снова, не в первый уже раз, идет на риск: дал распоряжение использовать мощности военной промышленности для выпуска товаров народного потребления, столь необходимых людям, пережившим гитлеровский режим. А в 1944 г. Маленков возглавляет Особый комитет ГКО по демонтажу немецкой промышленности, ответственный за вывоз из Германии заводов, техники и оборудования в качестве репараций в пользу СССР. Отцу пришлось выдерживать мощный напор руководителей разных ведомств, желавших получить как можно больше трофейного оборудования. И вот уже опять, как и год назад, посыпались доносы и открытые письма с обвинениями: мол, Маленков подрывает оборонную мощь страны. К счастью, Сталин опять не поддержал доносчиков, и наветы на отца прекратились... Уже после войны либо по инициативе Сталина, либо по согласованию с ним Маленков предложил прекратить демонтаж немецкой техники и наладить в Восточной Германии производство товаров для СССР в качестве репараций. Несмотря на возражения отдельных коллег по Политбюро, это решение было утверждено.

М. Б. Работа, получается, была на износ?

А. М. За годы войны (да и первое послевоенное время) я наперечет помню дни, когда отец появлялся в семье. Потому, наверное, и остался навсегда в памяти единственный отпуск, который был разрешен отцу

в 1947 г. Для нас, детей, вокруг были Кавказские горы и Черное море, отец же все равно целые дни занимался какими-то бесчисленными государственными документами...

М. Б. И как же его за такую работу отблагодарил товарищ Сталин?

А. М. В мае 1946 г. Георгий Максимилианович перестает быть руководителем секретариата ЦК ВКП (б) — его заменил будущий министр внешней торговли в правительстве Косыгина Н. С. Патолычев. Формальным поводом для отстранения стало «дело авиаторов» — обвинение руководителей ВВС и авиационной промышленности в поставках бракованной техники на фронты в годы войны. ЦК мотивировал свое решение тем, что Маленков как шеф над авиационной промышленностью и по приемке самолетов, а также над военно-воздушными силами, «морально отвечал» за те безобразия, которые были вскрыты в работе этих ведомств (выпуск и приемка некачественных самолетов), и что он, зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них в ЦК ВКП(б). Протокол этого решения подписан Ждановым. Так возникла легенда об опале Маленкова, продолжавшейся почти два года.

М. Б. В каком смысле «легенда»?

А. М. На самом деле уже 13 мая 1946 г. постановлением Совета министров СССР (в марте того года Совет народных комиссаров был преобразован в Совет министров) создается Специальный комитет по реактивной технике при Совмине, председателем которого

И. В. Сталин за три дня до того определил Георгия Маленкова. Имя отца было вписано Сталиным в готовый проект постановления синим карандашом. Одним из его заместителей стал хорошо всем известный Д. Ф. Устинов. Целью, поставленной перед Комитетом, было создание межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставить ядерное оружие в любую точку планеты.

Центральными фигурами исполнительной системы стали два главных конструктора — оба бывшие жертвы репрессий: Сергей Павлович Королев возглавил ОКБ-123 (на базе артиллерийского предприятия), а Валентин Петрович Глушко — ОКБ-456 (на базе авиационного предприятия). Перед этим уникальным дуэтом была поставлена чрезвычайно сложная задача — догнать коллектив Вернера фон Брауна в создании ракет стратегического назначения. Ранее, в обеспеченных Гитлером комфортных условиях, сотрудникам Брауна уже удалось создать новый тип ракетного вооружения, доведенный до реального применения. Наиболее ценный багаж, включая творческий коллектив, проектную документацию и партию готовых изделий, после разгрома Германии перекочевал в США.

В отличие от Брауна, Королев и Глушко в камере Казанского КБ при НКВД с 1939 по 1944 г. сохранили лишь кадровое ядро малочисленного творческого коллектива и фанатичный энтузиазм в создании новой техники. Сначала руководство страны требовало только копировать трофейные разработки

Брауна, что нашло отражение в создании первых ракет под индексами от Р-1 до Р-6. Но конструкторы настаивали на собственных проектах. В этом им удалось убедить и Г. М. Маленкова, и Д. Ф. Устинова. В итоге при абсолютной секретности удалось создать шедевр, не имеющий аналогов в мировой практике, — межконтинентальную баллистическую ракету Р-7 с двигателем РД-107. Вернера фон Брауна и его сотрудников мы опередили не только по срокам, но и по качеству изделия. Эта разработка явилась фундаментом дальнейших космических свершений: и запуска первого искусственного спутника Земли, и полета в космос Юрия Гагарина... Важнейшим условием успеха отрали было именно наделение генерального конструктора всеми необходимыми правами.

М. Б. То есть принцип «кадры решают все» Георгий Максимилианович проводил в жизнь и после войны?

А. М. Для иллюстрации его бережного отношения к людям приведу такой отрывок из книги о В. П. Глушко. «В 1953 году был арестован один из ведущих сотрудников конструкторского бюро — пожилой профессор Александр Гаврилов. Партком на своем заседании призвал к бдительности: дескать, ключевые посты занимают недавние зеки. Что у них на уме, никто не знает, так что смотреть нужно в оба. Директор опытного завода, бывший секретарь обкома, тут же предпринял попытку подмять под себя главного конструктора, хотя был только его заместителем по производству. Поползли слухи.

Обстановка на предприятии накалилась. Валентин Петрович поехал к председателю Совмина Маленкову. «Арест Гаврилова рассматриваю как недоверие и ко мне, — сказал он взволнованно. — Я стал работать в два раза хуже. Убедительно прошу освободить его, он не виноват». «Виноват Гаврилов или не виноват, это вопрос не Вашей компетенции, — последовал ответ. — Но если арест мешает работе, его выпустят». «Благодарю Вас, Георгий Максимилианович». Считая, что аудиенция окончилась, Глушко встал. Но Маленков с улыбкой остановил его: «Сидите, сидите». Затем позвонил помощнику: «Приглашайте». В кабинет вошли директор завода и парторг ЦК. Вместо приглашения присесть на их головы обрушилась отповедь: «Прекратите третирование Валентина Петровича. Предприятие создано для реализации его идей. Вы же туда направлены в помощь ему, а не для постановки палок в колеса. Если же не уразумели сказанного, то придется вас убрать». Они пытались оправдаться, но в ответ услышали: «Я вас больше не задерживаю». Через несколько дней в конструкторском зале появился конструктор Гаврилов. Вскоре директор завода и парторг ЦК были смещены с занимаемых должностей».

Отец возглавлял комитет № 2 около года — с мая 1946 по май 1947 г., когда его на этом посту сменил Н. А. Булганин. Судьбоносное решение о необходимости создания межконтинентальной ракеты, а не аналога Фау-2 было принято в апреле 1947 г. «В Правительстве проходит еще одно совещание, на котором выступает заместитель председате-

ля Совмина Георгий Маленков: — Пора, товарищи, наконец, всем нам понять простую истину: нам не нужна ракета Фау-2! Она, по сегодняшним меркам, — простое, даже примитивное оружие! Кого мы можем им сегодня напугать? Разве что самих себя неумелым с ним обращением! И мы находимся в столь уязвимом, смертельном для страны положении в момент, когда наш потенциальный противник находится за океаном, в абсолютно неуязвимом (в отличие от нас) положении!

После каждой произнесенной фразы Маленков снова и снова обращается к сидящему в рабочем президиуме министру оборонной промышленности Устинову, маршалу авиации Вершинину, генералу Куцевалову, авиаконструкторам Микояну и Яковлеву. Но все они, опустив головы, подавленно молчат, дополнительно усиливая тем самым и без того мрачную атмосферу от происходящего в зале...» Кстати, первоначальный импульс, заданный спецкомитетом № 2, не затухал практически до конца XX в. Вспомним грандиозный проект «Энергия — Буран», выполненный под руководством В. П. Глушко (уже без С. П. Королева и Г. М. Маленкова), который объединил работу более 70 союзных и республиканских министерств и ведомств, 1280 крупных предприятий.

М. Б. Наверное, есть и еще какие-то примеры удачных кадровых решений?

А. М. Во время войны в руководстве страны и армии появились новые, молодые, способные люди. Многие

из них были прямыми выдвинутыми Маленкова. Именно отец выдвинул начальника Генштаба А.М. Василевского, главнокомандующего авиацией А.А. Новикова, президента АН СССР С.И. Вавилова, наркомов В.А. Малышева, Д.Ф. Устинова, А.И. Шахурина (который до этого был парторгом 1-го авиационного завода в Москве). Некоторых товарищей отец выдвигал на ответственные должности после того, как ему удавалось вырвать их из цепких лап НКВД. Можно сказать, что после войны Маленков не только стал лидером молодых технократов, но и пользовался поддержкой большинства военачальников. Со многими из них, прежде всего с Г.К. Жуковым, А.М. Василевским, А.А. Новиковым, К.К. Рокоссовским, адмиралом Н.Г. Кузнецовым, его связывала и личная дружба.

М.Б. А как складывались отношения между двумя, безусловно, самыми сильными организаторами сталинской команды: Берией и Маленковым? И почему они закончились арестом и гибелью Берии?

А.М. После избрания Георгия Максимилиановича членом Политбюро ВКП(б) 18 марта 1946 г. (до «дела авиаторов»), он сразу же рекомендовал на место начальника управления высшими партийными кадрами, которое занимал прежде сам, А.А. Кузнецова. Его он знал по деловым контактам в дни Ленинградской блокады и полностью ему доверял. Важно, что одновременно А.А. Кузнецову было поручено курировать и органы госбезопасности. А вот это уже было крупным по-

ражением Берии в борьбе за власть. И он нанес ответный удар. В марте 1946 г. ему удалось провести в Оргбюро своих людей: Н.А. Булганина, Л.З. Мехлиса, В.М. Андрианова. А вот руководить госбезопасностью Сталин назначил В.С. Абакумова — бывшего начальника Смерша. Во время войны Абакумов получил доступ к секретной зашифрованной информации, которой обменивались друг с другом и со Ставкой командующие фронтами, армиями, в том числе авиационными соединениями. И вот на основании этих зашифровок, в которых говорилось о якобы «многочисленных случаях гибели» наших самолетов из-за технических неисправностей, МГБ фабрикует дело «авиационных работников». Маршал авиации А.А. Новиков, руководитель авиационной промышленности А.И. Шахурин и многие их подчиненные оказываются за решеткой. Маленков, которого в общем-то обвинили в косвенной причастности к этому делу, до конца 1947 г. не работает в секретариате ЦК. А вторым человеком в партии становится А.А. Жданов, который разворачивает войну с интеллигенцией и активно пытается возродить истерическую обстановку предвоенных лет.

Возможно, определенную поддержку Маленкову оказал А.А. Кузнецов, который продолжал курировать органы госбезопасности по линии ЦК. Отец говорил, что между Ждановым и Кузнецовым была давняя антипатия по итогам совместной работы в Ленинграде, особенно во время блокады. Впрочем, уже в 1948 г. сам Маленков быстро восстанавливает свои позиции

в партийной иерархии: в июле — еще до смерти Жданова — Маленков вновь становится секретарем ЦК и возглавляет Оргбюро. Произошло это неожиданно: на одном заседании Политбюро Сталин сказал: «Что-то у Андрея Андреевича (Андреева) не очень-то получается руководить оргбюро. Давайте вернем Маленкова».

М. Б. Согласен с вами, Андрей Георгиевич, что убедительных доказательств активного участия Георгия Максимилиановича в репрессиях 1937–1938 гг. нет — расстрельные списки он не подписывал, Ежова арестовал, доклад о прокурорском надзоре подготовил. Но вот его роль в организации «ленинградского дела» большинство исследователей считают доказанной.

А. М. Давайте рассмотрим факты. В начале 1949 г. на имя Сталина поступает анонимка о фальсификации выборов на объединенной городской и областной конференции ленинградских коммунистов, которая прошла в декабре 1948 г. Берии удается поручить вести это дело своему человеку — члену Оргбюро В. М. Андрианову.

В большинстве источников Андрианова называют ставленником Маленкова, но уволили его действительно после падения Берии.

Так вот, Андрианов подал в Политбюро записку о том, что у руководства ленинградской организации есть антипартийные настроения — попытки противопоставить Ленинград центру. Речь шла о якобы выд-

винутой ленинградским обкомом идее создания Российской коммунистической партии, в чем Кремль сразу же увидел попытку создания противовеса ВКП(б). Формальным поводом для того, что впоследствии будет названо «ленинградским делом», послужило проведение в Ленинграде с 10 по 20 января 1949 г. Всероссийской оптовой ярмарки. Сообщение о ярмарке стало дополнением к уже имевшемуся компромату. А. А. Кузнецову и председателю Совета министров РСФСР М. И. Родионову, секретарям Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П. С. Попкову и Я. Ф. Капустину было предъявлено обвинение в том, что они провели ярмарку без ведома и в обход ЦК и правительства.

Между тем документально установлено, что ярмарка была проведена во исполнение постановления Совета министров СССР от 11 ноября 1948 г. Бюро Совета министров СССР под председательством Г. М. Маленкова приняло постановление «О мероприятиях по улучшению торговли». В постановлении было сказано: «организовать в ноябре-декабре 1948 года межобластные оптовые ярмарки, на которых произвести распродажу излишних товаров, разрешить свободный вывоз из одной области в другую купленных на ярмарке промышленных товаров». И во исполнение этого постановления никакие не «ленинградцы», а Министерство торговли СССР и Совет министров РСФСР приняли решение провести в Ленинграде с 10 по 20 января Всероссийскую оптовую ярмарку и обязали Ленинградский горисполком оказать практическую

помощь в ее организации и проведении. 13 января 1949 г. во время работы ярмарки председатель Совета министров РСФСР М.И. Родионов направил письменную информацию на имя Г.М. Маленкова об открывшейся в Ленинграде Всероссийской оптовой ярмарке с участием в ней торговых организаций союзных республик. Но месяц спустя, 15 февраля 1949 г., как гром среди ясного неба прозвучало постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об антипартийных действиях члена ЦК ВКП(б) т. Кузнецова А.А. и кандидатов в члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова П.С.». Все трое были сняты с занимаемых постов. Поводом для обвинения Н.А. Вознесенского послужил совершенно другой документ — докладная записка заместителя председателя Госнаба СССР М.Т. Помазнева «О занижении Госпланом СССР плана промышленного производства СССР на первый квартал 1949 года».

М.Б. Тогда почему разгром «ленинградцев» — пусть даже это название ко многим из них не вполне применимо — связывают именно с Маленковым, а не с кем-то другим?

А.М. Сталин поручил отцу разобраться в этом деле на месте. Георгий Максимилианович выехал в Ленинград. По его воспоминаниям, дело обстояло так: 22 февраля 1949 г. состоялся объединенный пленум Ленинградского обкома и горкома партии, на котором Г.М. Маленков сделал сообщение о постановлении ЦК ВКП(б) от 15 февраля 1949 г. Никто из выступавших не привел каких-либо фактов суще-

ствования антипартийной группы, но П.С. Попков и Я.Ф. Капустин признали, что их деятельность носила антипартийный характер. К удивлению присутствующих, на пленуме Маленков предлагает выдвинуть первым секретарем обкома кандидатуру из своих, «ленинградцев». Поскольку никто из зала не решился назвать кого-либо, Маленков предложил Андрианова, который в итоге и стал главой ЛГК.

На этом посту В.М. Андрианов выполнял главную задачу своего покровителя Берии — собирая компромат на руководителей города и области, «свалить» А.А. Кузнецова, который еще некоторое время контролировал органы госбезопасности. В потоке такого рода «материалов», постоянно поступающих от Берии на стол И.В. Сталина, последней каплей явилось обвинение Кузнецова в раздувании своего культа, главным «доказательством» которого стал большой, во весь рост, портрет Кузнецова, выставленный в Смольном в начале марта 1949 г.

Кузнецова отстранили от работы в оргбюро ЦК ВКП(б), но отец еще раз попытался спасти его от неминуемой гибели, назначив первым секретарем дальневосточного бюро ЦК (в итоге не сформированного). Но вместо того, чтобы сразу же уехать на Дальний Восток, Кузнецов остался в Москве и продолжал доказывать свою невиновность. В итоге уже в октябре 1949 г. его арестовали. Важно отметить, что Маленков был единственным членом Политбюро, который голосовал против осуждения А.А. Кузнецова.

М. Б. То есть с этого момента судьба Кузнецова была предрешена, несмотря на провозглашенное в 1947 г. в СССР отсутствие смертной казни?

А. М. Многие обстоятельства «ленинградского дела» до сих пор невозможно объяснить. Например, Вознесенский, Кузнецов и Капустин не были исключены из партии, что отмечено при их повторной реабилитации в 1989 г. Случай для репрессивной практики тех лет беспрецедентный. По данным, которые приводятся в открытых источниках, существует три документа, касающихся расстрела представителей ленинградской партийной верхушки. В одном акте зафиксирован сам факт расстрела Николая Вознесенского, Алексея Кузнецова, Михаила Родионова, Петра Попкова, Якова Капустина, Петра Лазутина, и в этом акте указано время — 1 октября 1950 г. в два часа ночи, но место расстрела в документе не приведено. Документально зафиксированы факт и место сожжения личных вещей этих людей — в котельной внутренней тюрьмы госбезопасности, — но теперь без указания времени. Третий документ — акт о погребении — содержит информацию о том, что расстрелянные были закопаны в четыре часа ночи в яме спецобъекта МГБ — каком, не указано, почему-то считается, что это Левашовское кладбище Ленинграда.

По поводу судьбы Вознесенского, кстати, отец придерживался той точки зрения, что его не расстреляли. Видимо, Сталин не дал санкции на уничтожение ценного специалиста и организатора, но многочис-

ленные враги Николая Алексеевича — человека весьма своеобразного и конфликтного — нашли способ уничтожить его иначе. По информации, которая была в распоряжении Георгия Максимилиановича, бывшего председателя Госплана отправили в место заключения зимой без теплой одежды. В дороге он, по информации из МГБ, «на смерть замерз». Несколько позже Сталин спросил: «Вознесенский отправлен на Урал? Позаботьтесь, чтобы ему дали хорошую работу», и, узнав от Маленкова, как именно тот погиб, был неприятно удивлен.

Кстати, после устранения Кузнецова пост начальника управления партийных кадров занял Н. С. Хрущев. Позже, в 1952 г., выступая на XIX съезде, он как о большом достижении говорил о какой-то «чистке», недавно проведенной в руководстве партии и правительства. Но ведь кроме расправы с Вознесенским, Кузнецовым и другими «ленинградцами» никаких «чисток» в верхнем эшелоне власти тогда не было...

М. Б. Насколько я помню, «ленинградское дело» было последним важным делом МГБ под руководством Абакумова?

А. М. Не вдаваясь в подробности, напомним, что и в случае с Абакумовым, как и в случае с Ежовым, именно Маленков (в мае 1951 г.) доложил Сталину об огромных злоупотреблениях 9-го управления МГБ (оно занималось материальным обеспечением и безопасностью партийно-государственной элиты). Узнав, какое количество икры, севрюжатины и прочих деликатесов

съедалось будто бы членами Политбюро, ЦК и правительства, а на самом деле разворачивалось, Сталин пришел в страшный гнев, и чистка авгиевых, точнее, абакумовских «конюшен» началась. Абакумов был арестован со странной формулировкой как глава «сионистского заговора», и на посту руководителя МГБ его сменил заведомо ЦК Семен Денисович Игнатъев, назначения которого на этот важнейший пост добился именно Маленков. Конечно, при перманентной кадровой перетряске в МГБ Игнатъев был не в силах внести существенные перемены в работу репрессивной машины (а о том, насколько страшен был ее механизм, красноречиво свидетельствует — со слов самого Игнатъева — такой факт, что тогда в стране было около 10 миллионов осведомителей — как платных, так и добровольных!).

И еще при жизни Сталина Игнатъев по заданию Маленкова начал ревизию «ленинградского дела» и «дела работников Госплана». Таким образом, схватка отца с Берией становилась неизбежной.

М.Б. А что Георгий Максимилианович рассказывал про самый засекреченный до сих пор XIX съезд?

А.М. 5 октября 1952 г., впервые после 13-летнего перерыва, в Москве собрался XIX съезд ВКП(б). Он проходил в зале заседаний Верховного Совета СССР. Численность партии к этому времени составляла около шести миллионов человек. На съезд приехало 1359 делегатов, были приглашены делегации ком-

мунистических партий социалистических стран. Основной доклад на съезде делал Маленков. Это был знак — так Георгия Максимилиановича представили делегатам как официального преемника Сталина. Об укреплении позиций Маленкова свидетельствовало и то, что к тому времени он получил право подписи некоторых документов вместо Сталина. Это было необходимо, поскольку здоровье вождя явно ухудшалось, и он все реже бывал на рабочем месте.

М.Б. И как же повели себя «товарищи по партии»? Вряд ли сильно обрадовались успеху своего коллеги?

А.М. Берия, Молотов, Каганович, Ворошилов и Микоян к тому времени потеряли доверие Сталина и в канун съезда находились, по существу, в опале. Возможно, они даже попытались объединиться для противодействия набиравшему силу Маленкову. Но отец не стремился к внутривнутрипартийной борьбе — его доклад на съезде был сделан в характерном «маленковском» стиле: не искать шпионов и вредителей, якобы виновных в наших неудачах, а направить энергию народа на созидание, сосредоточиться на повышении культуры производства, прежде всего технологической, увеличить выпуск товаров народного потребления, установить нормальные отношения с другими государствами.

Но вот на трибуне съезда — Л.П. Берия. Не называя фамилии Маленкова, он подверг яростной критике ряд положений основного доклада,

грозя всеми карами тем, кто недооценивает опасности шпионажа и вредительства, обвинил таких людей в пособничестве мировому империализму. О новом Уставе партии рассказывал Н. С. Хрущев. И прямо в проект Устава он постарался внести дух шпиономании и нетерпимости к любым совершенным или даже предполагаемым промахам коммунистов. Объективно говоря, тут Берия получил поддержку. И недаром позже, накануне XX съезда, по распоряжению Хрущева его собственный доклад на XIX съезде был изъят из всех библиотек. Кстати, даже в кратком заключительном выступлении Сталина поддержки линии Берии на раздувание шпиономании не найти. По сути, вождь поддержал линию Маленкова.

Однако после съезда Берия попытался выиграть бой на Пленуме ЦК, который проходил два дня спустя после закрытия съезда. Прежде всего — на выборах в Политбюро. Но и здесь прошло предложение Маленкова о расширении Политбюро (с переименованием его в Президиум ЦК) до 25 человек. При этом Георгию Максимилиановичу удалось провести в Президиум десять своих сторонников (М. Г. Первухин, В. А. Малышев, А. Б. Аристов, С. Д. Игнатьев, В. В. Кузнецов, О. В. Куусинен, Л. Г. Мельников, Н. А. Михайлов, П. К. Пономаренко, М. З. Сабуров). В секретариате ЦК, а также среди кандидатов в члены Президиума большинство и вовсе составили выдвиженцы Маленкова (А. Н. Косыгин, Н. С. Патолитчев, Н. М. Пегов, А. М. Пузанов, И. Ф. Тевосян, П. Ф. Юдин, Д. И. Чесноков). Как показали по-

следующие события, важным успехом отца оказалось избрание кандидатом в члены ЦК маршала Г. К. Жукова (непримиримый враг Берии, он был тогда в опале, но оставался непререкаемым авторитетом среди военных и пользовался любовью народа). Кроме того, С. Д. Игнатьев, став членом Президиума ЦК, продолжал руководить МГБ.

Но и Берия имел серьезные позиции в Президиуме. Он имел влияние на Хрущева и Булганина, которого позже, в марте 1953 г., «поставит» министром обороны. Также Лаврентий Павлович мог рассчитывать на полную поддержку таких одиозных персонажей, как В. М. Андрианов, М. Ф. Шкирятов, А. Я. Вышинский, М. Д. Багиров.

**М. Б. А как же остальные масти-
тые члены Политбюро? Молотов,
Каганович?**

А. М. Старые соратники Сталина, в определенной степени тяготевшие к Берии, не могли оказать ему сколько-нибудь значительной поддержки. Они утратили к тому времени доверие Сталина и, кроме того, боялись после его смерти оказаться во власти Лаврентия Павловича. Ведь тот, несмотря на усиление позиций Маленкова, имел определяющее влияние в органах госбезопасности. И, само собой, располагал огромной властью над жизнью каждого гражданина СССР, не исключая руководителей высшего звена. Служба, которую курировал Берия, пронизывала все поры государства. У нас самих на квартире, например, постоянно дежурил кто-то из охраны, подчиненной непосредственно

Берии. Все телефоны полностью прослушивались. Не только отец и мать, но и мы, дети, не могли выйти из дома без сопровождения офицера из органов.

М.Б. Возникает естественный вопрос: почему все-таки Сталин увидел своего преемника именно в Маленкове, а не в ком-то другом?

А.М. Я долго размышлял над этим вопросом. Вот мой ответ, к которому я пришел в 1992 г., во время работы над первой книгой об отце. В рамках доктрины о построении социализма в одной отдельно взятой стране Сталин руководствовался категориями державы, видя при этом свою историческую роль в веках. На эту фундаментальную особенность мышления Сталина отец мог надежно опереться, стремясь осуществлять свои идеи, направленные на пользу государства. Так, выдвигая обвинение против Ежова, отец провозгласил единственно возможный в ту пору тезис: «Враги народа уничтожают преданные партии и народу кадры, называя их врагами народа», — тем самым остановил обороты репрессивной машины и способствовал освобождению тысяч невинно осужденных. Сбивая волну шпиономании и борясь с драконовскими законами формальной дисциплины предвоенных лет, отец заменил тезис об «ужесточении дисциплины» тезисом об «усилении технологической дисциплины». Инициированную Ждановым после войны «борьбу с космополитизмом» Георгий Максимилианович попытался направить в русло изучения достижений русской науки и культуры. Планы преобразования

природы переключил на создание полезных лесозащитных полос и внедрение системы Докучаева в землепользование. Под лозунгом «партийного контроля над репрессивными органами» ему многократно удавалось переиграть Берию, убирать его кровавых подручных, освобождать из-под следствия и из лагерей многих людей.

М.Б. И Сталин все это допускал?

А.М. Вождь многократно убеждался, что Маленков не только умело осуществляет руководство промышленностью, обеспечивает решение труднейших задач, но и подбирает действительно деловых, способных людей.

Видел Сталин и то, что именно выдвигенцы Маленкова тянут, по сути, весь воз непомерной работы. С другой стороны, он был уверен в личной преданности ему Маленкова, в его порядочности. Началом этому доверию послужило дело Ежова, когда Маленков рисковал головой, устраняя угрозу заговора, опасного уже и для Сталина. К тому же Сталин знал, что Маленкова, с одной стороны, и Молотова, Кагановича, Ворошилова, Микояна, Андреева, Хрущева, не говоря уже о Берии, — с другой, разделяет полная человеческая несовместимость.

Но для того чтобы сохранить доверие Сталина, крайне подозрительного человека, не вызвать его зависти, отцу приходилось постоянно подчинять свое поведение строжайшему самоконтролю и самодисциплине. Именно это предельное самообладание и создало

у окружающих впечатление об отце как о незаметном человеке, позволило ему скрыть яркие стороны своей разносторонней натуры, не вызвать у Сталина зависти.

Важно отметить, что личная власть Сталина строилась на балансе трех сил: партократии, репрессивных органов и технократов, осуществлявших реальное руководство хозяйством. Технократов с 1939 г. неизменно представлял Маленков. Опираясь на своих выдвиненцев в хозяйственных сферах, он имел влияние и в партийном аппарате. С репрессивными же органами отец вел постоянную борьбу, не допуская, чтобы они встали над партией, к чему эта «система», используемая Сталиным и для укрепления своей личной власти, неизменно стремилась. Но такие поползновения органов представляли опасность и для вождя. Поэтому он во многих случаях и поддерживал Маленкова против Берии, но не давал, однако, первому одержать решающую победу над вторым, ибо Сталин предпочитал баланс сил. Но чем больше вождь старел, тем больше полагался он на Маленкова.

М. Б. Но ведь Берия — о чем сейчас пишут буквально на каждом столбе — тоже был прекрасным организатором.

А. М. Да. И Сталин, естественно, это использовал — именно Берии было поручено руководить «атомным проектом». И первое в СССР испытание атомной бомбы 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне было его заслугой. Сталин также прекрасно понимал, что

прочного союза между Берией и его старыми сподвижниками не будет. Но конкретно в борьбе с Маленковым Берия точно не мог рассчитывать на поддержку Сталина. Поэтому Лаврентий Павлович решает создать почву для возможности устранения обоих первых лиц государства. С этой целью он раздувает «дело врачей», придавая ему злоеущую истерическую окраску и размах. Расчет был прост: используя обвинение кремлевских медиков в умышленно неправильном лечении и отравлении представителей высшей власти, можно безопасно убрать всех, кого нужно, включая и Маленкова, и Сталина, используя «медицинские методы». Ведь после «дела врачей» легко будет свалить вину за эти убийства на кремлевских медиков.

Отец, как я знаю, сразу же понял смысл этой кампании, но для подзрительного Сталина необходимы были конкретные доказательства чьей-либо вины. И уже через месяц Игнатьев докладывает Георгию Максимилиановичу, что у него есть данные, раскрывающие истинный замысел «дела врачей». Маленков и Игнатьев передали эту информацию Сталину, и тот в ответ произнес не оставляющую сомнений фразу: «В этом деле ищите Большого мингрела».

М. Б. Тем не менее «Большой мингрел», похоже, все-таки выполнил задуманное, хотя и частично... Кстати, рассказал ли вам Георгий Максимилианович, как умирал Сталин? Он ведь, насколько я понимаю, присутствовал при последних минутах жизни вождя?

А.М. Да, рассказывал, у меня сохранилась запись: «Я, Молотов, Берия, Микоян, Ворошилов, Каганович прибыли на Ближнюю дачу Сталина. Он был парализован, не говорил, мог двигать только кистью одной руки. Слабые зовущие движения кисти руки. К Сталину подходит Молотов. Сталин делает знак — “отойди”. Подходит Берия. Опять знак — “отойди”. Подходит Микоян — “отойди”. Потом подхожу я. Сталин удерживает мою руку, не отпуская. Через несколько минут он умирает, не сказав ни слова, только беззвучно шевеля губами...» И на первом же Пленуме ЦК, состоявшемся после смерти вождя (6 марта), отца назначили председателем Совета министров и секретарем ЦК — т.е. на должность, которую занимал Сталин... В марте же 1953 г. было принято решение об образовании канцелярии Президиума ЦК КПСС, заведовать которой было поручено уже упоминавшемуся Д. Суханову, с подчинением канцелярии председателю Президиума ЦК КПСС и Совмина СССР Маленкову. Это был большой кадровый успех.

М.Б. Но как показали уже события июня 1953 г., борьба за власть в верхушке КПСС вовсе не затихла?

А.М. Отец рассказывал, что за неделю до ареста Берии Хрущев и Булганин пришли к нему и сказали: «Он нас вербует. Что нам делать?» Отец ответил: «Хорошо, что вы пришли. Действуйте так, как будто ничего не произошло». Это дословная запись рассказа отца. Кстати, «добровольное признание» Хрущева сыг-

рало свою роль в том, что Маленков после этого стал в известной степени доверять ему. И именно поэтому действия Никиты Сергеевича с 1955 г. и далее отец воспринял как вероломство. Разумеется, переход Хрущева и Булганина в критический момент на сторону Маленкова упростил нейтрализацию угрозы, исходившей от Берии. Например, это обстоятельство позволило военным в день ареста въехать в Кремль на машинах Булганина, что не вызвало у охраны, подчиненной Берии, никаких подозрений (они-то, очевидно, были уверены, что этот кортеж вызван лично Лаврентием Павловичем).

Следует отметить, что Молотов и Каганович при первом голосовании были против ареста «Большого мингрела». На заседании Президиума Совмина, которое проходило в тот день в кабинете отца, Берия держался крайне самоуверенно. Когда Хрущев вышел из кабинета на шум в приемной, на лице Лаврентия Павловича мелькнула удовлетворенная ухмылочка. И даже в тот момент, когда в кабинет вошли сначала адъютант Булганина Юферов и генерал Москаленко, близкие Хрущеву, Берия продолжал ухмыляться. Он понял, что попал в западню, лишь тогда, когда увидел в кабинете маршала Жукова с пистолетом в руке. Прозвучал властный голос Георгия Константиновича: «Берия, ты арестован!» Отец рассказывал: психологический удар был для Берии настолько неожиданным, что, при всей своей находчивости, быстроте реакции и способности драться до конца, он не закричал, не бросился на Жукова, не предпринял

никаких действий — буквально «впал в ступор». И многие члены Президиума не на шутку испугались, когда увидели военных с пистолетами. «Тут, — вспоминал отец, — я сказал: “Ты, Лаврентий, хотел совершить государственный переворот? Это просто смешно!”»

М. Б. Никита Сергеевич Хрущев любил рассказывать эту историю не так.

А. М. У меня нет ни малейших сомнений в достоверности того, как мой отец описывал происшедшее в тот день. Все детали ареста, которые ныне обнародованы, и даже подробности, сообщенные лично Н. С. Хрущевым, могут быть объяснены без каких-либо противоречий, если принять именно версию отца. Обратите внимание хотя бы на такой странный факт: с какой, например, стати Хрущев с удивительной настойчивостью повторял свой рассказ в местах, вроде бы совсем для этого не подходящих, например, на встрече руководителей компартий в 1958 г.? С точки зрения психологии похоже, что Хрущев стремился убедить не только других, но и самого себя в своей якобы решающей роли в аресте Берии.

М. Б. Видимо, Никита Сергеевич так сильно боялся Лаврентия Павловича, что и через 5 лет после его устранения не мог успокоиться.

А. М. Лаврентий Павлович был крайне опасен. Расскажу вам один эпизод со слов моего близкого друга Георгия Михайловича Элбакидзе, который был знаком с гувернанткой детей Берии в бытность его

первым секретарем ЦК Грузии. Однажды Берия предложил ей встать к стене и... обстрелял из пистолета круг вокруг ее головы.

Вместе с тем я не могу не признать, что Берия, безусловно, был выдающимся организатором, чрезвычайно энергичным и целеустремленным человеком. Наша страна, да и весь мир обязаны ему своевременным завершением в СССР атомного проекта. Ведь именно обладание нашей страной атомной бомбой и средствами ее доставки — межконтинентальными ракетами — сделало невозможным реализацию американского плана «Дропшот» и вообще вот уже более полувека сохраняет на Земле пусть хрупкий, но мир, без большой войны. Созданием ядерно-ракетного щита руководили два человека — Берия и Маленков. Во многом вынужденно они работали рука об руку в этом важнейшем послевоенном проекте.

И пусть характер и стиль взаимоотношения с людьми у отца и Берии были совсем разными, но делали они общее дело. Я уже рассказывал, как Маленков и Берия вместе арестовали Ежова, как втроем вместе с Молотовым пришли к Сталину в страшную первую неделю Великой Отечественной войны с идеей создания ГКО. А создание такого «центра управления» позволило в те критические дни быстро организовать нашу оборону и во многом определило дальнейший ход войны.

Берия был и реалистично мыслящим политиком. В частности, и Маленков, и Берия полагали, что надо

добиваться образования единой и нейтральной Германии, по аналогии с Австрией... Берия явно признавал превосходство Сталина и был готов ему подчиняться, по крайней мере до тех пор, пока полагал, что Сталин ценит его и доверяет ему. Но мне кажется безусловным, что Берия полагал себя выше и способнее всех соратников Сталина, включая и Маленкова, в котором он, естественно, видел главного соперника.

М.Б. Но из ваших слов следует, что Лаврентий Павлович все-таки решился на государственный переворот и на арест как минимум председателя Совета министров СССР Маленкова.

А.М. Чем больше я думаю над этим вопросом, тем более склоняюсь к мысли, что в основе такого поведения Берии, которое и привело его к гибели, лежит точно нацеленная интрига Н.С. Хрущева. Стремясь к власти, Хрущев понимал, что ему необходимо устранить двух значительно более способных и влиятельных людей — Маленкова и Берия. Начать с Берии было логично — можно было использовать его болезненную подозрительность и, главное, естественный страх перед Берией со стороны других членов руководства страны. Сложившееся при близком с ним общении представление о Хрущеве как о простоватом, не слишком развитом человеке было ошибочно и привело в том числе и меня к явной недооценке его дарования в плетении «придворных интриг» — а в итоге их жертвой пали все члены сталинского Политбюро

ЦК, за исключением разве что Микояна.

М.Б. Но ведь ваш отец все-таки сумел какое-то время пробыть «у руля» страны?

А.М. В 1990 г. на международном симпозиуме, организованном Ассоциацией за мир и экологию», я слушал доклад известного американского специалиста в области земледелия по фамилии Грант. Само собой, как-то внутренне напрягся, когда он перешел к сельским проблемам Советского Союза. И вот вдруг слышу: «В России в XX веке только три раза было сделано хорошо крестьянину, а, следовательно, земле — это реформа Столыпина, НЭП и реформы Маленкова...» И это сказал не какой-то дилетант, а свободный от всех конъюнктурных соображений историк мирового земельного дела. Уже в конце советской власти отдельные авторы давали объективную оценку государственной деятельности Г.М. Маленкова. Например, в документальной повести Юлиана Семенова «Тайна Кутузовского проспекта» сказано: «Процесс раскрепощения, начатый Маленковым на августовской сессии Верховного Совета пятьдесят третьего года, когда он снял с крепостных колхозников налоги, необратим... Эта речь сделала Георгия Максимилиановича самой популярной фигурой в стране». К сожалению, Хрущев, а за ним и Брежнев повернули реформы отца вспять.

Но люди все помнили и достаточно долго, напомним народную пословицу той поры: «Пришел Маленков — поели блинков!» А в селах Армении

шутили примерно так: «Послушай десять моих баранов и двух коров — они молятся за тебя, Маленков...» Но прежде, чем перейти к рассказу о реформах Маленкова, приведу интересное свидетельство. Федор Бурлацкий, соратник и сторонник Хрущева, присутствовавший на совещании по вопросам кадровой политики в ЦК КПСС в ноябре 1953 г., рассказывает о резком выступлении Г. М. Маленкова против коррупции и морально-бытового разложения в тогдашнем партаппарате. После его доклада в зале, где как раз и сидели главные партаппаратчики, «стояла гробовая тишина», «недоумение было перемешано с растерянностью, растерянность со страхом, страх с возмущением». И тогда из президиума раздался голос Хрущева: «Все, конечно, верно, Георгий Максимилианович. Но аппарат — это наша опора». И зал взорвался восторженными аплодисментами.

Итак — о реформах. Как только с Берией было покончено, Г. М. Маленков немедленно отменил налоги на все личное крестьянское имущество (от яблонь до коров, птицы и т. д.). Как известно, эти налоги...

М. Б. Которые Сталин незадолго до своей смерти предлагал чуть ли не удвоить.

А. М. ...доводили наше крестьянство до полного разорения, заставляя его тайком резать скот, птицу, вырубать плодовые деревья и кусты. Отмена этого поистине разрушительного налога сопровождалась разрешением увеличить приусадебные участки в пять раз. И такая передача

15 % земли в частное пользование крестьянину буквально на следующий, 1954 г., дала стране столько сельхозпродукции (в том числе и животноводческой), что весь наш народ стал питаться заметно лучше. Далее Маленков предлагал передать крестьянам на добровольных началах земли нерентабельных колхозов и совхозов (то, что сегодня именуется приватизацией) и планировал в дальнейшем создание фермерских хозяйств.

Но все это было только частью тех преобразований, которые хотел провести Маленков. Он понимал, что крестьянская реформа не может быть осуществлена без решительного перераспределения средств, вкладываемых в тяжелую индустрию, в пользу легкой и пищевой промышленности. Первые же действия отца в этом направлении привели к росту выпуска товаров народного потребления, которые пошли не только в город, но и в деревню, удовлетворяя ее запросы. Словом, Маленков начал ломать диспропорцию, сложившуюся в стране за предыдущие годы, когда наша промышленность была нацелена на производство вооружения и средств производства, а не на реальные потребности населения. Одновременно с этими мерами отец поставил в повестку дня правительства проблему социального обеспечения. Он был уверен, что с насыщением советского рынка товарами и укреплением рубля у государства найдутся средства и для того, чтобы, например, значительно повысить те нищенские нормы, которые существовали тогда в сфере пенсионного обеспечения. Этой

же задаче, по мысли Маленкова, способствовало бы и постоянное понижение розничных цен в торговле.

Но для осуществления таких реформ необходимо было выполнение двух условий: мирного сосуществования двух систем (кстати, термин «сосуществование» впервые был введен у нас в политический оборот именно Г.М. Маленковым) и возрождения социальной активности народа.

Напомню, что в 1953 г. наша страна фактически активно участвовала в кровопролитной корейской войне, что создавало крайне напряженную международную обстановку, чреватую атомной катастрофой. Это было особенно важно с приходом к власти в США нового президента Д. Эйзенхауэра, который был готов применить в Корее атомное оружие. Понимая, что в случае атомного удара цивилизация на Земле будет просто-напросто уничтожена, Маленков сразу же после смерти Сталина через английского посла (минуя министров иностранных дел СССР В.М. Молотова и А.Я. Вышинского) обратился к своему старому знакомому Уинстону Черчиллю с предложением, чтобы тот выступил посредником между воюющими сторонами.

М. Б. Удивительное знакомство...

А.М. Черчилль контактировал с Маленковым в годы Второй мировой войны, и у них сложились вполне уважительные отношения. Благодаря этому в Корее вскоре удалось заключить перемирие, а затем

и мир. Эти события, в свою очередь, помогли нормализовать отношения с США и укрепить дружеские связи с Китаем. В том же 1953 г. по инициативе Маленкова было принято решение об оказании помощи народному Китаю в проведении индустриализации.

Еще одним важным моментом была выдвинутая отцом идея о воссоединении Германии. По тем временам мысль, с точки зрения ортодоксально мыслящих политиков, чудовищная. Но ее реализация, как рассчитывал Георгий Максимилианович, должна была, во-первых, ликвидировать опаснейший очаг напряженности в центре Европы, а во-вторых, сделать единую Германию нашим союзником в сдерживании гегемонистских устремлений США на Европейском континенте. На встрече с избирателями 12 марта 1954 г. Г.М. Маленков заявил, что холодную войну неверно было бы рассматривать как некую альтернативу войне «горячей», «новой мировой войне», ибо одна готовит другую, а та, эта самая бойня, «при современных средствах войны означает гибель мировой цивилизации». Интересно, что к схожему выводу тогда же пришли два всемирно известных ученых — физик Альберт Эйнштейн и философ Бертран Рассел. А вот в Президиуме ЦК КПСС год спустя Маленкову устроили за это настоящую выволочку.

Георгий Максимилианович хорошо понимал и то, что одними только хозяйственными реформами «сверху» преодолеть в людях психологию «винтика», насаждавшуюся всю предыдущую эпоху, будет

непросто. Потому надо было как-то включать в процесс творческую интеллигенцию... По его настоянию в Музее изобразительных искусств на Волхонке неожиданно для всех были выставлены для всеобщего обозрения картины импрессионистов, долгие годы пролежавшие в запасниках. Общественный резонанс этой акции был весьма значим: если выставляют преданных ранее проклятию «буржуазных импрессионистов», значит, в искусстве не может далее существовать монополия соцреализма. С 1 сентября 1953 г. по инициативе отца были отменены ночные дежурства в госучреждениях, обусловленные привычкой покойного Сталина звонить любому руководителю на работу посреди ночи. И уже в 1953 г. он попросил Г. М. Кржижановского собрать группу крупнейших специалистов во всех областях науки и прикладных знаний с тем, чтобы они в двух-трехмесячный срок изложили свои соображения о путях развития нашей страны. Кржижановский рекомендовал отцу тридцать ученых. Их тут же освободили от всей текущей работы, и через три месяца были готовы тридцать прогностических докладов, которые должны были лечь в основу преобразования СССР, в том числе (это всегда было коньком отца) и по линии освоения новейших технологий.

М. Б. Интересно было бы сейчас почитать эти доклады...

А. М. В 1957 г. они были конфискованы вместе с другим архивом Маленкова. Где эти бумаги теперь — неизвестно. Я уверен, что в этих рукописях нашлись бы и до-

казательные разоблачения Т. Д. Лысенко и лысенковщины, всегда, насколько я знаю, презираемой отцом и возносимой Н. С. Хрущевым. Не буду дальше утомлять читателя перечислением множества других инициатив отца, связанных, в частности, с развитием ракетной и космической техники, пассажирского реактивного самолетостроения. Но напомним о роли Г. М. Маленкова в полной реабилитации так называемых «врачей-убийц», а также в пересмотре «ленинградского дела» (позже и эти заслуги Маленкова были присвоены Хрущевым). Кстати, с одним из главных фигурантов этого дела — профессором В. Н. Виноградовым — мы дружили семьями и до его ареста, и после освобождения.

И вот теперь, когда читатель, надеюсь, получил хотя бы общее представление о реформах, начатых Г. М. Маленковым, я должен рассказать и о том, кем и как именно они были задуманы. В 1953 г., после падения Берии репрессивные органы были подчинены партии. Но стремительно набирая авторитет в стране и в мире, отец явно недооценил последствия усиления партаппарата во главе с Хрущевым и вскоре поплатился за это. И не только он сам, но и вся страна — ведь деятельность Хрущева привела к полной ликвидации прогрессивных реформ, начатых отцом, направленных на формирование практически рыночной экономики и цивилизованного государства. В конце января 1955 г. Маленков и его «партия» технократов потерпели поражение, и с этого момента почти на четыре десятилетия в нашей стране установилось

полное господство партократии. В этом, кстати сказать, состоит важное отличие режима Хрущева от режима Сталина, который, как я уже говорил, все-таки соблюдал баланс трех основных сил — партии, органов безопасности и «технократов». Поощряемая Хрущевым полнейшая бесконтрольность и ненаказуемость партократии создали все условия для ее разложения и растущей коррупции.

М. Б. Но как же конкретно происходило свертывание реформ Маленкова, какими лозунгами этот разгром прикрывался?

А. М. Ответ на этот вопрос мне почему-то хочется начать с незначительного, казалось бы, эпизода. Летом 1954 г. наша семья отдыхала в Крыму. Жили мы в Воронцовском дворце, в помещении, более приспособленном для музея, чем для проживания. Над входом в столовую висела огромная, в тяжелом багете, картина. И однажды, когда отец туда шел, она грохнулась в каких-то полутора метрах перед ним. Случайное происшествие, как мы тогда подумали, или... Не знаю. Хотя позже, уже после политической расправы над отцом, всякое стало приходиться в голову...

Хорошо помню, какую бодрость и энергию излучал отец в первые два года после смерти Сталина, когда начали осуществляться реформы. Целиком захваченный работой, уже безбоязненно раскрывая свой талант организатора, Георгий Максимилианович встречал, как ему тогда представлялось, со стороны Хрущева поддержку. Но именно

в это время идеолог «агротропов» Хрущев и «ортодокс» от сталинизма Молотов, донельзя уязвленные самостоятельностью и активностью отца, а также тем, что его деятельность все серьезнее расходилась с их догматическими установками, начинают готовить свой заговор против Маленкова. Уже в сентябре 1953 г. Пленум ЦК партии отклонил аграрную программу отца, назвав ее «популистской», восстановил должность первого секретаря ЦК КПСС и избрал на нее Н. С. Хрущева.

Это был первый тревожный сигнал, но отец не придавал ему должного значения. И вот 31 января 1955 г. в Москве состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором был рассмотрен «организационный вопрос о т. Маленкове». Готовился он заранее. Об этом любопытно почитать сборник документов Президиума ЦК КПСС. Черновые записи заседаний Политбюро велись главным образом заведующим общим отделом ЦК В. Н. Малиным — не на каждом заседании и не по всем обсуждавшимся вопросам. Но в нашем случае они помогают понять, как и каким кругом лиц принимались решения по поводу руководства страной в те дни.

22 января на предварительном обсуждении предстоящего Пленума разбирали вопрос об освобождении Г. М. Маленкова. Присутствовали Хрущев, Маленков, Булганин, Молотов, Каганович, Сабуров, Первухин, Микоян, Ворошилов, Сулов, Поспелов, Пономаренко, Шаталин, Шверник. Согласно стенографическим записям В. Н. Малина, Маленков «признает правильным

освобождение»: «не соответствую», «давно ищу выхода». Молотов упрекает его в отсутствии «ясной политической линии», «недозрелым» называет Каганович. Сабуров упрекает в том, что Маленков «поддался парламентской популярности». Ворошилов предлагает «освободить от поста Председателя. Оставить первым заместителем и членом Президиума». При обсуждении второй части этого вопроса — кем его заменить — Хрущев предлагает Булганина, а свою фамилию просит не называть. Но вопреки этому именно за его кандидатуру высказывается Молотов, поддержанный Ворошиловым. Маленков предлагает Хрущева в ЦК, а на пост председателя Совмина — Булганина. По сути, решение было принято на этом заседании.

Поистине зловещая подробность: выступления против отца, организованные временной коалицией Хрущева — Молотова и прозвучавшие на Пленуме, открыто опубликованы не были. Советскому народу сообщили лишь о том, что Г. М. Маленков освобожден от обязанностей председателя Совета министров СССР, но остался членом Президиума ЦК. Происшедшее на Пленуме скрыли от народа, по-моему, по той причине, что, расправляясь с отцом, Хрущеву и всем партаппаратчикам, крепко запомнившим резкое выступление Маленкова против них в 1953 г., не хотелось публично объяснять порочность реформ. Как растолковать тому же крестьянину, что понижение налогов и передача ему земли для инициативного хозяйствования — это плохо, а поворот общественного производства

на нужды трудящихся и решение донельзя запущенных вопросов соцобеспечения — тоже ошибка Маленкова?

М. Б. Но на Пленуме ЦК должна была вестись стенографическая запись.

А. М. Отец там выступал дважды. Первое его выступление не удовлетворило участников Пленума, и он вынужден был взять слово вторично. Признав все предъявленные ему обвинения, отец, однако, не дал политической оценки своим ошибкам. Это было сделано в специальном постановлении Пленума. Ни тогда, в 1955 г., ни много позже я так и не добился от отца каких-либо комментариев по поводу Пленума. Но в те зимние дни по Москве ходило много неясных слухов: ведь не каждый день и даже год снимают главу правительства. Говорили, например, что отца обвинили в «бухаринщине» и «рыковщине», в стремлении завоевать в народе «дешевую популярность», в том, что будто бы он вел какие-то закулисные «шашни» с Черчиллем... Хотелось бы хоть одним глазком заглянуть в донесения стукачей, наверняка собиравших всякие слухи и сплетни, а возможно, по чьему-то приказу и сеявших их в народе! Лишь в 2000-е, после публикации стенографических записей рабочих заседаний Президиума ЦК, нашлись подтверждения моим предположениям. Еще в преддверии Пленума на заседании экстренно обсуждались два проекта резолюции по Маленкову — как и за что снимать? Сошлись в одном: «Зам. председателя оставить и, может быть, министром электростанций».

Но после Пленума предстояло решить этот вопрос еще и в Верховном Совете СССР. 7 февраля Президиум ЦК в составе Хрущева, Маленкова, Кагановича, Молотова, Микояна, Булганина, Первухина, Ворошилова, Сабурова ломал голову: как преподнести эту отставку народным представителям? «т. Хрущев. Сказать, что не вышло (по делу). М.б., стоит ему сказать о с[ельском] х[озьяйстве]: “чувствую вину и ответственность”. т. Маленков. Я сделаю как надо. т. Каганович. Опыт доказал, что не справился. По с[ельскому] х[озьяйству] сказать и для рабочих что-то сказать. т. Молотов. Мы не уйдем от вопроса — почему ушел? Должны объяснить, сказать “недостаточен местный опыт, недостаточен опыт в х[озьяйстве], по с[ельскому] х[озьяйству]” <...> т. Первухин. Объяснить надо. т. Ворошилов. О форме заявления об отставке (кто-то должен сессии объяснить)...» 8 февраля 1955 г. вторая сессия Верховного Совета СССР 4-го созыва постановила: «Принять заявление тов. Маленкова Г.М. и освободить его от обязанностей Председателя Совета Министров СССР».

Следующим постановлением на ставшую вакантной должность назначался Николай Булганин. В своей речи на заседании Верховного Совета СССР первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, собственно и предложивший кандидатуру Булганина, называет его «крупным и талантливым организатором» и выражает уверенность в том, что «предложение о назначении товарища Булганина Председателем Совета Министров СССР получит единую поддержку и одобрение

всех депутатов Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик». Реакцией стали, как сообщила 9 февраля газета «Известия», «бурные продолжительные аплодисменты»... Хрущев и Молотов могли торжествовать! И если Никита Сергеевич «торжествовал» до октября 1964 г., когда партократия свалила и его по тем же самым правилам, по которым жил и он сам, то Молотову оставалось пребывать у власти всего ничего — лишь до июня 1957 г.

М.Б. Вы обещали рассказать о сотрудничестве с Китаем и роли в этом Маленкова...

А.М. В мае 1953 г., через два месяца после смерти Сталина, принимается серьезное решение об оказании помощи в индустриализации Китая, и это фактически стало началом периода «великой дружбы» между нашими странами, обычно датируемого 1953–1957 гг., что совпадает с годами первой пятилетки КНР, достаточно, кстати, успешной. Г.М. Маленков был убежденным сторонником и стратегического союза с КНР. В Пекине знали и высоко ценили такую позицию отца. Более того, доброе и уважительное отношение руководства Китая к Георгию Максимилиановичу сохранилось и после его снятия со всех постов и даже во время ссылки. Вот два любопытных эпизода. С 17 по 31 октября 1961 г. в Москве проходил XXII съезд КПСС. В первые дни работы съезда с его высокой трибуны лились злобные потоки брани в адрес «антипартийной группы» и особенно Маленкова. Создалось впечатление, что Н.С. Хрущев

решил окончательно разделаться с отцом. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, все «обличители» разом замолчали. Георгий Максимилианович объяснил мне на следующий день, что китайская делегация в полном составе покинула съезд, — вероятно перед этим они сделали категорическое заявление о полном несогласии с происходящим. Еще через несколько месяцев в Экибастуз, где отец, уже отправленный в ссылку, возглавлял тепловую электростанцию, прибыла китайская спортивная делегация, которая, как я думаю, на самом деле должна была проведать Маленкова и удостовериться, что тот жив и здоров. А когда Дэн Сяопин, автор «китайского экономического чуда», пришел к власти в конце 1970-х гг., он почти сразу же опубликовал доклад Маленкова 1941 г. на XVIII партийной конференции: «О задачах партийных организаций в области промышленности и транспорта», посвященный необходимости соблюдения технологической дисциплины.

Кстати, в 1996 г. уже я сам был в Китае — выполнял поручение тогдашнего секретаря Совета безопасности РФ генерала А. И. Лебеда по подготовке его официального визита в КНР. И вот сам премьер Госсовета КНР Ли Пэн (второй человек в стране) приехал со своей супругой прямо в номер гостиницы, где я тогда проживал. Ли Пэн на хорошем русском языке с большой теплотой вспоминал годы своего обучения в МЭИ, директором которого была моя мать В. А. Голубцова, и интересовался современным состоянием института.

Руководитель Китая рассказал мне, что в его стране хранят добрую память о Маленкове и с интересом изучают опыт проводимых им в свое время реформ. Когда я подарил гостям свою изданную в 1992 г. книгу «О моем отце Г. М. Маленкове», Ли Пэн сказал: «Ее надо обязательно перевести на китайский язык и издать большим тиражом». Это вскоре после визита и сделало агентство Синьхуа. Кстати, в Китае и сегодня можно встретить портреты двух советских вождей — Сталина и Маленкова.

М. Б. То есть главная заслуга Георгия Максимилиановича перед китайскими товарищами — помощь в индустриализации?

А. М. Я предполагаю, что не только. В биографии отца остается «белое пятно» — с мая 1947 по июль 1948 г. Историк Дмитрий Юрьев предположил, что «в этот год Маленков организовывал ни больше ни меньше, а победу китайских коммунистов над Гоминьданом», видимо, решая вопрос о поставках Народной армии Китая советского оружия. Увы, ни в российской, ни в китайской версии событий 1947–1948 гг. имя Маленкова в этой связи не упоминается. А историки не любят догадок. И еще один важный момент — Маленков, как я уже говорил, был инженером-электротехником — и весьма схожее образование имеют и два генеральных секретаря Коммунистической партии Китая — Цзян Цзэминь (1993–2003) и Ху Цзиньтао (2003–2013). Кстати, с электротехникой было связано и одно из последних значимых дел Георгия Максимилиановича — поездка в Великобританию весной 1956 г.

М. Б. Давайте теперь перенесемся из Китая в Великобританию, это неожиданно и интересно.

А. М. Если не считать неофициальных выездов в Югославию и Италию сразу после войны и короткого пребывания в Венгрии (впрочем, именно там он познакомился с тогдашним послом СССР в этой стране Ю. В. Андроповым, что сыграло впоследствии значительную роль даже и в моей судьбе), Маленков впервые отправился за границу с официальным визитом. Поскольку Георгий Максимилианович в тот момент был министром электростанций СССР, его сопровождала делегация советских энергетиков.

14 марта 1956 г. новейший реактивный Ту-104 приземлился в аэропорту Лондона. Поскольку это был первый международный полет реактивного пассажирского лайнера, английская пресса с юмором отмечала, что первые 2–3 дня Ту-104 был более популярен, чем Маленков. По замыслу советского руководства, в Англии Маленков должен был всего лишь «прощупать почву» для последующего официального визита Хрущева... Маленков же всемерно использовал визит для ознакомления с достижениями Великобритании в энергетике и энергетическом машиностроении и для налаживания рабочих отношений с лидерами английской промышленности.

Всю вторую половину марта Маленков провел в Великобритании. Делегация посетила Центр ядерных исследований в Харуэлле, предприятия «Дженерал электрик» в Бир-

мингеме, лабораторию высоких напряжений, машиностроительный завод. Во время этих посещений состоялись встречи с крупными предпринимателями, специалистами и рабочими. В английской прессе отмечалось свободное, непринужденное, доброжелательное отношение Маленкова к людям самого разного социального положения. И это произвело очень хорошее впечатление на британскую общественность. Были и официальные встречи в Виндзорском замке, итоговая пресс-конференция в советском посольстве. Маленков выступил перед английскими коллегами и журналистами. Понятно, что британские официальные лица и пресса пытались выяснить у отца и «скрытые планы Кремля».

Маленков, конечно, полностью разделял мнение о том, что главными геополитическими противниками СССР являются англосаксонские державы. Но это вовсе не означало, что не следует иметь контактов с руководством этих стран и их деловой элитой — вспомним историю с Черчиллем и войной в Корее. К тому же Георгия Максимилиановича интересовали противоречия между английскими и американскими промышленниками и финансистами. Отец хорошо знал и ценил английскую культуру, особенно литературу — среди авторов, произведения которых Георгий Максимилианович читал вслух в кругу семьи, были Шекспир и Роберт Бернс. Он очень хорошо знал и любил английские фильмы. Наконец, не случайно и мы с братом учились в английской спецшколе, в которой не только углубленно изучался английский

язык, но и история, география и литература Англии преподавались на английском.

Принимающая сторона в Великобритании учла этот культурный аспект. Советской делегации предложили программу, включавшую в себя прогулку на яхте по Темзе, осмотр достопримечательностей Лондона, Виндзорского замка, университетской библиотеки Оксфорда, поездки на родину Шекспира в Статфорд на Эйвоне и на родину Бернса в город Эр. Из той замечательной поездки у отца сохранился фотоальбом. Пожалуй, нигде больше вы не найдете столько фотографий улыбающегося Георгия Максимилиановича! Именно в этой поездке он чувствовал себя очень комфортно.

М. Б. Тут недалеко и до обвинения в шпионаже в пользу Англии, если мерить в категориях сталинского времени...

А. М. Когда 13 апреля Маленков докладывал о результатах визита на Президиуме ЦК, Хрущев сперва высказался: «Полезная поездка». И сразу же: «Отрицательный [момент] — долго задержался. В туристскую поездку превратилось. Навязали тебе много лишнего. Сказать об этом, надо сказать. Не раскусил их замысла. Привинчивание значков и конфетка — слащаво...» Ему вторит Булганин: «Согласен со сказанным т. Хрущевым. Увлёкся Бернсом». Последнее замечание, безусловно, относилось к опубликованному 28 марта в «Правде» сообщению, что, посетив родину Бернса, Георгий Максимилианович

сделал запись в книге посетителей местного музея: «Мы, советские люди, любим и чтим великого шотландского поэта Роберта Бернса». Но «оргвыводов» сразу не последовало. Впрочем, я не исключаю, что поездка отца в Англию укрепила его в намерении открытым и, насколько тогда было в нашей стране возможно, демократическим путем прервать все более проявлявшее себя стремление Хрущева к единоличной диктатуре. В тот момент опорой Никиты Сергеевича стал и репрессивный аппарат КГБ, его старый товарищ по работе на Украине Иван Серов.

М. Б. Похоже, в руководстве КПСС назревал новый конфликт?

А. М. Со временем очевидный авантюризм Хрущева, его стремление к диктатуре привели к прямому конфликту между ним и некоторыми высшими руководителями партии и правительства. Георгий Маленков на правах члена Президиума ЦК (насколько мне известно, без какой-либо предварительной договоренности со своими вчерашними политическими противниками Молотовым и Кагановичем) предложил освободить Хрущева от обязанностей генсека, оставив за ним какой-нибудь другой, менее ответственный пост. Это был последний шанс отца спасти главное дело своей жизни — реформаторский курс. Во вторник 18 июня 1957 г. в 14:00 на заседании Президиума Совета министров СССР, проходившем в Кремле, в кабинете Булганина, его участники — Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, В. М. Молотов, М. Г. Первухин и А. И. Микоян,

а также председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов — почти все члены Президиума ЦК КПСС — неожиданно решили это заседание не проводить, а вместо этого собрать Президиум ЦК. Формальным поводом для этого Молотов и Каганович назвали необходимость обсудить предстоящую поездку на 250-летие Ленинграда.

Замечание Микояна, что накануне, в субботу уже собирались по этому поводу, отклоняется. Булганин позвонил Хрущеву, и тот приехал. В 16:00 заседание Президиума ЦК началось. Маленков перебил начавшего вести заседание Хрущева: «Подожди, Никита Сергеевич. Я предлагаю, прежде чем приступить к вопросам, связанным с предстоящей нашей поездкой в Ленинград, обсудить вопрос о нарушении принципа коллективного руководства, о крупных ошибках и недостатках в твоей работе... Далее уже терпеть это совершенно невозможно...»

Учитывая, что речь пойдет о Хрущеве, Маленков предложил, чтобы ведение заседания на себя взял Булганин. Его поддержали Каганович и Молотов. Хрущев резонно возразил, что обсуждение подобных вопросов — это прерогатива Пленума ЦК. Но Маленков настоял на предварительном обсуждении вопроса на Президиуме.

После долгих препирательств голосованием шесть голосов против двух ведение заседания перешло к Булганину. После этого началось высказывание претензий к первому секретарю. Но Микоян и Жуков

заявили протест, Булганин уступил, и заседание перенесли на следующий день.

И 19 июня Маленков начал заседание с изложения претензий к работе Хрущева. Он говорил о грубых нарушениях в коллегиальности руководства, о создаваемом культе личности Хрущева, об опасном сплочении первого секретаря с руководителем КГБ, о несогласованных с высшим руководством страны необдуманных высказываниях, о непросчитанных и ничем не подкрепленных лозунгах «догнать и перегнать Америку» в отдельных отраслях хозяйства. Маленкова поддерживал Каганович, и в конце концов именно он предложил освободить Никиту Сергеевича от поста первого секретаря ЦК, поставив под сомнение и необходимость такого поста в целом... Критические замечания высказали Молотов, Булганин, Ворошилов.

М. Б. Лазарь Моисеевич когда-то привел Хрущева в Москву, и он же его предлагает снять — прямо-таки гоголевский сюжет. Но партаппарат, как все мы теперь знаем, не отдал Хрущева «антипартийной группе Молотова — Кагановича — Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова».

А. М. Отчетливо помню, какой неясной тревогой в те июньские дни был наполнен наш дом. Мы решительно ни о чем не догадывались, но по каким-то нюансам в поведении отца видели: он хоть и держится, но нервы у него на пределе. Однажды случайно услышал, как Георгий Максимилианович властно сказал кому-то

по телефону: «Николай, держись. Будь мужчиной. Не отступай...» Как потом стало ясно, разговаривал отец с Булганиным, который должен был опубликовать в «Правде» решение Президиума о снятии Хрущева. Увы, «Николай» уже «отступал» под бешеным напором сторонников Никиты Сергеевича.

Пленум ЦК обсуждал вопрос об «антипартийной группе» семь дней — прошло 12 заседаний. «Ответчиками» на них уже предстали инициаторы заседания Президиума ЦК 18 июня, но выслушивать их никто не собирался. Материалы опубликованы. Подсчитано, что выступление Маленкова прерывалось выкриками с мест и репликами 115 раз, Кагановича — 117 раз, Булганина — 129, а выступление Молотова — целых 313 раз. В итоге Хрущев и его сторонники разгромили своих оппонентов, и 29 июня 1957 г. Георгий Маленков в числе прочих участников «антипартийной группы» был освобожден от всех занимаемых постов.

В оценке тех июньских событий в нашей семье не было никаких разногласий. Мы были убеждены, что страну, попавшую в руки Хрущева, ждут впереди бедствия, и гордились мужеством отца, который открыто выступил против этого малообразованного, нахрапистого политика. Не скажу, что расставание с «номенклатурными привилегиями» далось нашей семье тяжело — в течение недели мы освободили квартиру и госдачу, правда, многое из вещей пришлось раздать, в том числе и великолепную родительскую библиотеку, насчитывающую более 10 тысяч томов.

Неожиданно выяснилось, что у меня с братом Егором нет никакой прописки в паспорте, а стало быть, при той «опеке», которой с самого начала окружил нашу семью Никита Сергеевич, меня и брата могут выселить из Москвы «за нарушение паспортного режима». Тогда-то отец позвонил при мне Л. И. Брежневу — в тот момент будущий «дорогой Леонид Ильич» был секретарем ЦК по оборонной промышленности и был только что переведен из кандидатов в члены Президиума ЦК КПСС — и сказал: «Леонид, я никуда не поеду, пока не дадут прописку моим сыновьям». Нас прописали.

Кстати, едва ли не в тот самый день, когда в наших паспортах появились необходимые штампы, отцу позвонил ректор МГУ беспартийный академик Иван Георгиевич Петровский и сказал: «Я знаю, что ваши сыновья учатся в университете, если им нужно общежитие, я его немедленно предоставляю». Это было по-настоящему трогательно и мужественно... И вот таких знаков уважения и сочувствия к отцу — открытых и тайных, но очень понятных — в те дни было немало. Это укрепляло нашу надежду на то, что, несмотря на ненависть Хрущева к отцу, он все же не решится на вполне возможную, как мы считали, физическую расправу с ним.

М. Б. Похоже, конкретно к Маленкову у Никиты Сергеевича был особый счет?

А. М. В 1958 г. отца вызвали в Москву, в комитет партийного контроля (КПК). Ему предъявили обвинения как по «белорусскому»

и «чувашскому» делам, относящимся еще к 30-м гг., так и по «ленинградскому делу». Следователи из КПК, словно бы запямятовав о докладе Маленкова, нанесли первый удар по ежовской террористической вакханалии, попытались представить отца чуть ли не пособником кровавого главаря НКВД. По словам Георгия Максимилиановича, в дни допросов в КПК он не раз слышал разгневанный голос Хрущева, доносившийся из соседней комнаты. Тому было от чего гневаться: отец спокойно, обстоятельно, ссылаясь, помимо доклада, на ряд других документов, которые он хорошо помнил, рассказывал о том, как все было на самом деле в истории ниспровержения Ежова, и сфабрикованные «факты» один за другим рушились. В конце концов, так и не сумев выполнить задания генсека, незадачливые следователи вынуждены были отпустить отца «по месту жительства». Естественно, никаких объяснений и извинений не последовало, хотя мытарили отца в КПК около месяца. Впрочем, ни в том, ни в другом Георгий Максимилианович не нуждался. Особенно — в объяснениях.

Было очевидно, что из всей «антипартийной группы» для Хрущева опасным оставался только он. Опасным прежде всего потому, что народ еще слишком хорошо помнил о начатых Маленковым реформах. К тому же ссылка не сломила Маленкова — он остался активным, деятельным человеком, вызывающим к себе симпатию и уважение.

М. Б. Как именно складывалась судьба Георгия Максимилианови-

ча Маленкова в практически родном для его деда «Джагора» Казахстане?

А. М. 8 июля 1957 г. отец получил назначение на самый восток Казахстана, директором Усть-Каменогорской ГЭС. Мать последовала за ним, и все одиннадцать лет пребывания в Казахстане они были вместе. Мы, дети, остались в Москве, но по два-три раза в год приезжали к родителям и оставались там, сколько было возможно.

Позже я узнал, что по пути в Усть-Каменогорск на вокзалы, где оставался поезд с Маленковым, приходило много людей. Особенно тепло приветствовали отца в Челябинске. Такая же встреча готовилась и в Усть-Каменогорске. Узнав об этом, разгневанный Хрущев распорядился отцепить от состава вагон, в котором были родители, за сорок километров от Усть-Каменогорска, посадить их в машину и, не заезжая в город, увезти в маленький поселок Аблакетка, где расположена ГЭС.

М. Б. В Википедии говорится, что в 1961 г. Маленков вышел на пенсию — так ли это?

А. М. В своей книге я подробно рассказываю об успешной работе отца в качестве руководителя Усть-Каменогорской ГЭС, о его огромном авторитете среди работников станции, что, естественно, никак не могло устроить Никиту Сергеевича. И уже через год с небольшим условия ссылки ужесточают — из курортного горного Алтая Георгия Максимилиановича отправили работать

в степной Казахстан, на Экибастузскую ТЭЦ, где он пробыл в уже практически настоящей ссылке. Но и там, под гласным надзором КГБ, Георгий Максимилианович продолжал успешно трудиться в течение практически 10 лет, уехал в Москву только в конце марта 1968 г. на похороны матери — и уже тогда в возрасте 67 лет вышел на пенсию и с разрешения новых властей остался в Москве. Любопытный факт — в 1964 г., летом (я как раз гостил в Экибастузе у родителей), раздался звонок из Москвы. Звонивший представился помощником Хрущева и от его имени предложил отцу вернуться в Москву с восстановлением в прежних должностях, в обмен на публичную поддержку курса Хрущева. Отец ответил коротко: «К Хрущеву у меня вопросов нет», — и положил трубку.

М. Б. Кстати, а что вы думаете о существовании той самой «антипартийной группы» — могла ли она на самом деле существовать?

А. М. Вряд ли. При жизни Сталина к нам домой ни разу не приезжал никто из лиц первого сталинского ряда и никто из их домочадцев. Но и после смерти Сталина, когда члены нашего «ареопага» попытались дружить семьями, — дом Маленковых оставался вне этой моды. И дело тут вовсе не в том, что мои родители были хмурыми нелюдимыми бирюками — они просто-напросто не хотели допускать в дом людей, глубоко чуждых им по своей «внутренней конституции». Только в 1954 г., в Крыму — помните историю с картиной? — наша семья отдыхала по соседству с семьями других «вождей»,

и уклониться от общения с ними было невозможно. Так я впервые увидел вблизи наших руководителей: ничем не запоминающегося, навещающего скуку «человека в футляре» Молотова; огромного, сильного, похожего на медведя Кагановича, блестяще игравшего в городки и матерящегося, как извозчик; бесцеремонного первого секретаря ЦК Украины Кириченко, по части мата оставлявшего Лазаря Моисеевича далеко позади... Просто невозможно было бы представить этих товарищей за нашим семейным столом. В отличие от уже упомянутого ранее профессора Виноградова и других его коллег — однофамильца булгаковского героя профессора Бориса Сергеевича Преображенского, также репрессированного по «делу врачей», великолепного педиатра Юлии Фоминичны Домбровской...

М. Б. Вы упоминали Юрия Владимировича Андропова — как вы и ваш отец продолжили знакомство с ним? И почему он не восстановил Георгия Максимилиановича в партии, как поступил К. У. Черненко с Молотовым?

А. М. В начале 80-х я начал активно работать над решением проблем подводного атомного флота, искал решения важных задач по сохранению жизни людей и увеличению работоспособности экипажей. При поддержке первого заместителя главкома флота Н. И. Смирнова мне с коллегами удалось обеспечить возможность аварийного выхода из подлодки на большой глубине и очистки воздуха внутри подлодки во время длительного плавания. Первая задача была решена путем

создания технологии жидкостного дыхания, по существу превращающего моряка в своего рода человека-амфибию. Вторая — путем создания фильтров на основе специально подобранных бактерий, поселенных на волокнах. Когда я рассказал об этом отцу, он спросил: «А смог бы ты организовать работы по более широкой тематике — защите организма человека в экстремальных условиях?» Я согласился. Тогда отец при мне позвонил тогдашнему генсеку Ю.В. Андропову и сказал: «Юрий, у нас с сыном есть предложение — разработать государственную программу “Защита организма человека в экстремальных условиях”» и кратко изложил суть вопроса. Андропов ответил: «Георгий Максимилианович, это интересно. Работайте. Я буду присылать к вам за материалами моего помощника, и он будет передавать их непосредственно мне».

Я привлек к участию в проекте нескольких моих друзей — выдающихся ученых. В этой совместной работе с отцом я получил уникальный опыт правильного обращения с документами... За полгода нам удалось достичь очень важных результатов, но смерть Андропова не позволила реализовать нашу разработку в полном объеме.

Кстати, именно по распоряжению Ю.В. Андропова отцу в 1980 г. предоставили двухкомнатную квартиру. При другом генсеке — Михаиле

Сергеевиче Горбачеве — пришлось согласовывать на самом высоком уровне другой вопрос — где похоронить маму, Валерию Алексеевну, скончавшуюся 1 октября 1987 г. Этот вопрос решало Политбюро в лице всем известного А.Н. Яковлева. Только через 9 дней после маминой смерти было выбрано Новокунцевское кладбище. А через какое-то время рядом с мамой похоронили... убийцу Троцкого Рамона Меркадера.

М.Б. В заключение хотел бы задать вам вопрос об отношении Георгия Максимилиановича к фигуре Сталина, чья популярность год от года в России растет. Кем ваш отец его считал, злодеем или героем?

А.М. Безусловно, отец считал Сталина великим государственным деятелем. Я придерживаюсь того же мнения. Но как ученый-биофизик могу добавить интересный факт — его мне сообщил хорошо знакомый как со мной, так и с Иосифом Виссарионовичем Вольф Мессинг. Сталин был экстрасенсом величайшей силы и, безусловно, мог влиять на поведение людей из своего ближайшего окружения. В том числе и на отца.

М.Б. Большое спасибо за интересный рассказ — и побольше читателей новому изданию вашей книги о Георгии Максимилиановиче Маленкове.

"FATHER CLEARLY UNDERESTIMATED THE CONSEQUENCES OF STRENGTHENING THE PARTY APPARATUS LED BY KHRUSHCHEV AND SOON PAID FOR IT". INTERVIEW WITH A. G. MALENKOV

Malenkov Andrey G. – graduate of the physics faculty of Lomonosov Moscow State University, doctor of biological sciences (Moscow)

Key words: G. Malenkov, I. Stalin, N. Ezhov, L. Beria, N. Khrushchev, party-state leadership of the USSR, the last years of the Stalin era, the "Leningrad affair" of 1949, thaw reforms in the USSR in 1950-es, economic policy of the USSR, 1957 anti-Khrushchev putsch.

Abstract. The scientist biophysicist Andrei Malenkov talks about his father, the prominent party and state functionary of the USSR, Georgii Malenkov, and about the time in which he lived.

КОММЕНТАРИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА ИЭ

Предоставив слово видному ученому-биофизику Андрею Георгиевичу Маленкову, поделившемуся с нами обстоятельными воспоминаниями о своем отце, крупном государственном деятеле советской эпохи, первом послесталинском премьер-министре Георгии Максимилиановиче Маленкове (1901–1988), «Историческая экспертиза» продолжает разрабатывать тему семейной памяти, которая является столь же неотъемлемой частью исторической памяти, как память глобальная, национальная, региональная, локальная. Конечно, личная память (и нам приходилось уже писать об этом в связи с публикацией интервью с А. А. Микояном) существует по своим законам, взгляд на события макроистории глазами члена семьи одного из активных ее делателей имеет (как, впрочем, любой другой взгляд) свои лимиты, но обладает, однако, и своими преимуществами, добавляя новые, подчас неожиданные штрихи к наше-

му знанию, полученному из других источников и при взгляде с других ракурсов. Конечно, личная память никогда не отделима от личных эмоций, ведь история отношений внутри семейного круга – это всегда история глубоких родственных чувств, доверительных бесед и интимных переживаний, неизгладимых в памяти, пока живы сами памятующие. Носителям личного опыта всегда очень нелегко абстрагироваться от него в пользу более отстраненного, беспристрастного, уравновешенного аналитического взгляда на события большой истории и место в ней дорогого им человека. Вообще в самом желании детей и внуков представить своих отцов и дедов только с самой позитивной стороны нет совершенно ничего удивительного, напротив, была бы удивительной обратная ситуация¹. Как точно заметил

¹ Над этой проблемой глубоко и интересно размышляет Е. Ю. Зубкова в своей статье, к которой во избежание ненужных повторов мы просто отсылаем нашего читателя: О «детской литературе» и других проблемах нашей исторической памяти //

С. Н. Хрущев в одном из своих публичных выступлений, «мое перо не способно написать плохое об отце, вообще писать плохо о родителях противно человеческому естеству». Книги о близких людях, как правило, пишутся под диктовку чувства долга перед памятью об этих людях. Вполне естественно, что неспособность отрешиться от долга памяти может приводить мемуаристов к искажениям, мешать им адекватно оценить факты, особенно те, что плохо вписываются в априорно заданную концепцию (здесь вспоминаются, в частности, мемуары Серго Берии, на шумевшие в первой половине 1990-х).

При всей неизбежной субъективности законов личной памяти взгляд А. Г. Маленкова, носителя уникального знания — это взгляд не просто рядового свидетеля, неспособного (в силу узости кругозора, слабого владения источниками и литературой) подняться над своими впечатлениями, а принадлежит человеку, глубоко изучившему исторический контекст тех событий, в которых довелось активно участвовать его отцу. И после выхода первой своей книги мемуаров² Андрей Георгиевич, человек науки, продолжает внимательно следить за новой исторической литературой и прежде всего за вводимыми в научный оборот первоисточниками, сверяться с ними, учитывать их в своих новых интервью, и тем большего вни-

мания и уважения заслуживает его личный взгляд.

Человеку, как известно, не дано выбрав время, в которое живет, как не дано и выпрыгнуть из своего времени. Георгий Максимилианович Маленков, родившийся в первый год XX в. и всего три года не доживший до краха СССР, был, безусловно, человеком своей эпохи и действовал по ее законам. Сколь бы ни отличался прирожденный технократ Г. М. Маленков (один из первых и наиболее работоспособных советских технократов своей, уже сложившейся после октября 1917 г., генерации) от многих коллег по Политбюро (Президиуму) ЦК, явно превосходя их образованностью и общей культурой, он не мог в силу совершенно объективных причин не быть в определенной мере связанным круговой порукой с соратниками, находившимися рядом с ним на вершине власти. А соответственно, не мог остаться совсем в стороне от сталинской политики репрессий и произвола, ведь это противоречило бы элементарным законам функционирования той системы, первым реальным и благонамеренным реформатором которой выступил летом 1953 г. (особенно в сфере экономической политики) именно Георгий Максимилианович — тогда, когда на новом витке истории для этого сложились объективные условия. Действительно, более молодой в сравнении с большинством членов сталинского политбюро Г. М. Маленков не входил в «тройки» 1937 г., и его фамилия не обнаружена на «расстрельных списках» — эта страшная «обязанность» действительно не отвечала

Исторические исследования в России. Тенденции последних лет. М.: АИРО-XX, 1996. С. 155–178.

² Маленков А. Г. О моем отце Георгии Маленкове. М., 1992.

тем функциям, которые он выполнял в партийной иерархии в годы Большого террора. С другой стороны, вполне реальной была его роль в прекращении ежовщины и связанных с этим частичной амнистией и кадровых перестановках в НКВД. Ежов действительно был арестован в кабинете Маленкова (правда — здесь можно дополнить Андрея Георгиевича — это случилось уже через несколько месяцев после того, как он был переведен с должности все-мощного наркома внутренних дел на куда менее значимый в партийно-государственной номенклатуре пост наркома водного транспорта). Однако роль отца в «ленинградском деле» 1949 г. остается не до конца проясненной и по прочтении воспоминаний сына. Возникает немало вопросов. Когда, на каком заседании Политбюро Г. М. Маленков голосовал против осуждения А. А. Кузнецова, в каких документальных источниках это нашло отражение? Можно ли всерьез отнестись к версии о том, что Н. А. Вознесенский не был расстрелян, а насмерть замерз по дороге в Сибирь? Читатель, что называется, «вооруженный», знающий опубликованные источники по этой теме, может оценить интервью А. Г. Маленкова прежде всего как приглашение к плодотворной дискуссии. Не затронута тема разгрома Еврейского антифашистского комитета в контексте тех внутриполитических разборок конца 1940-х гг., в которых довелось участвовать и Г. М. Маленкову как одному из влиятельнейших к этому времени членов Политбюро. Сложнее, чем это показано в интервью, были, наверное, и взаимоотношения Маленкова с Берией. В любом случае

очевидно, что и в последние годы сталинщины Маленков, если где-то и оказывался непосредственно причастен к неблагоприятным акциям (вроде хорошо памятной петербуржцам и неплохо изученной по первоисточникам зачистки Ленинграда после ареста и устранения всей городской верхушки и ее московских покровителей), был, конечно, отнюдь не инициатором репрессий, а самое большее — орудием Сталина в их осуществлении. Иного просто и быть не могло в силу законов той системы. Что же касается панегириков уважаемого Андрея Георгиевича в адрес Иосифа Виссарионовича, контрастирующих с уничижительными оценками Хрущева, представляющего под его пером не более чем в качестве мелкого интригана, хотелось бы только, положила руку на сердце, выразить в скобках наше искреннее мнение: в том, что Г. М. Маленков, став к 1957 г. смертельным врагом первого человека страны, не разделил судьбу А. А. Кузнецова или Н. А. Вознесенского, а прожил еще 30 лет, есть в общем некоторая заслуга и Н. С. Хрущева, ведь решения XX съезда КПСС (связанные, впрочем, не только с Хрущевым, но и с его тогдашними соратниками по Президиуму ЦК, включая Маленкова) сделали определенные внутриполитические процессы в СССР необратимыми. Личная боль и ощущение явной несправедливости, допущенной к дороговому и близкому человеку, определяют здесь ту систему координат, в которой проводится сопоставление сталинского и, условно говоря, хрущевского режимов.

Совершенно неоспоримы заслуги Г. М. Маленкова в решении самых

острых продовольственных проблем, унаследованных преемниками Сталина после его смерти, в улучшении положения крестьянства, в приведении всей экономики, зацикленной на производстве вооружения и средств производства, хотя бы в некоторое соответствие с реальными потребностями населения. Именно Маленков первым в советском руководстве открыто указал на реальную угрозу ядерной войны для судеб всего человечества. Тогда это дало Хрущеву повод для демагогических обвинений его в пессимизме и неверии в силы социализма. Однако с началом советско-китайской полемики, когда из уст Мао Цзэдуна, начиная с московского ноябрьского совещания 1957 г., стали звучать фразы о том, что новая мировая война вовсе не так уж страшна, потому что сметет с лица земли империализм, теперь уже и Н. Хрущеву, и М. Суслову в остром споре с «заклятыми друзьями» пришлось по сути повторять то, что ранее было сказано Маленковым и использовано против него. В литературе остается практически неизученным влияние Маленкова на советскую культурную политику. Как говорят источники, отношение к его смещению с поста премьер-министра было в среде реформаторски настроенной интеллигенции неоднозначным — достаточно сослаться на публиковавшиеся записные книжки А. Твардовского, явного сторонника перемен, уже тогда, в 1954 г., в период первого своего «главредакторства» в «Новом мире», инициировавшего публикацию ряда острых статей и за это смещенного. Скорее всего, за недолгое время пребывания во главе прави-

тельства ненапористый и не обладавший выраженной лидерской харизмой технократ Маленков просто не успел зарекомендовать себя в глазах большинства единомышленников как последовательный и сильный реформатор и составить о себе соответствующий образ.

Не будучи ярким харизматиком, Маленков, однако, обладал чувством собственного достоинства — не прогнувшись перед Хрущевым, он не собирался прогибаться и перед Брежневым. «Дорогой Леонид Ильич», если верить свидетельствам очевидцев, в июне 1957 г. упавший в обморок после окрика Кагановича, до конца жизни держал зло на «антипартийную группу», помня об этом унижении. Но в отличие от Молотова и Кагановича Маленков никогда и не обращался к нему с просьбой о восстановлении в партии. Несколько иными были его отношения с Ю. Андроповым, с которым он мог ближе познакомиться во время трехнедельного своего нахождения в Будапеште в ноябре 1956 г., когда советскому руководству надо было что-то предпринимать для урегулирования венгерского кризиса³.

Предоставив на своих страницах слово А.Г. Маленкову, ИЭ призывает и других носителей уникальной семейной памяти об ушедшей советской эпохе делиться с нами размышлениями и впечатлениями о пережитом прошлом.

А. С. Стыкалин

³ Его донесения того времени из Венгрии см.: Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы. М., 1998.

Н. П. Таньшина

НАПОЛЕОН БОНАПАРТ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ: ФОРМИРОВАНИЕ «НАПОЛЕОНОВСКОЙ ЛЕГЕНДЫ» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

Ключевые слова: Наполеон Бонапарт, «наполеоновская легенда», французская романтическая литература, Ф. Р. де Шатобриан, О. Бальзак, Стендаль, В. Гюго, А. де Виньи, А. де Мюссе, Ж. Санд, П.-Ж. Беранже, П. Мериме.¹

Аннотация. Художественная литература оказывает мощное влияние на формирование исторической памяти и исторических представлений. Романы А. Дюма, П. Мериме сформировали классическое видение трагических событий Варфоломеевской ночи; по произведениям Л. Н. Толстого в России судят о Наполеоне и Отечественной войне 1812 г. Эпопея Вальтера Скотта о Наполеоне формировала его образ в массовом сознании англичан. Именно Шатобриан, Мюссе, Бальзак, Стендаль, Гюго, Дюма, Беранже вместе с солдатами Великой армии стояли у истоков легенды и мифа Наполеона. Некоторые из этих писателей были так или иначе связаны с наполеоновскими войнами. Гюго и Дюма были сыновьями генералов Империи; Мюссе и Виньи родились в начале века и отразили настроения целого поколения, не участвовавшего в войне,

© Н. П. Таньшина, 2019

Таньшина Наталья Петровна — доктор исторических наук, профессор кафедры Всеобщей истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; ведущий научный сотрудник Лаборатории западно-европейских и средиземноморских исторических исследований исторического факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Московского педагогического государственного университета (Москва); horoshovo@mail.ru

но рожденного в годы войны и жившего в атмосфере побед. Изучению процесса формирования «наполеоновской легенды» во Франции в годы Реставрации (1814–1830) и Июльской монархии (1830–1848) французскими литераторами, писателями и поэтами романтического направления и посвящена эта статья.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-166-187

В этом году исполняется 250 лет со дня рождения Наполеона Бонапарта, генерала Бонапарта, первого консула и императора французов. Его имя стало настоящим брендом, не только французским, но интернациональным. Несмотря на критическое отношение к Наполеону современных властей Франции, для французов как таковых он остается наиболее популярным историческим героем¹. Между тем по большому счету их привлекает не реальный исторический персонаж, Наполеон Бонапарт, а его образ, легенда и миф, который он начал творить сам, не случайно его называют первым менеджером в истории. Помимо него самого, при его жизни этот миф создавали газеты во время Итальянской кампании; поражение Наполеона и ссылка сделали из него мученика и нового Прометея, еще больше мифологизировав его имя.

«Наполеоновская легенда» приняла очертания и получила широкое распространение благодаря двум категориям французов, имевшим на императорскую эпопею весьма разные точки зрения: это ветераны Великой армии и незанятая молодежь, то самое поколение, которое, согласно формуле Альфреда де Виньи, было воспитано на победных бюллетенях императора, «привы-

кло к блеску обнаженной шпаги и устремилось к ней в тот момент, когда Франция вкладывала ее в ножны Бурбонов» (Виньи 1968: 6).

Слова Виньи о поколении французов, детей Империи, мечтавших о военной славе, но через войну не прошедших, на мой взгляд, являются квинтэссенцией этого духа. Именно из этого поколения вышли писатели и поэты романтического направления, сыгравшие, наряду с ветеранами, ключевую роль в формировании легенды. С 1815 по 1850 г. личность Наполеона была одной из центральных для представителей всех направлений романтической литературы (Page 2013: 12).

Художественная литература оказывает мощное воздействие на формирование исторической памяти и исторических представлений. Например, именно произведения А. Дюма, П. Мериме сформировали классическое видение трагических событий Варфоломеевской ночи; именно по романам Л. Н. Толстого в России судят о Наполеоне и Отечественной войне 1812 г. Сага Вальтера Скотта о Наполеоне формировала его образ в массовом сознании англичан. Шатобриан, Мюссе, Стендаль, Гюго, Дюма, Бальзак и Беранже вместе с солдатами Великой армии стояли у истоков легенды и мифа Наполеона. Некоторые

¹ О Наполеоне Бонапарте в исторической памяти см.: (Таньшина 2019: 146–166).

из них были так или иначе связаны с наполеоновскими войнами. Гюго и Дюма являлись сыновьями генералов Империи. Мюссе и Виньи родились в начале века и отразили настроения целого поколения французов, не участвовавших в войне, но рожденных в годы войны, живших в атмосфере побед и жадно читавших бюллетени Великой армии. Формированию «наполеоновской легенды» французскими писателями и поэтами, прежде всего, романтического направления, и посвящена эта статья.

Французский историк Сильвиан Паже обоснованно ставит вопрос: Наполеон — это исторический персонаж или литературный образ (Ibid.: 7)? Действительно, со временем граница между исторической фигурой и поэтическим созданием стерлась, и сегодня трудно провести между ними черту. От истории к легенде, от легенды к мифу — такова, по словам С. Паже, трансформация исторического персонажа в мифическую фигуру в двух поколениях французских романтиков (Ibid.: 13). При этом Наполеон всегда — персонаж амбивалентный, у одного и того же автора, в одном произведении, порой на одной странице.

Как писал французский исследователь Жан Демужен, Наполеон сожалел, что не имел при себе и для себя «великих литераторов» и «великой литературы». Однако ближайшее будущее все компенсировало (Demougin 2005: 16).

Образ Наполеона отразился не только в мифе, «золотой легенде», но и в антими́фе, «черной

легенде»². С установлением режима Реставрации в 1814 г. во Франции начинает активно развиваться «черная легенда», что и понятно: Реставрация возникла как антитеза правлению Наполеона. Именно в первые годы Реставрации появляется множество политических памфлетов, книг, в которых содержались нападки на «корсиканский ячмень». Но любопытно, что самые солидные памятники наполеоновской славы были созданы писателями, которые при Империи или на следующий день после ее краха усиленно трудились над подрыванием пьедестала статуи Наполеона. Это, прежде всего, относится к Франсуа Рене де Шатобриану, знаменитому писателю и политику.

Уже на следующий день после капитуляции Парижа, 31 марта 1814 г., парижане могли прочесть на афишах: «Бонапарт, Бурбоны и необходимость присоединиться к нашим легитимным принцам для счастья Франции и Европы» Ф. Р. де Шатобриана, автора «Тени христианства». Эта работа появится завтра или послезавтра...» (Chateaubriand 2004: 5). Существует легенда, будто Людовик XVIII признавал, что эта брошюра была ему полезнее, нежели соты́сячная армия (Ibid.: 6).

В предисловии к своей работе Шатобриан подчеркивал, что благодаря Провидению Франция не погибла: «Нет, я вовсе не считаю, что пишу на могиле Франции. На смену дням мести придет день

² О «черной легенде» см., например: (Tulard 1965). Из наиболее критических работ о Наполеоне см: (Grubner 2015; Jospin 2014; Jourdan 2008; Petiteau 2008).

милосердия. Античное отечество христианнейших королей не может быть уничтожено: оно отнюдь не погибло, римское королевство восстанет из руин...» (Ibid.: 15). По его словам, только Провидением можно объяснить тот факт, что не прошло и 15 месяцев с тех пор, как Наполеон был в Москве, а теперь русские вступили в Париж. Он сравнивал империю Наполеона с морским потоком, который сначала захлестнул Европу, а потом резко отступил назад (Ibid.: 15–16).

В 1817 г. широкий резонанс получили запрещенные позднее апокрифические мемуары Наполеона: «Рукопись, неизвестным путем доставленная со Святой Елены», написанная, по видимости, Люлленом де Шатовье, женецем, другом мадам де Сталь. В это же время в Милане начал писать «Жизнь Наполеона» Анри Бейль, известный под литературным псевдонимом Стендаль (1783–1842), однако этот текст был опубликован только после его смерти. Стендаль, в отличие от большинства молодых писателей-романтиков, был свидетелем и непосредственным участником наполеоновской эпопеи. Он был зачислен сублейтенантом в драгунский полк. Влиятельные родственники из семейства Дарю выхлопотали для Бейля назначение на север Италии. В 1802 г. он подал в отставку, но спустя три года снова вернулся на службу, на этот раз в качестве интенданта. В должности офицера интендантской службы наполеоновской армии Анри побывал в Италии, Германии, Австрии. В 1812 г. принял участие в русской кампании, побывал в Орше, Смо-

ленске, Вязьме, был свидетелем Бородинского сражения, видел пожар Москвы, хотя собственно боевого опыта у него не было. Все это указал Стендаль в «Заметках о Бейле, составленных им самим», предваряющих «Жизнь Наполеона». Бейль, как пишет Стендаль, «уважал только одного человека: Наполеона» (Стендаль 1993, т. 3: 10).

Для Стендаля император – в основе его жизни и работ. Это «самый изумительный по своей даровитости человек, живший со времен Юлия Цезаря, которого он, думается нам, превзошел. Он был скорее создан для того, чтобы стойко и величаво переносить несчастье, нежели для того, чтобы пребывать в благоденствии, не поддаваясь опьянению. <...> обладая некоторыми из тех пороков, которые необходимы завоевателю, он, однако, был не более склонен проливать кровь и быть безучастным к человечеству, нежели Цезари, Александры, Фридрихи – все те, с кем его поставят рядом и чья слава будет меркнуть с каждым днем» (Там же: 175). И в поражении Наполеон для Стендаля не менее велик: «По величию души и покорности судьбе, которые он проявил в несчастье, лишь немногие равны ему, и никто его в этом не превзошел» (Там же: 176).

В 1823 г., спустя два года после смерти Наполеона, Лас Каз опубликовал «Мемориал Святой Елены», придавший мощнейшим импульс «наполеоновской легенде». Книга выдержала четыре издания, выходявших с постоянно вносившимися исправлениями и добавлениями. «Мемориал Св. Елены» стал

значительным событием для всего поколения молодых писателей. Целое поколение «сынов века», воспитанных на бюллетенях Великой армии, нашло в «Мемориале» тот отзвук битв, которого их лишила реставрированная монархия Бурбонов. В разных видах мемуары Наполеона будут фигурировать в работах Мюссе, Гюго, Стендаля, Бальзака, Беранже. Гюго, Ламартин и даже Шатобриан в определенной степени, под его влиянием, станут создавать «золотую легенду».

Во многом под влиянием «Мемориала Святой Елены» происходила эволюция взглядов Виктора Гюго (1802–1885), игравшего существенную роль в конструировании «наполеоновской легенды» на протяжении всего XIX в. Характерно, что если отец писателя, как отмечалось выше, был генералом наполеоновской армии, то мать, дочь нантского судовладельца, придерживалась роялистских взглядов и ненавидела Наполеона. Это чувство передалось и сыну. Первый поворот во взглядах Гюго на Наполеона был связан именно со смертью матери (Робб 2016).

В июле 1825 г. Гюго опубликовал поэму «Два острова». Наполеон предстает здесь в образе романтического героя, который был «мечтателем на утре дней когда-то», грезил «на Корсике родимой о власти мировой, о всей непобедимой своей империи под знаменем орла», стал «владыкой полвселенной», но все окончилось крахом, как это бывает с романтиками, и Наполеон познал «ничтожество величья своего». Но слава о нем не померкнет, и

*К двум островам придут, мне мнится,
Пред тенью царственной склониться
Все племена грядущих дней
(Гюго 2019).*

Если «Два острова» — это лирическая поэма, то «Ода колонне Вандомской площади» (или «Ода Вандомской колонне»), опубликованная в Journal des Débats 9 февраля 1827 г., — это уже политический манифест. Она стала ответом на происшествие в австрийском посольстве: четыре французских герцога, пришедшие на прием, не были представлены в соответствии с их титулами, поскольку они были получены по названиям мест, где Наполеон разгромил австрийцев. Гюго воспринял это как оскорбление, нанесенное памяти его отца:

*Нет, братья, нет, французы!.. В нас
умы не шатки,
Мы воспитались все у лашерной
палатки.
Нас обрекли на мир; орлятам
не парить;
Но, защищая честь отцов, как часовые,
Еще сумеем мы доспехи боевые
От оскорблений сохранить!
(Гюго 2003: 25).*

Ода получила огромный общественный резонанс, став гимном «несокрушимому трофею», выполненному из металла сотен пушек, захваченных Великой армией у неприятеля. Для поколения французов, родившихся около 1810 г., ода Гюго стала поэтическим подтверждением их детских впечатлений. Для самого Гюго это стало серьезным шагом влево в его политических воззрениях: публично провозгласив себя сыном наполеоновского полководца,

он тем самым размежевался с легитимистами:

*И я б теперь молчал? Я, преданный
 доньне
 Традициям своим фамильным, как
 святыне!
 Кто за победою знамен родных следил!
 Ей голос, вторя трубам, полон был
 отваги!
 Кому игрушкой был – эфес отцовской
 шпаги!
 Кто, быв еще ребенком, уж солдатом был!
 (Там же: 25).*

И Гюго, так же как поколение французов, рожденных в годы Империи, живет надеждами на будущие победы:

*Вперед, французы! – Нет орла теперь
 уж с вами,
 То поражал надменных вашими
 громами;
 Но с вами – лилии, хоругвь осталась вам
 И галльский наш петух, который мир
 весь будит;
 Он обещает нам, что скоро солнце будет
 Сиять, как в Аустерлице нам!
 (Там же).*

Политическая эволюция Гюго отражала общую эволюцию романтизма: поначалу роялистский, постепенно он трансформировался в поэтический бонапартизм, оказав «наполеоновской легенде» литературную поддержку, без которой она не имела бы столь оглушительного успеха в дальнейшем.

В годы Реставрации романтическая литература начала свое движение, а ее расцвет пришелся уже на период Июльской монархии

(1830–1848). Культивирование наполеоновского мифа в литературе происходило параллельно с формированием официального культа Наполеона при короле Луи-Филиппе. Легитимируя Наполеона и помещая его в пантеон национальной славы, Луи-Филипп, «король-узурпатор», легитимировал и собственную власть в глазах Европы. Кроме того, тонко чувствующий ситуацию Луи-Филипп понимал, что он мог использовать популярность имени Наполеона для повышения своего собственного рейтинга. Он потворствовал национальному самолюбию, вновь давая почувствовать французам вкус славы, гордости, пусть и за прежние, бывшие победы, ведь наполеоновские прожекты в политических реалиях 1830–1840-х гг. были неосуществимы.

В самом начале 1830-х гг. во французской литературе появляется целый ряд произведений, посвященных положению ветеранов Великой армии, солдат и офицеров, вернувшихся с войны и оказавшихся в маргинальном положении, не у дел, без великой мечты, без идеи, привыкших к войне и живших ностальгическими воспоминаниями о ней. Офицеров, уволенных в запас и переведенных на половинное жалованье, во Франции именовали «полуокладными». Эти офицеры, составившие особую касту людей, стали героями произведений Оноре Бальзака³, Проспера Мериме, Жорж Санд.

³ О. Бальзак является одним из основоположников реалистического направления в литературе, но в начале писательской карьеры написал ряд произведений в романтическом жанре.

В феврале — марте 1832 г. в журнале «Артист» была опубликована повесть Бальзака (1799–1850) «Полковник Шабер», в том же году вышедшая в свет под названием «Граф Шабер» в сборнике разных авторов «Всякая всячина»⁴. В повести рассказывается о возвращении с войны Гиацинта Шабера, графа Империи, кавалера большого офицерского креста Почетного легиона. Его считали погибшим при Прейсиш-Эйлау, но он выжил, выбравшись из общей ямы. Может быть, ситуация графа Шабера, рассмотренная буквально, не типична, но психологическое состояние героя передано Бальзаком пронзительно точно. Вот как сам Шабер описывал свое мироощущение: «Но, надо вам сказать, я, бывший питомец сиротского приюта, солдат, единственное достояние коего — мужество, семья — весь мир, родина — Франция, а предстатель и защитник — сам господь бог. Нет, неправда! У меня был родной отец — наш император!» Ветераны Великой армии во многом оказались в положении мертвецов, которые не могли найти себя в новом мире: «О, если бы он был здесь! Если бы увидел он своего Шабера — так меня он называл — в теперешнем моем виде, как бы разгневался он! Да что поделаешь. Закатилось наше солнышко, и всем нам теперь холодно» (Бальзак 1982: 257).

⁴ Под названием «Графиня-двумужница» повесть была включена в четвертый том «Сцен парижской жизни», изданный в 1835 г. В 1844 г. «Полковник Шабер» был напечатан во втором томе «Сцен парижской жизни». Составляя план нового издания «Человеческой комедии», которому суждено было стать уже посмертным, Бальзак перенес повесть из «Сцен парижской жизни» в «Сцены частной жизни».

Шабер оказался совсем в другом мире, который он не знал, как не узнавал он Париж: «С какой радостной поспешностью бросился я на улицу Монблан, где в моем особняке, вероятно, проживала моя жена! И что же оказалось! Улицу Монблан переименовали в Шоссе д'Антен. Я не нашел своего особняка. Его продали, снесли. Ловкие дельцы понастроили домов в моих садах» (Там же: 258). Тогда он еще не знал, что его жена, Роза, вышла замуж за господина Ферро. Полковник мечтает вернуть владение своими делами и семьей, и за его дело берется стряпчий Дервиль. Когда он увидел, в каких условиях жил Шабер, то ужаснулся: «И здесь живет человек, решивший исход битвы при Эйлау!» — подумал Дервиль, охватывая взглядом открывшуюся перед ним непривлекательную картину... <...>. В убогой каморке Шабера на источенном червями столе лежали раскрытые «Бюллетени Великой армии», переизданные Планше, — очевидно, единственная отрада полковника, хранившего среди этой нищеты ясное, безмятежное выражение лица» (Там же: 264–265). И это не только положение Шабера, но и многих ветеранов, которых именовали «старыми обломками»: «Прохожие с первого взгляда признавали в нем прекраснейший обломок нашей старой армии, одного из тех героев, в которых отражена наша национальная слава, подобно тому как солнце сияет своими лучами в каком-нибудь осколке зеркала. Эти старые солдаты — и сама история, и сама живопись» (Там же: 281).

В конце концов он поддался уговорам жены, отказавшись от борьбы

за свое состояние. Почему? У него произошел психологический надлом: «Мною неожиданно овладел новый недуг — отвращение к человечеству. Когда я вспоминаю, что Наполеон на острове святой Елены, — все претит мне в этом мире. Я не могу более быть солдатом, вот в чем моя беда» (Там же: 296). То есть это поколение людей с деформированной войной психикой. Как и следующее поколение, их дети, судьба которых описана Мюссе и Виньи.

В итоге Шабер доживал дни в богадельне, потому что в новом мире места ему не нашлось. «Что за судьба! — воскликнул Дервиль. — Провести детство в приюте для подкидышей, умереть в богадельне для престарелых, а в промежутке меж этими пределами помогать Наполеону покорить Европу и Египет» (Там же: 298).

Конечно, не все оказались в такой сложной ситуации. «Старые обломки», или «мусор», как их по-доброму называли французы, становились весьма уважаемыми у себя на родине людьми. Учителя, ремесленники, владельцы харчевен или мелкие земельные собственники, постепенно, с большим или меньшим успехом, они реинтегрировались в послевоенное общество (Poisson 2004: 59), как, например, полковник Дельмар, герой романа Жорж Санд (1804–1876) «Индиана», первого произведения, подписанного ею этим именем. Роман вышел в свет в середине мая 1832 г. Его действие начинается осенью 1827 г. и завершается в конце 1831-го. Полковник Дельмар, муж Индианы, также бывший солдат Империи, старый воя-

ка на половинном окладе. Материально он преуспел: «Он был женат на молодой и красивой женщине, владел недурной усадьбой с прилегающими к ней угодьями и, сверх того, успешно вел дела на своей фабрике» (Санд 1996: 46). Но психологически ситуация сходна с «мертвецом» Шабером. Он живет прошлым, ностальгируя по «дням блеска», ведь теперь «миновали дни его славы, когда он, молодой лейтенант, упивался победами на поле брани. Теперь он вышел в отставку и был забыт неблагоприятным отечеством» (Там же: 45–46). «Его воззрения ни на йоту не изменились с 1815 года. Он был заядлым противником нового строя, таким же упорным, как эмигранты Кобленца, над которыми он всегда зло посмеивался» (Там же: 138). И он все так же предан Наполеону: «Полковник был непоколебим в своих политических убеждениях, он не допускал нападков на любимого императора и защищал его славу со слепым упорством шестидесятилетнего ребенка» (Там же: 74).

Эти бывшие военные испытывали ненависть к аристократам и клерикалам, ассоциировавшимся у них с роялистами; им была присуща и «коммеморативная жестокость», а именно сохранение памяти о наиболее воинственных аспектах наполеоновской эры. Наполеоновская эпоха для них была почти исключительно связана с военной славой (Hazarresingh 2015: 291). Эта жестокость проявлялась в культе силы, brutality, а «походная жизнь сделала грубость <...> житейским правилом» (Санд 1996: 112). Полковник Дельмар, «выйдя в отставку, стал превосходным, но строгим

хозяином, перед которым трепетало все — жена, слуги, лошади и собаки» (Там же: 45) «Эти люди, собранные воедино и направляемые могучей рукой, совершали сказочные подвиги и вырастали в гигантов в дыму битв. Но, возвратясь к мирной жизни, герои превращались в наглых и грубых солдафонов, рассуждавших и действовавших как машины. Хорошо еще, если они не вели себя в обществе как в завоеванной стране! Не они были в этом виноваты, а век, в котором они жили» (Там же: 110–111). Жорж Санд составила блестящий портрет «полуокладных» офицеров, подчеркивая, что «господину Дельмару были присущи все достоинства и недостатки этих людей»: «Душевную деликатность он считал женским ребячеством и излишней чувствительностью... У него были широкие плечи, тяжелая рука, он прекрасно владел саблей и шпагой, к тому же отличался угрюмой обидчивостью. Он плохо понимал шутки, и потому ему вечно чудилось, что над ним смеются. Не умея ответить на шутку шуткой, он знал только один способ защиты: угрозами заставить шутника замолчать. Его любимые анекдоты и разговоры сводились всегда к рассказам о драках и дуэлях; вот почему соседи, упоминая его имя, обычно прибавляли эпитет “храбрый”, ибо, по мнению многих, широкие плечи, большие усы, крепкая ругань и бряцание оружием по всякому поводу — неотъемлемые признаки военной доблести...» (Там же: 110–111).

У Санд нет апологии Наполеона; более того, она его обвиняет в том, что он исковеркал судьбу целого поколения и судьбу самой Фран-

ции: «Да и как защищали родину эти сотни тысяч людей, слепо осуществлявшие бредовые планы одного человека, если они сначала спасли Францию, а потом привели ее к такому ужасному поражению» (Там же: 111). «Этот старый младенец ничего не понял в великой драме падения Наполеона. Он видел только военное поражение там, где одержала победу сила общественного мнения. Он непрестанно твердил о предательстве и проданной родине, как будто целая нация может предать одного человека, как будто Франция допустила, чтобы ее продали несколько генералов. Он обвинял Бурбонов в тирании и сожалел о славных днях Империи, совершенно забывая, что тогда не хватало рук для обработки земли и многие семьи сидели без хлеба... Он все еще жил во времена Ватерлоо» (Там же: 138–139).

19 июня 1833 г. в журнале «Литературная Европа» появился рассказ Оноре Бальзака «Ночной разговор, или История Наполеона, рассказанная в амбаре старым солдатом». Это повествование встретило живой интерес, и его немедленно принялись перепечатывать в виде популярных брошюр тиражами до 20 тысяч экземпляров и распространять под другими названиями через уличных торговцев (*Cunpiso* 2003: 270). Затем этот рассказ стал частью «Сельского врача», поступившего в продажу 3 сентября того же года.

Легитимист Бальзак, как и Жорж Санд, не был поклонником Наполеона. Но он стремился к славе, которую не мог обрести при Луи-Филиппе. И Наполеон для него в этом пла-

не — персонаж показательный. Тема ностальгии по славному прошлому, представлявшемуся в идеализированном виде, — одна из ключевых тем романтической литературы и произведения Бальзака. В «Сельском враче» он описал восприятие образа Наполеона крестьянами Дофине в конце 1820-х гг. Именно эти солдаты, вернувшиеся в свои деревни, и стали активными популяризаторами наполеоновского культа. В глухую деревню, что в 20 км от Гренобля, «ни одно политическое событие, ни одна революция не доходили до столь глухого нашего края, живущего вне социального движения. Сюда донеслось лишь имя Наполеона, ставшее у нас святыней по милости двух-трех солдат, здешних уроженцев, вернувшихся домой; целыми вечерами рассказывают они нашим простакам баснословные истории о деяниях императора и его армий» (Бальзак 1995: 448).

В истории, рассказанной бывшим пехотинцем Гюгла, ставшим сельским почтальоном, Наполеон — уже существо мифическое, он полубог, творящий чудеса: «Он множился, как пять евангельских хлебов, днем — командовал сражением, подготавливал его ночью, так что часовые только и видели, как он ходит взад и вперед, не спит и не ест. Вот солдат как уразумел эти самые чудеса, так с тех пор и стал его отцом почитать» (Там же: 553).

Наполеон — не только полубог, он отец солдат: «А солдата он уважал, будто о родном сыне пекся, заботился: есть ли у тебя обувь, белье, шинель, хлеб, порох; а держал себя ве-

лично, потому как его дело-то ведь и было царствовать. Но все одно! Любой сержант и даже солдат говорил ему “государь”, как вы иной раз говорите мне “дружище”. И он слушал, когда ему советовали, спал, как и мы, на снегу, словом, с виду был обыкновенный человек... Не знаю, право, как это получается, но, бывало, поговорит с нами и будто жаром обдаст, и хочется нам показать ему, что мы его послушные дети, и страх нас не берет, и мы шли как ни в чем не бывало навстречу пушкам... Даже умирающие — откуда только у них силенки брались — вставали, чтобы отдать ему честь и крикнуть: “Да здравствует император!” <...> Да здравствует Наполеон, отец народа и солдата!» (Там же: 560, 567).

Причем старый солдат, как и многие другие, был уверен, что Наполеон не умер на Святой Елене: «...он живет этим воспоминанием и надеждой на возвращение Наполеона, никто не убедит его в том, что император умер; он уверен, что Наполеон томится в плену по милости англичан» (Там же: 489).

Появление рассказа Бальзака в это время вовсе не случайно: он был опубликован за месяц с небольшим до водружения статуи Наполеона на Вандомской колонне. Это произошло 28 июля 1833 г., как раз в годовщину празднования «Трех славных дней»⁵. В это же время появилась пьеса Александра Дюма

⁵ Предыдущая статуя Наполеона работы А.-Д. Шодэ была снята с колонны после вступления коалиционных войск в Париж в 1814 г., и вместо статуи колонну украсила королевская лилия. Автором новой статуи стал скульптор Ш.-Э. Сёрр.

(1802–1870) «Наполеон, или Тридцать лет истории Франции». Отец Дюма, Тома-Александр, с 1793 г. являлся дивизионным генералом, был назначен Наполеоном командующим кавалерией, участвовал в Египетском походе, его имя написано на южной стене Триумфальной арки, торжественное открытие которой произойдет спустя три года. Как отмечал С. Н. Искюль, впоследствии Дюма с неохотой вспоминал об этом опыте, поскольку шесть актов пьесы с их девятнадцатью картинами были громоздкими, речи персонажей слишком натянутыми. Однако в печатном издании пьеса читалась, имела определенный успех, поскольку в ней отразились малоизвестные широкой публике факты наполеоновской эпопеи (Искюль 2012: 6).

Наполеон подарил французам чувство величия, национальной гордости и славы; говоря словами Стендаля, он изменил мораль французского народа. Как писал Генрих Гейне, «последний крестьянский сын совершенно так же, как и дворянин из древнейшего рода, мог достигнуть <...> высших чинов и приобрести золото и звезды. Поэтому-то в каждой крестьянской хижине и висит портрет императора. <...> В его портрете многие, может быть, чтут лишь померкшую надежду на собственное величие» (Гейне 1958: 408). Герои романов Стендаля, Жюльен Сорель в «Красном и черном» (1830–1831) и Фабрис дель Донго в «Пармской обители» (1839–1846) жаждут славы.

Как отмечал французский исследователь Э. Керн, в поведении Жюль-

ена Сореля то и дело проскальзывают наполеоновские жесты (Kern 2016: 66). С детства он мечтал о военной службе: «С самого раннего детства, после того как он однажды увидел драгун из шестого полка в длинных белых плащах, с чернотривыми касками на головах — драгуны эти возвращались из Италии, и лошади их стояли у коновязи перед решетчатым окном его отца, — Жюльен бредил военной службой. Потом, уже подростком, он слушал, замирая, рассказы старого полкового лекаря о битвах на мосту Лоди, Аркольском, под Риволи и замечал пламенные взгляды, которые старик бросал на свой крест» (Стендаль 1993, т. 1: 31–32).

Даже если в какой-то момент он захотел стать священником, Бонапарт остался в душе Сореля навсегда, ведь мечты о человеке, который смог все, владели умами юношества: «В продолжении многих лет не было, кажется, в жизни Жюльена ни одного часа, когда бы он не повторял себе, что Бонапарт, безвестный и бедный поручик, сделался владыкой мира с помощью своей шпаги. Эта мысль утешала его в несчастьях, которые казались ему ужасными, и удваивала его радость, когда ему случалось чему-нибудь радоваться» (Там же: 33). «Исповедь» Руссо, собрание реляций Великой армии и «Мемориал Святой Елены» — «вот три книги, в которых заключался его коран» (Там же: 29). Отставной лекарь, обучавший его латыни и истории, рассказывал Жюльену о том, что сам знал, а это были итальянские походы 1796 г. Умирая, он завещал мальчику свой крест Почетного легиона, остатки

маленькой пенсии и тридцать-сорок томов книг, из которых самой драгоценной был «Мемориал Святой Елены» (Там же: 27).

Свои первые победы над мадам де Реналь, первый поцелуй руки он сравнивает с наполеоновскими победами: «Да. Я выиграл битву, — сказал он себе. — Так надо же воспользоваться этим; надо раздавить гордость этого спесивого дворянина, пока он еще отступает. Так именно действовал Наполеон» (Там же: 78).

В конце романа, когда в тюрьме Жюльен думает о самоубийстве, он вновь сверяет свои поступки с Наполеоном: «Покончить с собой! Нет, черт возьми, — решил он спустя несколько дней, — ведь Наполеон жил» (Там же: 481).

Может быть, эти мечты о славе наиболее ярко проявились в творчестве юного поколения романтиков, Альфреда де Мюссе и Альфреда де Виньи.

«Исповедь сына века» Альфреда де Мюссе (1810–1857), где в первых главах мы видим настоящую апологию Империи, была опубликована в 1835 г.⁶ Как и другие романтики первой половины века, Мюссе выразил свое недовольство жизнью и меланхолию, обращаясь к периоду в истории своей родины, когда она сотрясала мир и им управляла.

Родившийся в 1810 г., Мюссе едва помнил Империю. Он так описыва-

ет свое поколение: «Во время войн Империи, когда мужья и братья сражались в Германии, встревоженные матери произвели на свет пылкое, болезненное, нервное поколение. Зачатые в промежутке между двумя битвами, воспитанные в коллежах под бой барабанов, тысячи мальчиков хмуро смотрели друг на друга, пробуя свои хилые мускулы. Время от времени появлялись их отцы; обгренные кровью, они прижимали детей к расшитой золотом груди, потом опускали их на землю и снова садились на коней» (Мюссе 1988: 29).

При этом вся эта эпоха, все пятнадцатилетие нового века сводилось для Мюссе к одному-единственному человеку: «Один только человек жил тогда в Европе полной жизнью. Остальные стремились наполнить свои легкие тем воздухом, которым дышал он. Каждый год Франция дарила этому человеку триста тысяч юношей. То была дань, приносимая Цезарю, и если бы за ним не шло это стадо, он не мог бы идти туда, куда его вела судьба. То была свита, без которой он не мог бы пройти через весь мир, чтобы лечь потом в узенькой долине пустынного острова под сенью плакучей ивы» (Там же: 30). Это будет характерно и для последующей исторической науки: весь этот период в истории Франции и Европы сводился к истории Наполеона.

Мюссе показывает тень и свет этой эпохи: «Никогда еще люди не проводили столько бессонных ночей, как во времена владычества этого человека. Никогда еще такие толпы безутешных матерей не стояли у крепостных стен. Никогда такое

⁶ В сентябре 1835 г. в журнале *Revue des Deux Mondes* была опубликована вторая глава книги, а в следующем уже полный текст (Musset 1836)

глубокое молчание не царило вокруг тех, кто говорил о смерти. И вместе с тем никогда еще не было столько радости, столько жизни, столько воинственной готовности во всех сердцах. Никогда еще не было такого яркого солнца, как то, которое осушило все эти потоки крови. Некоторые говорили, что бог создал его нарочно для этого человека, и называли его солнцем Аустерлица. Но нет, он создавал его сам непрерывным грохотом своих пушек, и облака появлялись лишь на другой день после сражений» (Там же: 30).

В то же время Мюссе не осуждает эксцессы войн и их последствий для Франции и мира, войну и ее жертвы он идеализирует: «Вот этот-то чистый воздух безоблачного неба, в котором сияло столько славы, где сверкало столько стали, и вдыхали дети. Они хорошо знали, что обречены на заклятие, но Мюрата они считали неуязвимым, а император на глазах у всех перешел через мост, где свистело столько пуль, казалось, он не может умереть. Да если бы и пришлось умереть? Сама смерть в своем дымящемся пурпурном облачении была тогда так прекрасна, так величественна, так великолепна! Она так походила на надежду, победы, которые она косила, были так зелены, что она как будто помолодела, и никто больше не верил в старость. Все колыбели и все гробы Франции стали ее щитами. Стариков больше не было, были только трупы или полубоги» (Там же: 30).

Несмотря на то, что эти дети не знали войны, а может, именно поэтому, они жили только войной: «И тогда на развалинах мира уселась встре-

воженная юность. Все эти Дети были каплями горячей крови, затопившей землю. Они родились в чреве войны и для войны. Пятнадцать лет мечтали они о снегах Москвы и о солнце пирамид. Они никогда не выходили за пределы своих городов, но им сказали, что через каждую заставу этих городов можно попасть в одну из европейских столиц, и мысленно они владели всем миром» (Там же: 31–32).

Однако Мюссе ждало разочарование, ведь эпоха величия и славы прошла, а война осталась в прошлом: «Подобно тому как путник идет день и ночь под дождем и под солнцем, не замечая ни опасностей, ни утомления, пока он в дороге, и, только оказавшись в кругу семьи, у очага, испытывает беспредельную усталость и едва добирается до постели, — так Франция, вдова Цезаря, внезапно ощутила свою рану. Она ослабела и заснула таким глубоким сном, что ее старые короли, сочтя ее мертвой, надели на нее белый саван. Старая поседевшая армия, выбившись из сил, вернулась домой, и в очагах покинутых замков вновь зажглось унылое пламя» (Там же: 31). И эти дети «смотрели на землю, на небо, на улицы и дороги: везде было пусто — только звон церковных колоколов раздавался где-то вдали» (Там же: 32).

Книга Альфреда де Виньи (1797–1863) «Неволя и величие солдата» вышла в 1836 г. (*Vigny* 1836). Виньи — последний отпрыск древнего аристократического рода; его дед, отец и дядя были военными. К моменту падения Империи он был уже 17-летним юношей. Он так писал

о годах своего ученичества: «В последние годы Империи я был легкомысленным лицеистом. Война все перевернула в лицее, барабанный бой заглушал для меня голос наставников, а таинственный язык книг казался нам бездушной и нудной болтовней. Логарифмы и тропы были в наших глазах лишь ступенями, ведущими к звезде Почетного легиона, которая нам, детям, представлялась самой прекрасной из всех небесных звезд» (*Виньи* 1968: 10).

Война владела всеми помыслами юношей: «Ни одна рассудительная мысль не могла надолго овладеть нашими умами, взбодораженными непрерывным громом пушечной пальбы и гулом колоколов, которые отзванивали *Te Deum!* Стоило одному из наших братьев, недавно выпущенному из лицея, появиться среди нас в гусарском доломане и с рукой на перевязи, как мы тотчас же стыдились наших книг и швыряли их в лицо учителям. Да и сами учителя без усталости читали нам бюллетени Великой армии, и наши возгласы “Да здравствует Император!” прерывали толкование текстов Тацита и Платона. Наши наставники походили на герольдов, наши классы — на казармы; наши рекреации напоминали маневры, а экзамены — войсковые смотры» (Там же: 10).

Именно тогда у молодежи зародилась непреодолимая тяга к славе и победам: «И вот с той поры во мне вспыхнула особенно ярко поистине необузданная любовь к военной славе; страсть моя оказалась тем более пагубной, что именно в это время Франция, как я уже говорил, начинала от нее излечиваться» (Там же: 10).

Сразу после установления режима Реставрации Виньи поступил в Конную роту Королевских жандармов личного эскорта короля, а после Ста дней был зачислен в 5-й пеший гвардейский полк, где в 1822 г. получил чин лейтенанта; в 1823 г. был переведен в 55-й линейный полк с чином капитана. Однако наступило разочарование, ведь Бурбоны, вернувшиеся на трон, не могли реализовать потребность в военной славе: «Лишь гораздо позднее я обнаружил, что вся моя служба в армии не что иное, как длительное заблуждение, и что я, обладая чисто созерцательной натурой, приобщился к жизни, требовавшей прежде всего деятельности. Но я шел по стопам поколения эпохи Империи, которое было рождено вместе с нашим веком и к которому принадлежал я сам» (Там же: 10).

Эта молодежь, сама не прошедшая войну, во многом ее идеализировала и воспринимала как норму жизни: «Война представлялась нам столь естественным состоянием для нашей страны, что, когда мы, привычно повинувшись нашему бурному влечению, прямо со школьной скамьи устремились в ряды армии, мы не могли поверить в длительный, ничем не возмутимый мир. <...> С каждым годом появлялась надежда на то, что война все-таки начнется, и мы не осмеливались расстаться со шпагой, опасаясь, как бы день нашего ухода в отставку не стал кануном выступления в поход» (Там же: 10–11). В 1827 г. по состоянию здоровья он вышел в отставку.

Стендаль 10 ноября 1836 г. в газете *La Préface* начал публиковать

первые строки своей новой «Жизни Наполеона»: его материалы остались в Милане, и он, не зная, сохранились ли они, решил написать новую работу.

Не меньшим, если не большим создателем «наполеоновской легенды» был Пьер-Жан Беранже (1780–1856), чьи стихи, становившиеся песнями, сразу шли в народ. Первоначально они становились известны в устном исполнении, и нередко проходили годы между их созданием и первой публикацией⁷. Как и другие творцы поколения романтиков, Беранже приветствовал в наполеоновской эпопее эпический момент национальной истории как символ поиска свободы и оппозиции королевской власти. Скорее именно протест против монархии Бурбонов, нежели восхищение Наполеоном, вдохновлял его писать песни об императоре. Такова, например, «Белая кокарда»:

*День мира, день освобождения,
О, счастье! мы побеждены!..
С кокардой белой, нет сомненья,
К нам возвратилась честь страны
(Беранже 1976: 78).*

Или «Старый сержант»:

*Что же слышит он вдруг?
Бьют вдали барабаны.
Там идет батальон! К сердцу хлынула
кровь...*

⁷ При жизни поэта вышло несколько сборников его песен: «Песни нравственные и другие» (1815); «Песни» (1821) и «Новые песни» (1829) — последние два издания сопровождались судебными процессами; новый сборник песен вышел в 1833 г. Последняя небольшая прижизненная публикация песен относится к 1847 г.

*Проступает на лбу шрам багряный
от раны.
Старый конь боевой шпоры чувствует
вновь!
Но увь! Перед ним ненавистное знамя!..
Говорит он со вздохом, печален и строг:
«Час придет! За отчизну сочтемся
с врагами!..
Смерть хорошую, дети, пусть подарит
вам бог!»*
(Там же: 186).

Ностальгия по славным годам императорской Франции в полной мере проявилась в песне «Старое знамя»:

*На днях – нет радостней свиданья –
Я разыскал однополчан,
И доброго вина стакан
Вновь оживил воспоминанья.
Мы не забыли ту войну,
Сберег я полковое знамя.
Как выцвело оно с годами!
Когда ж я пыль с него стяхну?
(Там же: 149).*

Это стремление «стяхнуть пыль» со знамени и вновь ввязаться в бой, вновь развернуть знамя на Рейне — доминирующее чувство французов. Даже несмотря на то, что Наполеон умер, народ верит в его возвращение, как, например, в стихотворении «Народная память»:

*— Вот он! Увели героя,
И венчанную главу
Он сложил не в честном бое—
На песчаном острове.
Долго верить было трудно...
И ходил в народе слух,
Что какой-то силой чудной
К нам он с моря грянет вдруг
(Там же: 208).*

Середина 1830-х гг. — это время широкого наполеоновского культа. В 1836 г. была открыта Триумфальная арка, строительство которой было предпринято еще Наполеоном, запечатлевшая имена всех его побед. В 1837 г. Луи-Филипп превращает Версаль в национальный музей, создав там Галерею славы, где в живописных полотнах были запечатлены и битвы Империи. В эти годы французы настойчиво требовали вернуть останки Наполеона на берега Сены, туда, где он хотел быть погребенным. Этот апофеоз наполеоновского культа произошел 15 декабря 1840 г.⁸ У Стендаля был свой проект могилы для императора: «В наше время, когда нет уже Микеланджело, надо с осторожностью прибегать к тому, чтобы прислушаться к голосу общественного мнения. Вот мое предложение: воздвигнуть круглую башню высотой в 150 шагов и 100 шагов в диаметре, как у могилы Адриана (замка Святого Ангела) в Риме» (*Stendhal* 1929: II).

Этому грандиозному событию предшествовало и литературное прославление. В самом начале 1840 г. вышла новая книга Александра Дюма — не театральная драма, а проза «Наполеон», основанная на воспоминаниях уже покойного к тому времени отца-генерала, его сослуживцев и немногих собственных воспоминаний с добавлением того, что уже было опубликовано во Франции (*Искуль* 2012: 7). «Наполеон» — это не художественное произведение, а «жизнеописательная биография». Здесь нет ярких обра-

зов, психологических наблюдений, это скорее повествование историка, при этом сугубо оправдательное.

Виктор Гюго описал это событие в «Посмертных записках», назвав его «монументальной галиматьей» (*Гюго* 2007). Но так он выразил свое отношение к самой церемонии, а Наполеону посвятил поэму «Возвращение императора» (*Hugo* 1840) и «15 декабря 1840 года». В оригинале поэма занимает более сорока страниц, а в переводе Валерия Брюсова это весьма короткое стихотворение.

*Бывало, города смирял ты без усилья,
Мадрид и Ратисбон, Варшава и Севилья,
Неаполь пламенный и Вена пред тобой,
О Цезарь, падали. Ты лишь наморщишь
брови,*

И ступит гвардия: при кликах

славословий

Победой кончен бой!

Гюго вспоминает великие победы и завоевания Наполеона:

*Одним сражением, как роковой десницей,
Ты повергал во прах столицу
за столицей.*

*Шум Иены прозрел, — и гордую главу
Склонил Берлин; вели тебя неутомимо
Аркола в Мантую, Маренго — в стены
Рима,*

Бородино — в Москву!

Однако труднее всего оказалось завоевать Париж, и удалось это сделать Наполеону только после смерти:

*Чтоб покорить Париж, ты должен
был из гроба*

Завоевать умы, торжествовать

над злобой,

Европы сделаться и сердцем и душой,

⁸ См. об этом: (*Таньшина* 2016).

*И перед миром встать, в своем величьи
строгом,
Каким-то призраком, почти что
полубогом,
Иль тенью неземной!*
(Торжественный привет 1977: 104).

И завершается поэма настоящим гимном во славу императора:

*О солнце наших дней! Все звезды вихрем
света
Ты должен был затмить: сиянье
Лафайэта
И пламя Мирабо! И, разогнав туман,
Из отдаленных стран подняться
величаво,
Где славу вечную смешал с твоею славой
Безмерный океан*
(Там же: 105).

К проблеме ветеранов войны, «половиноокладных», в это время обратился Проспер Мериме, родившийся в 1803 г. и заставший наполеоновскую империю ребенком. 1 июля 1840 г. в журнале «Обозрение двух миров», а потом отдельным томом была опубликована повесть «Коломба». Главный герой, офицер Орсо делла Реббиа, сын полковника, уволенного с половинным окладом и убитого на Корсике, прибыл на остров, где ему предстояло направить свою энергию в русло кровной мести. «Меня отставили с половинным жалованьем за то, должно быть, что я был под Ватерлоо и что я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой без надежд, без денег, как говорит песня» (Мериме 1983: 315). Он был под Ватерлоо несмотря на свою молодость; это была его единственная кампания, ведь в последний призыв Наполеон набирал 15-летних.

Юная англичанка, мисс Лидия, дочь английского военного, прибывшая с отцом на остров как туристка, первым делом посетила дом Бонапарта (ведь для англичан Наполеон — враг предпочитаемый: он был великий и они его победили), побывала в комнате, где он родился, и даже, «более или менее безгрешными средствами», достала себе ключок от обоев из этой комнаты (Там же: 325).

В 1839–1846 гг. Стендаль пишет «Пармскую обитель». Наполеон — преемник Цезаря и Александра: «15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая прошла мост у Лоди, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник». «Чудеса отваги и гениальности, которым Италия стала свидетельницей, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ; еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убежать от войск его императорского и королевского величества, — так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходявшая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь» (Стендаль 2018: 9).

Акция Луи-Филиппа по перезахоронению останков Наполеона не способствовала популярности «короля-гражданина»; более того, сравнения с императором были явно не в его пользу. Кроме того, это событие было использовано бонапартистами: Луи-Наполеон совершил попытку переворота, правда, как и в 1836 г., неудачную.

Как мы помним, начало Реставрации было ознаменовано появлением работы Шатобриана, создателя «черной легенды». Он же подвел итоги Июльской монархии, но теперь уже развивая «золотую легенду». Луи-Филипп потерял власть в результате Февральской революции 1848 г., а Шатобриан умер 4 июля. Согласно его воле, «Замогильные записки», к работе над которыми он приступил еще в начале 1810-х гг. и которые приобрели свой очертания в 1830-е гг., подлежали публикации после его смерти. Вероятно, их читатели были весьма удивлены эволюцией образа Наполеона у прославленного писателя. Если в работе «Бонапарт и Бурбоны» мы видим жесткую критику «ошибок глупца» и «преступника», то в «Замогильных записках» — уже восхваление нового Александра. Шатобриан, кажется, забыл то, что писал о Наполеоне раньше. Теперь он его оправдывает, точнее, объясняет, почему ему многое прощается. И не только им, Шатобрианом, но нацией как таковой. По его словам, французы старались не вспоминать, что Франция в итоге потерпела сокрушительное поражение, и помнили лишь о былых победах: «Дабы не признавать, что по вине Бонапарта территория Франции и ее могущество уменьшилось, нынешняя молодежь утверждает, что, если силы наши его стараниями ослабли, слава лишь окрепла. “Разве молва о нас не гремит во всех уголках земли, — говорят они, — разве неправда, что на всех широтах французов и боятся, и на них равняются, перед ними заискивают?”» (Шатобриан 1995: 322).

Все годы революционного и наполеоновского лихолетья, все неисчислимы жертвы были компенсированы, по словам Шатобриана, славой, которой их обессмертил Наполеон. Спустя более чем столетие об этом скажет Шарль де Голль в беседе с Андре Мальро: «Он оставил Францию меньшей, чем он ее нашел, это так... Но это как с Версалем: его надо было создавать. Нельзя торговать величием» (Malraux 1971: 102).

Кроме того, для молодого поколения Наполеон являлся примером *self-made man*, человека, который сам себя сделал. Шатобриан писал: «...чудесные победы наполеоновской армии покорили воображение молодежи, научив ее преклонению перед грубой силой. Неслыханный успех Бонапарта вселил в каждого дерзкого честолюбца надежду подняться до тех же высот» (Шатобриан 1995: 321).

Как и другие писатели-романтики, Шатобриан отмечал, что немало способствовал популярности императора и печальный финал его жизни: «Чем больше узнавали французы о муках, которые Наполеон претерпел на Святой Елене, тем больше смягчались их сердца; воспоминания о тиране постепенно изглаживались из нашей памяти, уступая место образу полководца, сначала побеждавшего наших врагов, а затем, когда они, впрочем, по его вине, ступили на нашу землю, защищавшего нас от них; мы воображаем, что, будь он жив сегодня, он избавил бы нас от теперешнего позора: невзгоды возвратили его известность, несчастья умножили его славу» (Там же: 321).

Несмотря на то, что популярность имени Наполеона и «наполеоновская легенда» не означали популярности бонапартизма как политического течения, в 1848 г. легенда и имя Наполеона были использованы бонапартистами, чтобы избрать своего кандидата, Луи-Наполеона, президентом Республики. 2 декабря 1851 г. племянник Наполеона совершил государственный переворот, а ровно год спустя в результате плебисцита во Франции была восстановлена империя.

Именно в годы Второй империи создает свою апологию Наполеона Виктор Гюго. В 1852 г. Луи-Наполеон, заклеянный писателем «Наполеоном малым», отправил его в ссылку. В Англии, на острове Джерси, Гюго создает поэму «Возмездие», где сравнивает двух императоров, и начинает писать «Отверженных».

В 1861 г. Гюго отправился на поле Ватерлоо, посетил все места, связанные с битвой (*Detougin* 2005: 20). В «Отверженных», появившихся в 1862 г., в конце знаменитой главы, посвященной Ватерлоо, Гюго подвел итог наполеоновской эпопее и личности Наполеона, которая, по словам писателя, «сама по себе значила больше, чем все человечество в целом». Однако «избыток жизненной силы человечества, сосредоточенной в одной голове, целый мир, представленный в конечном счете мозгом одного человека, стали бы губительны для цивилизации, если бы такое положение продолжалось» (*Гюго* 2013: 299). Сама же битва при Ватерлоо, убежден писатель, изменила облик вселенной.

«Ватерлоо — это стержень, на котором держится XIX век» (Там же: 307).

Гюго обращает внимание на огромные жертвы, принесенные Наполеоном на алтарь своей славы, поэтому поражение при Ватерлоо для него закономерно: «Дымящаяся кровь, переполненные кладбища, материнские слезы — все это грозные обвинители. Когда мир страждет от чрезмерного бремени, мрак испускает таинственные стенания, и бездна им внемлет. На императора вознеслась жалоба небесам, и падение его было предрешено». Наполеон, по словам Гюго, «мешал богу», а «чрезмерный вес его в судьбе народов нарушал общее равновесие» (Там же: 299).

Гюго очень точно описал послевоенную психологическую ситуацию: «Фон Европы после Ватерлоо стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась огромная, зияющая пустота» (Там же: 317). Однако легенда уже пустила глубокие корни, и народ, превращенный Наполеоном в «пушечное мясо, влюбленное в своего канонира», продолжал жить в плену этого мифа. Особенно молодежь, увлекавшаяся, к удивлению Гюго, одновременно и будущим — Свободой, и прошедшим — Наполеоном» (Там же: 318).

Как показала история, имя Наполеона Бонапарта и в дальнейшем не утратило своего магнетизма. И уже не столь важно, идет ли речь о реальном историческом персонаже или мифе, образе, созданном

писателями и поэтами-романтиками. Как писал Ф. Р. Шатобриан, «мир принадлежит Бонапарту; то, чего не успел захватить сам деспот, покорила его слава; при жизни он выпустил мир из рук, но после смерти вновь завладел им. Говорите что хотите – никто не станет вас слушать. <...> Ныне Бонапарт уже не реальное лицо, но персонаж легенды, плод поэтических выдумок, солдатских преданий и народных сказок...» (Шатобриан 1995: 324). Эти слова, написанные почти двести лет назад, вполне применимы и к дню сегодняшнему. Граница между Наполеоном Бонапартом, реальной исторической фигурой, и художественным образом стерлась...

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Бальзак 1982 – *Бальзак О.* Полковник Шабер // *Собрание сочинений*: в 10 т. Т. 1. М., 1982.

Бальзак 1995 – *Бальзак О. де.* Сельский врач // *Собрание сочинений*: в 10 т. Т. 8. М., 1995.

Беранже 1976 – *Беранже П.-Ж.* Песни. *Барбье О.* Стихотворения. *Дюпон П.* Песни // Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Т. 69. М., 1976.

Виньи 1968 – *Виньи А. В.* Неволя и величие солдата. Издание подготовили Б. Г. Реизов, А. М. Шадрин, А. А. Энгельке. Перевод, биографический очерк и примечания А. А. Энгельке. Статья Б. Г. Реизова. Л., 1968.

Гейне 1958 – *Гейне Г.* Французские дела // *Собрание сочинений*: в 10 т. Т. 5. М., 1958.

Гюго 2003 – *Гюго В.* Поэзия // *Собрание сочинений*: в 14 т. Т. 12. М., 2003.

Гюго 2007 – *Гюго В.* Посмертные записки. 1838–1875. М., 2007.

Гюго 2013 – *Гюго В.* Отверженные / пер. Д. Лившиц, Н. Коган, Н. Эфрос, К. Локса, М. Вахтеревой, В. Левика. СПб., 2013.

Гюго 2019 – *Гюго В.* Два острова. URL: wysotsky.com/0009/087.htm#02 (дата обращения: 09.02.2019).

Мериме 1983 – *Мериме П.* Колумба // *Собрание сочинений*: в 4 т. Т. 2. М., 1983.

Мюссе 1988 – *Мюссе А. де.* Исповедь сына века: роман, новеллы, пьесы / пер. с фр. В. А. Мильчиной. М., 1988.

Санд 1996 – *Санд Ж.* Индиана // *Собрание сочинений*: в 14 т. Т. 1. М., 1996.

Стендаль 1993, т. 1 – *Стендаль.* Красное и черное // *Собрание сочинений*: в 5 т. Т. 1. М., 1993.

Стендаль 1993, т. 3 – *Стендаль.* Жизнь Наполеона / пер. А. С. Кулишер // *Собрание сочинений*: в 5 т. Т. 3. М., 1993.

Стендаль 2018 – *Стендаль.* Пармская обитель / пер. Н. Немчиновой. СПб.; М., 2018.

Торжественный привет 1977 – Торжественный привет. Стихи зарубежных поэтов в переводе Валерия Брюсова. М., 1977.

Шатобриан 1995 – *Шатобриан Ф. Р. де.* Замогильные записки. М., 1995.

Chateaubriand 2004 – *Chateaubriand F.-R., de.* Buonaparte et des Bourbons. Paris, 2004.

Hugo 1840 – *Hugo V.* Le Retour de l'Empereur. Paris, 1840.

Musset 1836 – *Musset A. de.* Confession d'un enfant du siècle. Paris, 1836.

Stendhal 1929 – *Stendhal.* Napoléon. Mémoires sur Napoléon. Paris, 1929.

Vigny 1836 – *Vigny A. de.* Servitude et grandeur militaire. Paris, 1836.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Искюль 2012 – *Искюль С. Н.* «Наполеон» А. Дюма: к истории издания // Дюма А.

- Наполеон / пер. с франц. С. Н. Искюля. СПб., 2012.
- Робб* 2016 — *Робб Г.* Жизнь Гюго. М., 2016.
- Суприо* 2003 — *Суприо П.* Бальзак без маски. М., 2003.
- Тяньшина* 2016 — *Тяньшина Н. П.* Наполеоновская легенда во Франции в годы Июльской монархии // Новая и новейшая история. 2016. № 5.
- Тяньшина* 2019 — *Тяньшина Н. П.* Наполеон Бонапарт в исторической памяти: между мифом, брендом и легендой // Новая и новейшая история. 2019. № 3. С. 146–166.
- Demougin* 2005 — *Demougin J.* Napoléon, la légende. Paris, 2005.
- Grubnerg* 2015 — *Grubnerg G.* Napoléon Bonaparte. Le noir génie. Paris, 2015.
- Hazarresingh* 2015 — *Hazarresingh S.* Napoléon Bonaparte. Le noir génie. Paris, 2015.
- Jospin* 2014 — *Jospin L.* Le Mal napoléonien. Paris, 2014.
- Jourdan* 2008 — *Jourdan A.* L'Empire de Napoléon, 1799–1815. Paris, 2008.
- Pagé* 2013 — *Pagé S.* Le mythe napoléonien. De Las Cases à Victor Hugo. Paris, 2013.
- Kern* 2016 — *Kern E.* Napoléon. Deux cents ans de légende. Histoire de la mémoire du premier empire. Paris, 2016.
- Malraux* 1971 — *Malraux A.* Les chenes qu'on abat. Paris, 1971.
- Petiteuau* 2008 — *Petiteuau N.* Les Français et l'Empire, 1799–1815. Avignon, 2008.
- Poisson* 2004 — *Poisson G.* *Aventure du Retour de cendres.* Paris, 2004.
- Tulard* 1965 — *Tulard J.* L'Anti-Napoléon: la légende noire de l'Empereur. Paris, 1965.

NAPOLEON BONAPART AS A LITERARY IMAGE: THE FORMATION OF "THE NAPOLEON LEGEND" IN THE FRENCH LITERATURE OF ROMANTIC ERA

Tanshina Nataliya P. — Dr. Hab. (History) professor of the General History Department, the Institute of Social Sciences, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Leading Researcher of the Laboratory of Western European and Mediterranean Historical Studies at the Faculty of History, State academic university for the humanities; professor of Modern History Chair, the Moscow Pedagogical State University (Moscow)

Key words: Napoleon Bonaparte, "Napoleonic Legend", French Romantic Literature, F. R. de Chateaubriand, O. Balzac, Stendhal, V. Hugo, A. de Vigny, A. de Musset, J. Sand, P.-J. Béranger, P. Mérimée.

Abstract. Fiction has a powerful influence on the formation of historical memory and historical ideas. It was the novels of A. Dumas and P. Mérimée that formed the classic vision of the tragic events of the St. Bartholomew's Night; Napoleon and the Patriotic War of 1812 are judged in Russia specifically after the works of L. N. Tolstoy. Walter Scott's epic about Napoleon shaped his image in the British public consciousness. Chateaubriand, Musset, Balzac, Stendhal, Hugo, Dumas, Beranger, together with the soldiers of the Great Army, stood at the origins of the legend and myth of Napoleon. Some of these writers were somehow connected with the Napoleonic wars. Hugo and Dumas were the sons of the generals of the Empire; Musse and Vigny were born

at the beginning of the century and reflected the sentiments of a whole generation who did not participate in the war, but was born in the war years and lived in the atmosphere of victories. This article is devoted to the study of the formation of "the Napoleonic legend" in France during the Restoration (1814–1830) and the July monarchy (1830–1848) by the French writers and poets of the romantic direction.

REFERENCES

- Demougin J. *Napoléon, la légende*. Paris, 2005.
- Grubnerg G. *Napoléon Bonaparte. Le noir génie*. Paris, 2015.
- Hazarresingh S. *Napoléon Bonaparte. Le noir génie*. Paris, 2015.
- Jospin L. *Le Mal napoléonien*. Paris, 2014.
- Jourdan A. *L'Empire de Napoléon, 1799–1815*. Paris, 2008.
- Iskyul' S.N. «Napoleon» A. Dyuma: k istorii izdaniya. St. Petersburg: Soyuz pisatelej Sankt-Peterburga, 2013.
- Kern E. *Napoléon. Deux cents ans de légende. Histoire de la mémoire du premier empire*. Paris, 2016.
- Malraux A. *Les chènes qu'on abat*. Paris, 1971.
- Pagé S. *Le mythe napoléonien. De Las Cases Victor Hugo*. Paris, 2013.
- Petiteuau N. *Les Français et l'Empire, 1799–1815*. Avignon, 2008.
- Poisson G. *Aventure du Retour de cendres*. Paris, 2004.
- Robb G. *Zhizn' Giugo*. Moscow, 2016.
- Siprio P. *Bal'zak bez maski*. Moscow, 2003.
- Tan'shina N.P. Napoleonovskaya legenda vo Francii v gody Iyul'skoj monarhii. *Novaya i novejschaya istoriya*, 2016, no. 5, pp. 26–44.
- Tan'shina N.P. Napoleon Bonapart v istoricheskoy pamyati: mezhdumifom, brendom i legendoj. *Novaya i novejschaya istoriya*, 2019, no. 3, pp. 146–166.
- Tulard J. *L'Anti-Napoléon: la légende noire de l'Empereur*. Paris: R. Julliard, 1965.

«ИЗМЕНА ГЕТМАНА МАЗЕПЫ НЕ СТАЛА ВОДОРАЗДЕЛОМ В РУССКО- УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ, А ТОЛЬКО СПОРНЫМ МОМЕНТОМ В РУССКОЙ И УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ».

Интервью с В. А. Артамоновым

Ключевые слова: Петр I, Карл XII, И.С. Мазепа, Северная война, Полтавская битва, внешняя политика России.

Аннотация: Один из крупнейших российских специалистов по Петровской эпохе, автор фундаментальных трудов по истории Северной войны и внешней политике России начала XVIII в. рассуждает о степени изученности русско-польских и русско-украинских отношений этого периода, оценивает значение и перспективы дальнейших исследований Полтавской битвы 1709 г.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-188-194

Владимир Алексеевич Артамонов — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, автор многих работ по военной истории

России в эпоху Петра I и ключевым проблемам международных отношений в Восточной Европе в конце XVII — начале XVIII в.

Вопросы формулировали Я. А. Лазарев, К. А. Кочегаров

Я. Л., К. К. Что предопределило ваш выбор как историка-полони-

ста? Какова была роль в этом процессе видного слависта Владимира Дорофеевича Королюка?

© Историческая Экспертиза, 2019

Артамонов Владимир Алексеевич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва); voencentririran@yandex.ru

В. А. Со школы интересовался русской историей и археологией. В 1960 г. спонтанно возник интерес

к славянским народам, и в особенности к истории Польши. Читал романы Г. Сенкевича, Б. Пруса, Э. Ожешко, смотрел фильмы А. Вайды, Е. Гоффмана, А. Форда. Самочкой научился читать по-польски, сравнивая одинаковые тексты газет «Трибуна люду» и «Правды». Читал журналы «Виднокренги», «Политыка», «Шпильки», «Пшиязнь», выписывал «Пшекруй», «Фильм», черпая через «польское окно» информацию, не скованную столь жесткими ограничениями, как это было в СС-СР. С 1962 г. вел переписку с адресатами всех славянских стран, в том числе почти два десятка лет с двумя пожилыми польскими учительницами из г. Пабянице близ Лодзи.

В 1966 г., поступая в аспирантуру Института славяноведения АН СС-СР, выразил желание заняться этногенезом славян, чем вызвал взрыв смеха историков сектора славяно-германских отношений, знавших сложность подобной темы. Профессор-славист Владимир Дорофеевич Королюк (1921–1981) посоветовал принять от него эстафету и исследовать русско-польские отношения в Северной войне. По периоду 1697–1704 гг. Королюк написал кандидатскую (а по сути докторскую) диссертацию в четыре машинописных тома, выжимки из которых публиковались в журнале «Вопросы истории» (1948) и в «Ученых записках Института Славяноведения АН СССР» (1951–1954). С его подачи у меня вышла книга «Россия и Речь Посполитая после Полтавской победы (1709–1714)» (М., 1990).

В. Д. Королюк ввел в научный оборот огромные пласты дипломати-

ческих документов РГАДА из фонда «Сношения России с Польшей» за 1697–1704 гг., касающихся Польши (102 дела), а также десятки дел, относящихся к отношениям России с Австрией, Пруссией, Данией, Швецией, Крымом, политике в отношении Малороссии, развернув панорамную картину международных отношений в ту эпоху. Его труд сразу был переведен на польский язык¹. В Институте славяноведения многие научные сотрудники были полонофилами. Владимир Дорофеевич, отличавшийся любовью к славянству, Польше и польской культуре (своего сына он назвал именем Станислав), всегда радушно встречал польских коллег, наезжавших в Москву.

Я. Л., К. К. Насколько сейчас актуально научное наследие вашего учителя, особенно в свете критики его работ польским историком Я. Бурдовичем-Новицким?

В. А. В ПНР В. Д. Королюк заслуженно пользовался высоким авторитетом. Ум его отличался необычайной эрудицией, рождал новаторские концепции и охватывал историю человечества от Древнего мира до XX в. Докторская диссертация В. Д. Королюка была опубликована в 1964 г. под названием «Западные славяне и Киевская Русь в X–XI вв.» (М., 1964. Переиздана в 2010 г.).

В 2010 г. польский историк Яцек Бурдович-Новицкий издал огромную, объемом в 767 с. работу, написанную с использованием 33 дел

¹ *Koroluk W. D. Polska i Rosja a wojna północna. Warszawa, 1954.*

за 1700–1707 гг. из фонда «Сношения России с Польшей»² (моя рецензия на нее опубликована в: Меншиковские чтения: научный альманах. СПб., 2011. Вып. 2 (9). С. 98–105). Свободно владея новейшей литературой стран Центральной, Северной и Восточной Европы (которой не имелось в распоряжении Королюка), автор не только охарактеризовал дипломатию Москвы в отношении Польско-саксонской личной унии, но «взвесил» роль России в политике Австрии, Пруссии, Франции и Саксонии и уточнил многие положения советского предшественника. В целом фундаментальный труд Бурдовича-Новицкого представляет серьезное подспорье при изучении русско-польских отношений начала XVIII в. К сожалению, автор необоснованно счел труд В.Д. Королюка «отягощенным грехами сталинской историографии». Он обвинил его в «неумении работать с исследуемым материалом» и приписал тому мнение, что мощь России при Петре I была столь же важным фактором международной жизни, как при Екатерине II, так и при Сталине. Образ России как «извечного» противника Польши Бурдович-Новицкий тенденциозно опрокинул в 1697–1706 гг. Тем не менее полагаю, что оба эти исторических труда останутся заметными вехами в изучении истории польско-русских отношений.

Я.Л., К.К. Какие, на ваш взгляд, проблемы источниковедческого плана существуют в изучении российско-польских отношений пе-

² *Burdowicz-Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita 1697–1706. Kraków, "Arkana", 2010.*

риода Северной войны? Можно ли сказать, что весь основной корпус источников введен в научный оборот, или исследователей еще ждут интересные находки в архивных и библиотечных собраниях?

В.А. Имеет смысл продолжить исследование русско-польских отношений вплоть до конца Северной войны 1714–1721 гг. Можно заметить, что рукописный текст, помимо своего содержания, через века доносит и иную, дополнительную информацию дотошному историку. Поэтому так важно работать с архивными материалами. Кроме того, в Швеции опубликовано достаточное количество исторических источников, откуда можно почерпнуть много новых ценных подробностей, и именно на них следует обратить особое внимание. Вот некоторые из них:

Lewenhaupt A.L. Adam Ludwig Lewenhaupts berättelse med bilagor. Stockholm, 1952.

Generalmajor Creutz' relation med bilagor // Lewenhaupt A.L. Adam Ludwig Lewenhaupts berättelse med bilagor. Stockholm, 1952.

Siltmann D.N. «Volontären» vid Svenska armen preussiske öfverstlöjtnanten baron D.N. v. Siltmanns dagbok 1708–1709 // Karolinska krigares dagböcker (Далее – KKD). Lund, 1907. Т. 3.

Petre R. Fänrik Robert Petres dagbok 1702–1709 // KKD. Lund, 1901. Т. 1.

Jeffreyes J. Captain James Jeffreyes's Letters to the Secretary of State, Whitehall, from the Swedish Army 1707–1709. // Historiska handlingar. Stockholm, 1953. N 35/1.

Lyth I.M. Löjtnant Joachim Mattias Lyths dagbok 1703–1722 // Karolinska dagböcker. Stockholm, 1958.

Roos K. Generalmajor Roses relation // Karolinska krigares dagböcker. Lund, 1903. Bd. 2.

Weihe Fr. Chr. Löjtnanten Fr. Chr. von Weihes dagbok 1708–1712 // Historiska handlingar. Stockholm 1902. Del 19. N 1.

Я.Л., К.К. В своих работах вы подробно анализируете не только специфику взаимоотношений Российского государства с Речью Посполитой в годы Северной войны, но и тематику российско-украинских отношений в отмеченный период. Какие, по вашему мнению, существуют проблемы в изучении этих сюжетов, насколько разительно отличаются позиции по данным сюжетам в российской и украинской историографиях?

В.А. Раскол общего мира восточного славянства стал — таково мое мнение — катастрофой для русских и украинцев. Нынешние украинские радикалы оправдывают свою ставку на мононациональную Украину опасением, что иначе малороссы якобы «растворятся» в великорусском море. На мой взгляд, это фальшивый тезис: украинский народ никогда не исчезнет, даже будучи в теснейшем сплочении с русскими. В краткий исторический период после крушения Советского Союза из подполья вырвалась поначалу узкая националистическая идея, а с началом «Руха» в 1989 г. она «взорвалась» своего рода украинским великодержавием, принимающим иногда, как мне кажется, довольно дикие формы. Но вернемся к временам Петра I.

В Северной войне казачество и крестьянство Гетманщины объединяли с великороссами осознание единст-

ва русского народа, православная взаимность, общие святыне и отношение к царской власти как к сакральной. Но часть старшины стремилась к сближению с Польшей, где можно было надеяться обрести шляхетские привилегии. Никакого резона для себя в пробивании «окна в Европу» старшина не видела и надеялась избавиться от «бессмыслицы» Северной войны. (В России точно так же многие тяготились этой войной.) Но в условиях Гетманщины это была по сути только горстка людей.

Я.Л., К.К. Хотелось бы заострить ваше внимание на одной из самых противоречивых фигур в российско-украинских отношениях — гетмане И.С. Мазепе. В чем вы видите причины перехода гетмана на сторону шведского короля? Насколько можно считать факт измены — водоразделом в российско-украинских отношениях?

В.А. Русский протекторат обеспечил Гетманщине приемлемый уровень жизни. И.С. Мазепа с 1687 г. 20 лет был ценным информатором по украинским, польским, молдавским и крымским делам и волей-неволей способствовал укреплению русского абсолютизма. Главным для него было сохранение богатства и стремление властвовать вместе со старшинской верхушкой над крестьянством. О «независимости» Гетманщины, стиснутой между Польшей, Крымским ханством и Россией, Мазепа не думал и без появления шведов переходить под шведско-польский протекторат не собирался. В украинской историографии ныне Мазепа зачастую

представляется величайшим национальным героем «титанического величия», спасавшим Гетманщину от «московского террора» и тактики «выжженной земли». Однако Петр I отнюдь не собирался, да и не мог, как пишут сейчас многие украинские историки, «стереть с лица земли Украину» — то бишь все украинские земли вплоть до Львова.

Измена гетмана не стала водоразделом в русско-украинских отношениях, а только спорным моментом в русской и украинской историографии. В недавних работах шведов приводятся доводы, что переговоры с Мазепой велись по инициативе польского короля Станислава Лещинского, но «тайный договор» с ним — это миф, использованный шведской и русской пропагандой. Марш шведов на Украину начался без соглашения с гетманом³. Бегство к шведам оказалось вынужденным, и в ноябре 1708 г. Мазепа решил переменить обратную сторону под державу Петра, обещая взамен за возвращение гетманской булавы захватить Карла XII (это замалчивают украинские историки). Шведский король не собирался предоставлять независимость Гетманщине. Важнее была для него вассальная Речь Посполитая, которая, со Смоленском и Киевом, обеспечила бы торговлю по линии Балтика — Восток путем установления контроля над двинско-днепровским путем. Показательно, что в память украинцев той эпохи он вошел как «клятый Мазепа» и символ предательства.

³ *From P. Katastrofen vid Poltava. Karl XII: s ryska flit g 1707–1709. P ssneck, 2007. S. 71, 224, 227–228.*

Я. Л., К. К. Как вы оцениваете значение Полтавской битвы для русской истории в отражении современной отечественной историографии?

В. А. Кому-то мое сравнение покажется экстравагантным. Но признавая разницу эпох, Полтавскую битву можно сопоставить со Сталинградской. Ведь и та, и другая стали переломными для хода войны. День 27 июня 1709 г. перевернул международные отношения в Восточной, Северной и части Центральной Европы. Россия стала значимым региональным государством. Часть отечественных историков полагает, что Россия уже тогда обрела статус мировой великой державы, наряду с монархией Габсбургов, Францией, Великобританией, Нидерландами и евразийско-африканской Османской империей⁴.

Однако действительно мировой державой Россия стала только при Екатерине II с 1770-х гг., когда, по словам канцлера А. А. Безбородко, «ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не сме-ла».

Я. Л., К. К. Каковы современные оценки Полтавского сражения в украинской и шведской историографиях? Есть ли у них точки соприкосновения? Дискуссионные моменты?

В. А. Для мазепинцев и шведов Полтавское сражение однозначно стало катастрофой. Украинские истори-

⁴ *Кротов П. А. Российский флот на Балтике при Петре Великом. СПб., 2017. С. 64–67, 479, 490.*

ки обычно записывают мазепинцев и запорожцев в разряд верных шведских «союзников», но при этом уходят от оценки, какую пользу принесли они шведам. Ни русские, ни шведы не считали казаков способными сражаться с регулярными полками русской и шведской армий. По некоторым источникам, запорожцы боялись гранат и пушек и разбегались с земляных работ, которыми заставили их заниматься шведы, и хотели вообще покинуть Мазепу. Шведское командование плохо вооруженных запорожцев считало сбродом. Карл XII, учитывая ничтожную боеспособность казаков, резонно не вывел их на Полтавское поле. Только часть «добровольцев» проникла туда, но быстро сбежала и не участвовала в главном бою.

Я.Л., К.К. Можно ли говорить о том, что Полтавская битва, ее исход стал одним из факторов, изменивших расклад сил на европейской арене, и, в частности, предопределил военный и политический упадок Швеции и утрату ей статуса великой державы?

В.А. Да, Полтавская победа предопределила военный и политический упадок Швеции. Но видимость шведского великодержавия сохранялась. Сильный шведский флот продолжал контролировать Балтику. И вплоть до стычки (калабалька) Карла XII с турками и татарами в 1713 г., после которой «железную голову» турки вывезли во Фракию, страны Европы считались с ним. Вообще эта виктория изменила расклад сил не на всей «европейской арене», а только в Восточной, Северной и части Центральной Европы.

Победа Петра Великого возродила Северный союз, Саксония и Дания снова начали воевать вместе с Россией против шведов в Балтийском регионе.

Я.Л., К.К. Есть ли, с вашей точки зрения, какие-то неизученные аспекты Полтавского сражения, на которые историкам в ближайшем будущем стоит обратить особое внимание?

В.А. Картина сражения в целом достаточно освещена в недавних пяти монографиях: *Кротов П.А.* Битва при Полтаве. К 300-летней годовщине. СПб., 2009; *Кротов П.А.* Битва под Полтавой. Начало великой России. СПб., 2014; *Артамонов В.А.* Полтавское сражение. К 300-летию Полтавской победы. М., 2009; *Молтусов В.А.* Полтавская битва: уроки военной истории 1709–2009. М., 2009; *Moltusov V. A.* Poltava 1709 – vändpunkten. Borgå, 2010.

В дополнительных разработках нуждаются вопросы, относящиеся к расположению, конфигурации и количеству редутов (10 или 12), их размерам и расстоянию между ними, к виду ретраншемента (правильная трапеция, как показывалось на парадных схемах, или ломаный треугольник), к расположению полков редутного гарнизона (4730 чел.) бригадира С. В. Айгустова. Точно неизвестно количество пушек в редутах и в драгунской коннице и некоторых пехотных полках. Неясна до конца численность русских и шведских войск и национальных формирований. Точка в исследовании Полтавской битвы никогда не будет поставлена.

"HETMAN MAZEPA'S TREASON DID NOT BECOME A WATERSHED IN RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS, BUT ONLY A CONTROVERSIAL MOMENT IN RUSSIAN AND UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY". INTERVIEW WITH V. A. ARTAMONOV

Artamonov Vladimir A. – candidate of historical sciences, senior researcher at the Institute of Russian history of the RAS (Moscow)

Key words: Peter I, Charles XII, Ivan Mazepa, The Great Northern War, The battle of Poltava, The Russian foreign policy.

Abstract: One of the most prominent Russian historians of the Peter the Great era, the author of fundamental works on the history of the Great Northern War and the Russian foreign policy of the beginning of the 18th century discusses the level of research of the Russian-Polish and the Russian-Ukrainian relationships in those times and tries to assess achievements and perspectives of further studies on the battle of Poltava 1709.

«КОНЕЧНО, ТРАДИЦИОННОЕ ЧТЕНИЕ ОСТАЕТСЯ. НО — КАК ЧАСТЬ РАЗМЫВАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ЧТЕНИЯ»

Интервью с М. М. Самохиной

Ключевые слова: социология чтения, юношеское чтение, историческая литература, мемуары, художественная литература на исторические темы, учебные пособия по истории.

Аннотация. Специалист по социологии чтения рассказывает о проблемах юношеского чтения, в том числе чтения исторической литературы.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-195-198

Самохина Маргарита Михайловна, зав. Исследовательским центром «Библиотека. Чтение. Молодежь» Российской государственной библиотеки для

молодежи, кандидат социологических наук, говорит о проблемах юношеского чтения, в том числе чтения исторической литературы

Беседовал А. Стыкалин

А. С.¹ Вы занимаетесь изучением тенденций юношеского чтения, каковы ваши наблюдения о том, что читает московская, а может быть, и не толь-

ко московская молодежь? Чему отдают предпочтение? Художественной литературе и в каких жанрах? А может быть, литературе нон-фикшен? И как варьируются эти тематические предпочтения в зависимости от возраста читателей?

© Историческая Экспертиза, 2019

Самохина Маргарита Михайловна — кандидат социологических наук, зав. Исследовательским центром «Библиотека. Чтение. Молодежь» Российской государственной библиотеки для молодежи (Москва); margarita@library.ru

М. С. «Чтение» и «читатель» (в том числе молодой) — абстрактное понятие. Существует множество

читательских групп и читательских стратегий. Еще в конце 70-х социологи нашей библиотеки (тогда она называлась Государственной республиканской юношеской) показали, что так называемый «круг чтения» реально состоит из чтения делового (для молодежи в основном — учебного) и свободного («для себя») — и они различаются достаточно резко. В общем-то, это банальность, но она и сегодня нередко забывается.

Не менее банально, что массовое свободное чтение (и молодежное тоже) — это чтение так называемой «жанровой» литературы — детективов, приключений, любовных романов; в новые времена сюда добавилось фэнтези (во многом заменившее фантастику), а также боевики, триллеры, мистика, эзотерика. Впрочем, в чтении элитных групп подобная литература тоже присутствует — просто это могут быть авторы и тексты более высокого уровня. К тому же в сегодняшнем литературном пространстве четкая иерархия жанров исчезает.

Значимость нон-фикшен в структуре чтения явно растет. Происходит это прежде всего за счет популярной литературы по психологии (здесь и свободное чтение, и деловое — «бизнес-психология»). Тематика читаемого нередко связана также с IT, фотографией, здоровым образом жизни, изучением языков, туризмом. В общем, речь идет о тех вещах, которыми молодые люди занимаются и интересуются.

А. С. В последние десятилетия совершенно очевидна тенденция:

дети и подростки все более предпочитают черпать информацию из электронных носителей. Это касается и чтения художественной литературы. А каковы ваши наблюдения? Не создается ли в нашу эпоху Интернета угроза для традиционного чтения, для обращения к печатной продукции? И предпринимается ли вашей библиотекой что-то для того, чтобы у новых поколений сохранилась тяга к книге?

М. С. Начну с того, что понятия «чтение» и «книга» жестко не связаны. Так, кстати, было и в советские времена («читающая страна» читала прежде всего все-таки газеты и тонкие журналы), и в досоветские, наверное, тоже. А сегодня эти понятия расходятся все дальше. В реальности (и особенно для молодых) чтение — это далеко не только книги, это все больше «тексты». Все чаще — электронные тексты разного формата, вида и размера, в соединении с картинкой, фильмом, музыкой, объединенные ссылками. Конечно, традиционное чтение остается. Но — как часть размывающегося общего пространства чтения. Библиотеки работают в этом пространстве, с его плюсами и минусами, с угрозами и преимуществами. Неудивительно, что в нашем профессиональном сообществе существуют по этим проблемам разные мнения, ведутся достаточно жаркие дискуссии. Но выражения типа «тяга к книге» мне лично кажутся вчерашним днем.

А. С. Какое место занимает в круге чтения детей и юношества историческая литература? И чему

отдается предпочтение? Историческим романам с закрученным сюжетом или, может быть, научно-популярным книгам и мемуарной литературе? В каких пропорциях читают то и другое?

Есть литература, которая входит в школьные программы, рекомендуется учителями истории для чтения в качестве учебных пособий и дополнительной литературы. Востребована ли прежде всего именно эта литература, или все-таки юный читатель уделяет больше времени и внимания литературе «внепрограммной»?

М. С. Информации такой, к сожалению, очень мало, и она отрывочная. Интерес к истории, в частности к «острым» эпизодам отечественной истории, безусловно, у молодежи есть. Романы с закрученным сюжетом, популярный (и скандальный тоже) нон-фикшен – что про царей, что про большевиков (та же массовая литература). Однако не случайно же в рейтингах продаж – Борис Акунин, Алексей Иванов, Гузель Яхина.

В 2015 г. наша библиотека учредила Премию читателя, которая вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год по результатам анализа спроса посетителей РГБМ и портала ЛитРес, а также финального голосования экспертного совета, состоящего из читателей библиотеки в возрасте от 16 до 35 лет². Характерно, что в 2017 г. эту премию получил роман Гузели

Яхиной «Зулейха открывает глаза», а в 2018 – роман Алексея Слаповского «Неизвестность. Роман века 1917–2017».

Студенты-историки и молодые специалисты читают, конечно, и учебники, и дополнительную литературу, в том числе научную, справочную, мемуары. Есть и просто «любители», интересующиеся серьезной исторической литературой. Надо сказать, что порой нелегко разделить деловое и свободное чтение. Вот, например, несколько тем, по которым наши библиотекари в прошлом году помогали молодым посетителям подобрать материалы: Добровольчество и волонтерство в России.

Геноцид армянского народа турками.

Дом инвалидов во Франции.

Наглядная агитация в России в годы революции 1917 г.

Дворянская семья в России, XVIII–XIX вв.

А. С. Какую работу проводит Российская государственная библиотека для молодежи для того, чтобы стимулировать интерес юного читателя к литературе по отечественной (да и не только отечественной, но и мировой) истории? Может быть, организуете какие-то выставки, лекции, встречи с авторами книг и т. д.?

М. С. Мы считаем своими задачами поддержку образования, самообразования, интеллектуального досуга – по любой тематике. То, что происходит на территории библиотеки, во многих случаях инициируется самой молодежью в соответст-

² URL: http://www.rgub.ru/projects/reader_award/.

вии с ее интересами. В ряду многочисленных лекций, которые своим ровесникам читают молодые специалисты, можно найти несколько по историческим темам. Была презентация изданной медиапроектом Стол книги воспоминаний «1917: моя жизнь после»³. Из последних проектов РГБМ, связанных с исторической тематикой, могу назвать Общероссийскую акцию «Дневники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Москва — 1957, 1985»⁴ и художественно-документальную выставку «“Любовь, комсомол и весна”: Советская молодежь 1918–1991. Образы и документы эпохи», орга-

низованную в конце 2018 г. к 100-летию ВЛКСМ совместно с Государственной публичной исторической библиотекой России⁵.

А. С. Каковы ваши пожелания к издателям исторических книг и редакторам исторических журналов, предназначенных для юношества?

М. С. Пожалуй, выбирать такие темы, которые молодежь могла бы как-то связать, ассоциировать со своей жизнью и своими проблемами. И писать понятным ей языком.

“OF COURSE, TRADITIONAL READING REMAINS. BUT — AS A PART OF THE ERODING GENERAL READING SPACE”. INTERVIEW WITH M. M. SAMOKHINA

Samokhina Margarita M. — candidate of social sciences, Research center “Library. Reading. Youth” of the Russian State library for youth (Moscow)

Key words: sociology of reading, youthful reading, historical literature, memoirs, fiction on historical topics, study guides on history

Abstract. A specialist in the sociology of reading talks about the problems of youth reading, including reading historical literature

³ URL: http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=6223.

⁴ URL: <http://www.rgub.ru/projects/festival/index.php>.

⁵ URL: http://www.rgub.ru/schedule/item.php?new_id=7403.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ: ВСЕРОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ТЕСТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Ключевые слова: всероссийский исторический тест, просвещение, история России, история Великой Отечественной войны.

Аннотация. С 2015 г. в России проводятся всероссийские исторические тесты. Историк и журналист Алексей Прокопьев анализирует их развитие, организационные проблемы и эффективность в качестве инструмента популяризации истории.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-199-203

«Каждый день горжусь Россией!» — под таким веселым девизом Молодежный парламент при Государственной думе проводит всероссийские исторические тесты.¹ Бывает это дважды в год: апрельский тест касается только Великой Отечественной войны, а проходящий в конце года охватывает историю России в целом. Проверить свои знания можно как в Интернете, так и «вживую», на специально организуемых площадках, при этом онлайн и оффлайн даются разные варианты вопросов. Идея, очевидно, заимствованная у «Тотального диктанта», проста и благородна — занимательным форматом стимулировать россиян побольше узнать об истории родной страны. Количество «простимулированных» за четыре года превысило миллион человек.

Однако веры в эффективность акции с каждым годом становится все меньше, а вопросов к ней — все больше.

НЕ ПРОВЕРЯТЬ, А ПРОСВЕЩАТЬ: СОДЕРЖАНИЕ

Первый тест, проведенный в декабре 2015 г., остался единственным в своем роде. Кажется, только тогда приоритетом акции было действительно проверить знания россиян. Все вопросы (возможно, за исключением одного-двух) оставались в рамках школьной программы и не требовали глубокой осведомленности. Тем не менее результат получился удручающим: в среднем 23 правильных ответа из 40. Сложно сказать, в какой степени это повлияло на дальнейшую судьбу акции, но в 2016 г. любители истории получили уже совсем другой тест: при

его решении школьные знания были полезны чуть более чем в половине случаев. Средний балл снизился незначительно — 20 из 40 (оказалось, что для россиян нет большой разницы между вопросами «Какой футбольный клуб совершал турне по Великобритании в 1945 г.?» и «К чему привело Стояние на Угре?»), но теперь негативный результат был «оправдан» сложностью.

Эволюция всероссийской контрольной продолжилась в 2017 г., когда окончательно оформилась действующая по сей день концепция. Теперь тест был призван не столько проверять знания, сколько давать их. Вопросы стали значительно длиннее, многие содержали целый набор фактов. Подразумевалось, что участник тестирования узнает что-то новое из самого вопроса, независимо от того, правильно ли на него ответит. Сложность вопросов при этом стала не так уж и важна.

Тест-2018 принес новое явление: несколько вопросов подразумевали элементарную работу с источником, участник должен был ответить, о каком событии или человеке идет речь в цитате.

Параллельным курсом эволюционировал тест по истории Великой Отечественной войны, запущенный весной 2016 г. Столь узкая специфика априори подразумевала повышенную сложность — подбирать каждый год 30 общеизвестных фактов о войне просто невозможно. Впрочем, никто и не пытался сделать тест легким. И если поначалу он выглядел как утонченное издева-

тельство, призванное доказать людям их полное невежество, то с внедрением концепции «не проверять, а просвещать» ситуация несколько нормализовалась — иначе говоря, действие обрело хоть какой-то смысл.

Впрочем, что бы ни стояло в приоритете — проверка имеющихся знаний или трансляция новых, — тщательная проработка вопросов, казалось бы, сама собой разумелась. Тем не менее именно с этим у всероссийского теста возникли хронические проблемы. Авторские команды менялись — сначала это были преподаватели УрФУ, потом историки из МГУ, сейчас ученые Военного университета Минобороны, — но в тесте продолжали появляться прямые ошибки и непродуманные формулировки, допускающие два правильных ответа. Участникам всероссийской контрольной предлагали выбрать, в каком году футбольная сборная СССР выиграла олимпийское золото — 1956-м или 1988-м (оба ответа верные), называли древнейшим городом России Дербент, рассказывали, что Курская битва произошла до вступления США во Вторую мировую войну и т. д. Кульминацией можно считать вопрос: «В каком сражении участвовали 28 героев-панфиловцев?»

Манкирование разработчиков своими обязанностями еще в большей степени проявилось в наличии «излюбленных» тем — я выделил свыше десятка вопросов, которые с незначительными изменениями «кочуют» из одного теста в другой (речь о тестах разных лет, а не об онлайн- и оффлайн-вариантах одного года).

Так, за четыре года участников акции по два-три раза спрашивали о первой антарктической экспедиции, красном военачальнике, разбившем Врангеля, императоре-миротворце, «Молодой гвардии» и др. Не избежали повтора и панфиловцы, хотя во второй раз вопрос звучал уже адекватнее: «При обороне Москвы отличилась дивизия, которой командовал генерал...».

Инцидент с панфиловцами переводит нас к другой любопытной теме — использованию всероссийского исторического теста для распространения «правильных» фактов (концепция «не проверять, а просвещать» подходит для этого идеально). В незначительном масштабе такой подход действительно имел место в 2016–2017 гг. Тогда в тесте по истории ВОВ появлялись вопросы об украинских и прибалтийских коллаборационистах, а также «недостаточном» вкладе союзников в Победу. Вопрос декабря 2016 г. о 28 панфиловцах, несомненно, стал реакцией на скандал, разгоревшийся парой месяцев ранее. Большой загадкой в этом плане остается вопрос о самом древнем городе России, также из теста-2016. Столкнувшись с ним, я был уверен, что это замаскированный вопрос «Чей Крым?» (поскольку для человека, признающего Крым российским, правильным ответом будет Керчь, а для непризнающего — Дербент). И был обескуражен, увидев, что по «авторской версии» это именно Дербент. Признаться, я до сих пор гадаю, было ли это банальной ошибкой (что, как упоминалось выше, не редкость) или тонким троллингом со стороны одного из разработчиков теста.

Интересно, что с декабря 2017 г. немногочисленные «пропагандистские» вопросы исчезают совсем. Во всяком случае, в последних четырех тестах таких не попадалось. Конечно, при желании злой умысел можно увидеть, например, в вопросе о военной операции в Сирии, но, на мой взгляд, это будет предвзятой оценкой.

Не удалось мне найти какого-либо акцентирования и в тематическом распределении вопросов. На науку и культуру приходится в среднем 20 %, столько же — на внутреннюю политику, 25 % — на военную историю (включая вопросы о гражданских войнах, героях, полководцах и т.п.), 10 % — на внешнюю политику (за исключением войн), около 10 % — на экономику и социальное устройство. В разбивке по годам эти доли меняются слабо, во всяком случае говорить о каких-либо тенденциях нельзя.

КОЛИЧЕСТВО ВАЖНЕЕ КАЧЕСТВА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Безусловно, небрежная разработка вопросов снижает просветительский потенциал теста, однако по-настоящему обесценивает его именно организационная сторона. Как это ни покажется странным, но просветиться при прохождении теста не так-то просто. По сути все сводится к упомянутым выше длинным вопросам и зыбкой надежде, что человека «зацепит» тот или иной факт, и он начнет самостоятельно искать информацию. По итогам тестирования — как онлайн, так и оффлайн — участнику сообщают

только итоговый балл, не называя правильные ответы. Организаторы оправдываются стремлением к честности — мол, узнав ответы, человек может вторично пройти тест или вообще выложить их в открытый доступ. Однако, во-первых, такая политика расходится с концепцией теста — приоритетом просвещения над проверкой. Во-вторых, что мешает нечестному «игроку» при онлайн-тестировании гуглить информацию параллельно с чтением вопросов? Наконец, почему ответы появляются на сайте акции лишь по прошествии нескольких дней, а порой и вообще не появляются? Эти вопросы, прямо как вопросы теста, остаются без ответов со стороны организаторов.

Лично мне оптимальной представляется практика, при которой на «физических» площадках после сбора ответов оглашали бы правильные варианты (это заодно поможет скоротать время в ожидании результата), а на сайте при регистрации предлагали бы ввести адрес электронной почты, на который через сутки высылаются правильные ответы. Однако кураторы из Молодежного парламента упорно не хотят ничего менять, игнорируя критику. Право, в таких условиях повторяющиеся вопросы даже обретают какой-то смысл — ведь если человеку в прошлом году не сказали, кто открыл Антарктиду, тот же вопрос ему можно смело задавать снова.

К сожалению, организационный формализм, при котором всероссийский исторический тест становится самоценностью, мероприяти-

ем «для галочки», с каждым годом проявляется все ярче. «Наиболее важным показателем для нас при проведении теста всегда является масштаб мероприятия», — не скрывает председатель Молодежного парламента и главный куратор акции Мария Воропаева. Масштаб действительно впечатляет: если в 2015 г. «исторический диктант» написали 83 тысячи человек, то три года спустя — около 700 тысяч, а последний тест по истории ВОВ только онлайн прошли 423 тысячи человек (полных данных пока нет). Подавляющее большинство участников составляют студенты и школьники старших классов. Это, положим, в вину организаторам можно не ставить — все-таки Молодежный парламента должен работать с молодежью (хотя таковой обычно считаются люди до 35 лет...). Однако неожиданно массовый интерес к истории именно у учащихся поднимает щекотливый вопрос о добровольности участия. Подозрения усиливает тот факт, что с 2018 г. тест стал проводиться не по субботам, а по пятницам, что весьма неудобно не только для работающей «молодежи постарше», но и для студентов (как правило, в субботу пар меньше, чем в пятницу). Уж не потому ли пятница заменила субботу, что учащимся предлагают пройти тест вместо одной из пар (уроков), а в пятницу под это дело можно собрать больше людей («наиболее важный показатель — масштаб»)? Доказательств этой гипотезе у меня нет (таковые можно получить лишь в ходе скоординированных проверок в разных уголках страны), но подобная практика меня бы не удивила.

По своей задумке всероссийский исторический тест — весьма занимательная и крайне полезная акция. Даже в нынешнем, страшно далеком от идеала виде этот тест можно смело (разве что с некоторым смущением) рекомендовать равнодушным к истории людям. Тем досаднее признавать, что благой почин, как это нередко бывает, уничтожается равнодушием исполнителей — как организаторов, для

которых количество участников важнее того, что останется в их головах, так и ученых подрядчиков, не заботящихся о качестве выполняемой работы. А тем временем семь из восьми россиян не знают, с чего началась Вторая мировая война, и каждый третий не в курсе, когда Гагарин полетел в космос. И слоган «Каждый день горжусь Россией» в этих обстоятельствах звучит не то обманом, не то насмешкой...

UNANSWERED QUESTIONS: ALL-RUSSIAN HISTORICAL TEST AS AN EDUCATIONAL TOOL

Prokopen Alexey A. — journalist, historian (Ekaterinburg)

Key words: all-Russian historical test, education, Russian history, history of the Great Patriotic War.

Abstract. Since 2015, all-Russian historical tests have been conducted. The historian and journalist Alexei Prokopen analyzes their evolution, organizational problems and effectiveness as a tool for popularizing history.

СЕРИАЛ «ИГРА ПРЕСТОЛОВ», ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ

Ключевые слова: политика памяти, глобальная память, глобальный зритель, фэнтези, политические ценности, конспирология.

Аннотация. В статье рассматривается сериал «Игра престолов» как пример успешного коммерческого продукта интернализирующей популярной культуры, создатели которого сумели увидеть и ответить на запрос глобального зрителя. Они весьма точно просчитали, каким образом он воспринимает политику, и визуализировали эти массовые представления. В итоге на экране нам показали очень жестокий и отдающий конспирологией мир интриг и своеволий, где политика сводится к тому, чем занимаются люди, считаемые политиками. Созданный визуальный образ оказался настолько успешным, что «Игра престолов» стала восприниматься как своеобразная модель нашего мира, позволяющая говорить о его проблемах и недостатках. Возможность этого определена теми эффектами, которые заставляют выдуманный рассказ воспринимать со всей серьезностью. И не последнюю роль в этом играют образы из западноевропейских Средних веков, которые служат кодом, используемым для формирования и развертывания сюжета. Речь идет об игре между знаками исторических реалий и откровенной фантазией, стирающей в итоге границу между ними. Перед нами особый способ публичного воспроизводства истории, отличный от традиционных приемов public history: знаки прошлого вообще не претендуют на то, чтобы что-то в действительности репрезентировать — каждый волен самостоятельно их интерпретировать.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-204-218

ВВЕДЕНИЕ

Начну¹ с вопроса, который вполне обоснованно задаст себе читатель: а так ли важно рассматривать

этот фэнтезийный сериал на стыке memory studies и политических ценностей? Мой ответ — да. Если кратко: на уровне «западной» популярной культуры он является одним из примеров кризиса современных (модерных) политических институтов и утраты ценностной перспективы, что возмещается участвовавшими обращениями к обра-

© К. А. Пахалюк, 2019

Пахалюк Константин Александрович — преподаватель кафедры лингвистики и переводоведения Одинцовского филиала МГИМО (У) МИД России (Москва); kap1914@yandex.ru

зам прошлого, которое выхолащивается до уровня фэнтези. А теперь подробнее.

Не будет преувеличением сказать, что под эгидой сериала «Игра престолов» прошли все 2010-е гг.: 8 сезонов выходили почти что регулярно с 2011 по 2019 г. Если первый эпизод только в США в день показа официально просмотрели 2,2 млн человек, то премьерный эпизод последнего сезона — 18,4 млн (*Осинов* 2019: 8). Каждый эпизод 7-го сезона смотрело на официальных платформах примерно 30 млн человек (*Koblin* 2017). При этом сериал считают одним из наиболее популярных в среде тех, кто привык смотреть фильмы без подписки и оплаты. По оценочным данным, тот же 7-й сезон был скачан более 1 млрд раз (*Hardy* 2019: 42). Одновременно это один из наиболее масштабных и дорогостоящих телевизионных проектов: если изначально одна серия стоила примерно 6 млн долларов, то с 6-го сезона — около 10 млн долларов, а в последнем — 15 млн долларов.

Перед нами важнейший продукт глобализирующейся популярной культуры, которая по мере интернационализации все больше выходит за национальные рамки и обретает свой язык, понятный жителям многих стран по всему миру, и это несмотря на все существующие культурные барьеры. Небольшой личный опыт: в 2014 г. мне довелось участвовать в «молодежной части» памятных мероприятий в Париже к 100-летию начала Первой мировой. Обсуждение «Игры престолов» оказалось фактически единст-

венной темой, которую сходу могли поддержать ребята из совершенно разных стран. И раз язык сериала оказался воспринят огромной аудиторией в разных частях света, то, значит, создателям удалось создать как минимум тот культурный продукт, чьи образы, внутренняя логика, смыслы и ценности являются частью зарождающегося глобального семиотического пространства (как пример см.: (*Барабанов* 2013)). Другими словами, если использовать терминологию неомарксизма и постструктурализма, мы имеем дело с одним из ярчайших проявлений глобальной культурной гегемонии, произведенной в Голливуде представителями современных культурных элит (случайно ли, что один из сценаристов Д. Бениофф является сыном Стивена Фридмана, главы совета директоров крупнейшего и влиятельнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs, в дальнейшем помощника Дж. У. Буша?).

Более того, данная статья вовсе не первая попытка исследовать «Игру престолов» не только как художественное произведение. Например, одни обратили внимание на влияние сериала на развитие мест, где происходили съемки. Так, основные сцены снимались в Белфасте (столица Северной Ирландии), во многом благодаря чему этот город сумел закрепиться в качестве одного из глобальных центров креативной индустрии (*Rappas* 2019). Другие исследователи подсчитали, что благодаря «Игре престолов» туристический поток в хорватский город Дубровник (здесь снимали сцены в Королевской гавани) вы-

рос как минимум на 5,5% (Tkalec, Zilic, Recher 2017). Статьи в академических изданиях разнообразны, однако в целом направлены на анализ различных актуальных для западного мира социальных проблем. М. Харди обратил внимание на визуализацию в сериале классических «ориенталистских» представлений о Востоке (дикое, жесткое и развращенное пространство, требующее освобождения и просвещения), Л. Митчел рассмотрела воспроизводство распространенного в западной культуре сюжета «мотив спасения женщины как оправдание начала войны», который является частью общей стратегии глорификации войны как таковой. Сам сериал она представила в качестве примера, демонстрирующего проблематичность таких представлений (Mitchell 2018). Не меньшие споры вызвали многочисленные сцены жестокости, секса и насилия. Одни поставили вопрос о воспроизводстве расовых стереотипов в сериале и сообществе фанатов (Kanjor 2018; Young 2014), другие – о последствиях столь яркой визуализации культуры насилия (Ferreday 2015).

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» КАК МЕТАФОРА СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА

Однако абсолютным большинством зрителей «Игра престолов» воспринимается как сериал, скажу наиболее обще, связанный с вопросами политики. Повествование строится вокруг борьбы за объединение под чьей-то одной властью Семи Королевств. Отношения во власти и по поводу нее составляют основную сюжетную канву, причем элементы

магии играют подчиненную и сугубо функционально-символическую роль. Сценаристы неоднократно представляли замысел сериала как «Клан Сопрано в Средиземье»: мафиозные отношения опрокидываются в мир, напоминая эпоху Высокого Средневековья, и фактически автоматически превращаются в отношения политические. Подобный жест остранения¹ за счет смены реального контекста на выдуманный был намеренной стратегией, дабы сделать фильм понятным для зарубежной публики. Как отмечал один из сценаристов Д. Бениофф: «Если вы родом не из США, то не поймете ряд шуток “Клана Сопрано”. Но в Вестеросе нет ничего общего с политикой США» (Ocurow 2019: 9).

Проблема заключается в том, что та политика, отображение механизмов которой девять лет привлекало внимание сотен миллионов человек, может называться таковой лишь в узком смысле слова. За редким исключением мы не найдем политику как коллективное дело, служение общему благу², переговорный процесс, способ объединения различных интересов или механизм решения базовых проблем. Соци-

¹ Остранение – термин, введенный в литературоведение В.Б. Шкловским и отсылающий к приемам, позволяющим вывести читателя из автоматизма восприятия.

² Единственный герой Вайрис, придворный интриган и глава «службы внутренней разведки», неоднократно говорил, что служит не королям, а государству, однако, как показали сценаристы, благодаря в том числе его интригам страна оказалась ввергнута в кровопролитную гражданскую войну. Потому его позиция не просто не выглядит убедительно, но и дезавуируется самим развитием сюжета.

альные, экономические и идейные основания власти фактически обходятся стороной, и проявляются они лишь функционально. Например, во время боевых действий «вспоминают» о необходимости организации подвоза провианта, или в ходе серии политических интриг одна из сторон начинает «заигрывать» с религиозными фанатиками. Политическая сфера не просто автономна, а автореферентна, предстает как чистое властное поле, сведенное к взаимодействию узкой группы лиц. Не будет преувеличением сказать, что представленная «политическая онтология» пропущена сквозь призму конспирологического мировоззрения, и производство достоверности на экране есть не более чем воспроизводство тех жестов, которые многими обывателями распознаются как «реальная политика». И судя по популярности сериала во многих странах мира, сценаристы попали в самую точку, когда, как отмечалось выше, мафиозные отношения (а-ля сериал «Клан Сопрано») превратились в политические.

В основе конспирологического мышления лежит стремление интерпретировать те или иные события как результат деятельности узкой, неясной и эффективной группы людей, нацеленной на достижение тех целей, которые отличаются от заявленных (Moore 2016; Bale 2007). И следы такого мировоззрения весьма легко обнаруживаются в сериале. Политика фактически замещается фигурами политиков и их действиями (несколько десятков героев воплощают их), пространство политическо-

го принципиально просчитываемо и выдуманный мир принципиально управляем, что не исключает совершения ошибок и принятия неверных решений. Высокая степень управляемости приводит к росту «личности в истории» и, соответственно, к акцентированию психологических особенностей (что, конечно, выигрышно с коммерческой точки зрения). Более того, даже раскрываемая сюжетом «политическая кухня» Семи Королевств содержит внутренние заговоры (их организаторами становятся либо придворные интриганы, либо сверхъестественные силы). Иногда сценаристы идут еще дальше в воспроизводстве «узнаваемого мира политики». Например, в 3-м и 6-м сезонах неожиданно появляется далекий, но жесткий Железный банк, перед которым сильно задолжала казна. Несомненно, здесь мы сталкиваемся с популярными в кругах конспирологов идеями о засилье глобальной финансовой олигархии, которая держит на поводке национальных лидеров.

Повторим: изображаемая политическая игра интересна как весьма успешная визуализация расхожих и отдающих конспирологией представлений о «подлинной политике», которые в определенной степени разделяются миллионами зрителей. Критиковать политическую экономику выдуманного мира имеет столько же смысла, сколько ставить под вопрос физическую возможность существования армии мертвецов. Вопрос не в том, что показанное на экране имеет множество внутренних противоречий, а в том, что оно воспринимается как

непротиворечивое и в какой-то мере подлинное. Сложность сюжета, постоянная трансформация поведения персонажей, постановка их перед сложным выбором «любовь / семья» или «долг» — все это усиливает эффект реальности и обеспечивает популярность сериала. И уже теперь представители академического сообщества готовы рассматривать «Игру престолов» всерьез. Например, замредактора журнала «Россия в глобальной политике» А. Соловьев предлагает его как источник аналогий, ценных для понимания современных международных отношений: как угроза существованию человечества со стороны армии мертвецов не заставила политиков Вестероса прекратить борьбу за власть, так и сегодня экзистенциальные угрозы (от возможности ядерной войны до изменения климата) не стимулируют политиков отказаться от эгоистического преследования национальных интересов. И это не единственная параллель. Тем самым сериал предстает определенного рода метафорой современных политических процессов, позволяющей не просто остраниться, но и в гиперболизированном и одновременно ироническом ключе посмотреть на них. Постмодернистская игра в подобия дает возможность с легкостью заимствовать нужные интерпретации, в том числе в целях политической критики. Так, А. Соловьев не без иронии представил «Игру престолов» как визуализацию «глубинного народа», «который измыслил себе на потеху Владислав Сурков. Вообще-то народа как такового в сериале практически нет. Он появляется, как правило, в виде толпы, либо

приветствующей низвержение одного кумира и триумф другого, пришедшего на смену прежнему, либо панически мечущейся и гибнущей в процессе насильственной смены одного кумира другим» (Соловьев 2019).

Другие коллеги по академическому цеху более последовательны. Например, У. Клэптон и Л. Шеферд предложили обращаться к произведениям массовой культуры в рамках профильных занятий по международным отношениям в вузах, поскольку существующие учебники не в полной мере раскрывают определенные теоретические направления исследований. По их мнению, «Игра престолов» позволяет проиллюстрировать и подробно разобрать базовые принципы влияния гендерного фактора на политические процессы (Clapton, Shepherd 2017). Тот факт, что это фэнтезийное произведение, не очень смущает исследователей. Л. Янг, Н. Ко и М. Перрэн полагают, что сериал представляет собой удачный пример построения симуляционной модели международных отношений, а потому на этом примере студентам можно объяснять основы доминирующих теорий науки о международных отношениях (Young, Ko, Perrin 2018).

Более того, обращение к образам «Игры престолов» стало одной из ключевых стратегий публичного позиционирования молодой лево-популистской партии Подемос (Испания), появившейся после волны протестов 2011 г., вызванных резким падением уровня жизни (20-процентный уровень безрабо-

тицы, причем в среде молодежи он достигал 40 %) и усталостью от традиционных партий. Неожиданно в 2014 г. на выборах в Европарламент лево-популисты набрали почти 8% голосов, а в апреле 2019 г. на национальных выборах – 14,3%. Рост популярности был в определенной степени обеспечен активной публичной стратегией, которая немалую роль отводила использованию образов из сериала (в том числе и для привлечения молодежного протестного электората). В 2014 г. лидер партии Пабло Иглесиас даже выпустил книгу «Победить или умереть: политические уроки “Игры Престолов”», в которой жестокий и коррумпированный мир Семи Королевств сравнивал с современной политикой, а себя и свою партию ассоциировал с Дайнерис³, борющейся против глобальной несправедливости (Virino, Ortega 2018).

Таким образом, «Игра престолов» – это не просто культурный продукт, который можно и нужно изучать. Она превращается то в источник актуальных метафор для осмысления современной политики, то в методическое пособие о политике, то в подручный инструмент, который уже сами политики используют для формирования имиджа. На мой взгляд, это свидетельствует не только о том, что политика воспринимается в значительной степени как игра и карнавал. Не будем алармистами: уже прошло более 30 лет с тех пор, как Ж. Бодрийяр описал все эти процессы, предложив понятие симулякра. Скорее происходит

постепенная деформация специальных языков описания (а значит, и понимания) происходящего в политическом мире: отдельным политикам, публичным интеллектуалам и педагогам легче обращаться к фэнтезийным образам для того, чтобы говорить со своей аудиторией. Эпоха «больших идеологий» канула в Лету, официальная политическая риторика практически во всех странах превратилась в набор клише, распознаваемых гражданами в качестве публичного лицемерия, а научный и экспертный языки слишком сложны для широкой публики, к тому же они не обладают самым важным – мобилизующим потенциалом. Потому поиск нового языка политики может завести и в мир популярной культуры, и здесь оказывается удобной «Игра престолов», ведь, как отмечалось выше, сценаристы в целом угадали, как глобальный зритель видит политические процессы.

Впрочем, убедительность такой риторики, по моему мнению, покоится не только на особенностях сюжета, но и на воспроизводстве тех знаков (одежда, архитектура, военное снаряжение и пр.), которые распознаются как отсылающие к эпохе Средневековья. Тем самым визуальные образы прошлого, причем не претендующие на достоверность (!), ненавязчиво способствуют принятию сериала и рассказываемой им истории. Дж. Мэтхьюз, изучив записи одного из англоязычных фанатских блогов на Tumblr за 2012–2017 гг., обнаружила повсеместное использование исторических отсылок. Кто-то пытался находить сходства между событиями в сериале и реальным

³ Серия, в которой протагонист Дайнерис превратилась сама в кровавого убийцу, была показана только в мае 2019 г.

прошлым Европы, другие использовали исторические знания для того, чтобы прояснить те или иные сюжетные линии, раскритиковать их или же аргументацию своих партнеров по онлайн-дискуссии. И хотя большинство дискутантов обращались к истории Великобритании эпохи войны Белой и Алой Розы, чтобы установить сходства / расхождения, все же временная и географическая локализации оказались несколько шире. «Действительно ли в средневековой Европе было так много насилия, как показано на экране? Правильно ли наделять персонажей теми способами осмысления реальности, которые характерны для людей XXI в., а не той эпохи?» — поиск ответов на эти вопросы представляет лишь отдельные примеры онлайн-дискуссий (Matthews 2018).

Принципиальным мне здесь представляется то, что как минимум для англоязычных фанатов вполне рационально заниматься сравнением сериала с некими претендующими на объективность историческими сведениями. В результате таких дискуссий реальность и выдумка все больше и больше пересекаются, и четкая граница между ними стирается. Фэнтезийно-средневековые образы, зажатые между выдумкой и прошлым, сумели не просто успешно продвинуться по пути универсализации (о чем свидетельствует популярность сериала в разных странах мира), но и постепенно превратиться в сподручный язык описания современного мира. Сама по себе история слишком обязательна, а фэнтези — слишком свобододолюбива, но их спайка, превращенная в коммерческий продукт,

смогла достичь этого. Впрочем, если учесть, что политики все чаще инструментализируют историю, ничего странного в этом нет. С точки зрения исторической науки, многие образцы исторической пропаганды не менее фантастичны, нежели «Игра престолов», в то время как последняя куда честнее, т.к. не претендует на истину.

Существует соблазн рассматривать «Игру престолов» в более широком культурологическом контексте, а именно как проявление «неомедиевализма»: с 1970-х гг. Средневековье воспринимается не в оппозиции к современности, между двумя эпохами выстраивается преемственность, причем первая из них лишается однозначного негативного образа, а потому становится логичным не только восторгаться ее культурными достижениями, но и воспроизводить отдельные культурные модели и считать средневековый опыт полезным для понимания современности (Филлошкин 2018; Ortega-Arjonilla, Martínez-López 2016). В свою очередь, это стало частью другого процесса, а именно трансформации институтов модерна, когда на фоне исчезновения четкого образа будущего (а значит, и альтернатив существующему способу развития), резких социально-политических и культурных изменений, роста общего чувства опасности началось все более интенсивное обращение к истокам, коллективному прошлому. Средневековье начали рассматривать не только как исходную точку формирования современного миропорядка. Оно превратилось в модель описания современного мира, получившего название «нового Средневековья».

Для одних (например, политолога Х. Булла) такие сравнения были наполнены скорее позитивными смыслами, для других — негативными (в политической теории с ними связано распространение понятий неофеодализма и неопатриомонизма). Д. Хапаева вообще предложила рассматривать неомедиевализм как «выражение кризиса демократии» (Хапаева 2018). Впрочем, сложно согласиться с ее тезисом, что речь должна обязательно идти о ностальгии «по сословному обществу, патернализму и террору как форме правления» и об отрицании демократии. И тем более на этом основании классифицировать «Игру престолов» как сплошное любование садизмом и оправдание власти как системы сплошного террора. Существует большая разница между медийным потреблением насилия и согласием, что оно должно стать частью нашего мира. Наоборот, сериал скорее показывает тот социально-политический порядок, который, как правило, воспринимается в качестве «темной стороны» современного мира. Смесь фантазий и исторических образов дает возможность ненавязчиво говорить о современности, выстраивать необязательные параллели и предлагать эмоционально убедительные, но неотрефлексированные интерпретации.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ И ИСТОРИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА

Отечественный литературовед К. Г. Фрумкин писал о развитии в России альтернативно-исторической фантастики, для которой

«история полна проблем, имеющих ценностную природу, но для этих проблем имеются технические решения, таким образом, история предстает ценностно неудовлетворительным механизмом». Прошлое предстает чем-то важным, вся история — это воплощение определенных ценностей и производство благ, и если в какой-то момент случается то, что ныне распознается как провал, то его необходимо исправить. Для этого есть фигура «попаданца», который возвращается в историю и меняет ее (Фрумкин 2016). В свою очередь «Игра престолов» предстает чем-то противоположным, поскольку на протяжении большей части сериала кардинальные изменения оказываются невозможными. Однако нельзя забывать, что сам сюжет сериала разворачивается именно вокруг проблемы объединения Семи Королевств в некое единое государство. И поскольку сценаристы решились на happy end, то, значит, необходимо найти выход из этого «царства ужаса и мрака». Конечно, перед нами выдуманная история, которая имеет значимую коммерческую составляющую. Но раз «Игра престолов» стала значимым культурным продуктом, раз она де-факто превратилась в метафору современного мира и раз сам сюжет требует завершения, то сценаристы оказались в ситуации, когда они должны предложить какой-то ответ. Другими словами — заговорить с массовым зрителем на языке политических ценностей и очертить (по мере возможности) некий путь в будущее. Если переформулировать этот вопрос сквозь призму постфундаменталистской традиции политической философии, то

ответ неизбежно связан с поиском тех идейных оснований (трансценденций), которые смогли бы обеспечить не просто механическую победу на поле боя, но и действительную интеграцию Семи Королевств. И что же сценаристы – если расшифровывать метафизику фэнтези – сумели предложить в итоге в качестве общего знаменателя Семи Королевств?

Первая попытка была предпринята примерно в конце 7-го сезона, когда полчища оживших мертвецов (метафора угрозы существованию человечества) вторглись в Семь Королевств, однако далеко не все политические силы оказались готовы объединиться и дать отпор. Некоторые наблюдатели не без основания расшифровали этот поворот сюжета как отсылку к нежеланию современных политиков объединяться для решения глобальных проблем (изменение климата, нераспространение ядерного оружия, экология и пр.). Однако мертвецы были разгромлены, и значит, вовсе не внешняя угроза может стать основанием единства.

Ответ был представлен в заключительной серии. Это вовсе не «жесткая сила»: тираны в сериале погибают. Это и не правление на основе согласия, производства культурной гегемонии (она же – «мягкая сила» в современном научном дискурсе): персонажу Дайнерис, одному из главных претендентов на трон, не удалось влюбить в себя население Семи Королевств. Далее ее действия стали похожи на воплощение рекомендаций Н. Макиавелли, который писал о том, что мудрый

правитель будет основывать свою власть на страхе, а не на любви, т. к. страхом подданных он может управлять, а любовью – нет. Идея (квази) демократического правления также отвергается: когда в конце последней серии один из героев предлагает всенародно избрать нового короля, он подвергается жесткому осмеянию. Точно так же богатство для сценаристов не является основанием политической власти (богатство в принципе играет подчиненную роль на протяжении всего сериала, а гибель богатейшего персонажа, Тайвина Ланистера, в туалете в конце 4-го сезона тому подтверждение). Казалось бы, для эпохи Средневековья характерно правление на основе традиций, т. е. знатности рода и линий наследования. Однако на протяжении фактически всех 8 сезонов сценаристы весьма ярко показывают негативные последствия данного способа определения власти. И уже в самом конце наиболее достойный с этой точки зрения герой (речь идет о Джоне Сноу, который оказывается представителем двух сильнейших родов и действительно законным королем) отправляется в ссылку.

Ответом создателей сериала стала неустойчивая конструкция выборной монархии, причем первым был выбран Бран, или же Трехглазый Ворон, мистическое существо (пусть и запятанное в оболочку высокородного отпрыска), воплощающее в себе всю земную память. Сценаристы, устами одного из героев (Тирион Ланистер), так обосновали этот выбор: «Что объединяет народ? Армии? Золото? Флаги? Истории. Нет ничего сильнее

в мире, нежели хорошая история <...>. Он хранитель нашей памяти, хранитель наших историй. Войны, свадьбы, рождения, массовые убийства, голод. Наши победы, наши поражения, наше прошлое. Кто может лучше вести нас в будущее?» Тирион одновременно говорит об истории как рассказе (story), т. е. наших рассказах о себе, и истории как некоей общей памяти (our past, our memory). Stories, past, memory выступают контекстуальными синонимами, и потому основанием единства становится даже не метафизическая История «с большой буквы» (как в различных консервативных идеологиях или в марксизме-ленинизме), а некое наследие человеческих дел, сотканное в один рассказ. Если уходить глубже в символику сюжета, то нельзя не обратить внимание: белые ходоки (метафора абсолютного Ничто) пытались убить именно Трехглазого Ворона (символ мира живых, воплощенная память человечества). Метафора прочитывается весьма открыто: для того, чтобы стереть человеческий род с лица земли, нужно убить его память⁴.

Отметим и еще один аспект: центральный конфликт между «любовью» и «долгом» разрешается в пользу последнего, поскольку в живых остались в основном те герои, которые, выбирая из двух альтернатив, следовали весьма

смутным представлениям о долге⁵. Тем самым зрителя убеждают в том, что социальное — выше личного, а рациональное — важнее эмоционально-интимного. Однако долг не привязан ни к конкретной фигуре правителя, ни к определенным ценностям — это функциональный принцип поведения, выражающийся в верности взятым обязательствам. Подспудно провозглашаемая в сериале этическая система не имеет никакого отношения к этике универсальных принципов, восходящей к И. Канту, а является примером этики добродетели, которая выстраивается на образцах должного поведения, допускающих множество трактовок. И здесь обнаруживается параллелизм: если политический порядок выстроен на основе определенных ценностей, то и этика универсальных принципов может спокойно стать *modus operandi* социального взаимодействия. Если же вместо этого в качестве основания предлагается прошлое как таковое, нерасчлененная память мира, то удобной становится актуализация этики добродетели (примеры должного поведения весьма легко заимствовать из рассказов об истории).

Отрицание прогрессизма, утопий и универсальных ценностей в сериале неслучайно: страх перед ними глубоко засел в определенной части западной культуры после не самого удачного опыта сначала органического национализма (1930–1940-е), а затем практик коммунистической альтернативы (1950–1980-е). Теперь

⁴ Конечно, в сериале есть еще одна политическая альтернатива. На экране она воплощена в сепаратизме Северного королевства и может быть расшифрована как торжество локальных идентичностей. Однако это фактически отмена самого вопроса о единстве.

⁵ Причем неважно, идет ли речь о верности клятвам (героиня Бриенны) или финансово выгодным договоренностям (Брон).

все больше сомнений (особенно с 1999 г.) вызывает и либерально-демократический путь. Потому и сценаристы сериала споткнулись об этот недостаток политической метафизики. Неважно, насколько серьезно они были готовы решать этот вопрос (наверное, учитывая коммерческую направленность сериала, их это не интересовало), значение имеет именно отсутствие готовых ответов: тиранов славить неприлично (а любая политика, основанная на этике абсолютных ценностей, склонна к тираничности), любая либерально-демократическая конструкция (особенно в условиях воспроизводимого на экране Высокого Средневековья) будет выглядеть фальшиво, а классический традиционализм так сильно клеймился все 8 сезонов, что *happy end* на нем не построить.

Принципиально важным является образ Дайнерис: на протяжении всех сезонов она главный и стабильный протагонист, сценаристы привязывают к ней публику, за ней маячит новый мировой порядок, фукуямовский конец истории, слом колеса вражды и переворотов (именно так этот персонаж ставит открыто свою сверхзадачу). И все это нужно для того, чтобы в предпоследней серии кардинально все поменять, превратить ее в персонажа а-ля Гитлер. В предпоследней серии она сжигает целый город с невинными мужчинами, женщинами и детьми. Т.е., переводя на язык глобализирующейся западной культуры, совершает акт геноцида, иконой которого — и абсолютным злом — является Холокост. Коннотации тут очевидны и прямолинейны:

для абсолютного большинства Холокост — это когда сжигали невинных евреев, и тут Дайнерис также сжигает тысячи невинных, а потом несет высокопарный бред про мировое господство, новый порядок и необходимость уничтожить «носителей старого мира». Несомненно, сценаристы подводят зрителя к мысли, что любое последовательное воплощение идеалистических, ценностных представлений может привести к кровавым последствиям и тирании. Однако взамен не предлагают ничего, кроме отсылки к тому, что новый, более справедливый мир можно построить, если учитывать исторический опыт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сериал «Игра престолов» — очень успешный коммерческий продукт интернационализирующейся популярной культуры, создатели которого сумели увидеть и ответить на запрос глобального зрителя. При этом они весьма точно просчитали, каким образом он воспринимает политику, и визуализировали эти массовые представления. В итоге на экране нам показали очень жестокий и отдающий конспирологией мир интриг и своеволий, где политика сводится к тому, чем занимаются люди, считаемые политиками. Созданный визуальный образ оказался настолько успешным, что «Игра престолов» стала восприниматься как своеобразная модель нашего мира, позволяющая говорить о его проблемах и недостатках. Возможность этого определена теми эффектами, которые заставляют выдуманную историю воспринимать

с достаточной долей серьезности. И не последнюю роль в этом играют образы из западноевропейских Средних веков. Поскольку мы живем в эпоху слома модерна, то Средневековье оказывается сподручной интерпретационной моделью.

Нужно четко обозначить, что в сериале разворачивается именно игра между знаками исторических реалий и откровенной фантазией, стирающая в итоге границу между ними. Перед нами особый способ публичного воспроизводства истории, отличный от традиционных приемов *public history*: знаки прошлого вовсе не претендуют на то, чтобы что-то в действительности репрезентировать или тем паче формировать некое стабильное восприятие истории — каждый волен самостоятельно их интерпретировать. Значение имеют лишь создаваемый эффект реальности и сама возможность дальнейшей интерпретации фэнтезийного сериала на основе аналогий с реальной историей.

Эти исторические образы в совокупности можно представить как код, синтезирующий фантазию и представления о реальном и тем самым позволяющий кодировать сюжет и предлагаемые сценаристами смыслы. Причем этот код оказался доступен для расшифровки представителями многих стран (и, соответственно, культур). Потому в контексте развернувшейся дискуссии о возможности глобальной памяти стоит признать, что образы западноевропейского Средневековья обладают сегодня весьма большим потенциалом для интернационализации.

Однако разговор на уровне политических ценностей в сериале не получился, потому не удался и финал, который должен был — по логике сюжета — дать ответ на вопрос, как же можно все исправить и прекратить гражданскую войну Семи Королевств. Неудивительно, что финальная серия не удовлетворила многих зрителей, которые даже стали собирать петиции с требованием переснять заключительный сезон в целом. Казалось бы, фэнтези — весьма вольный жанр, каждый демиург выдуманной вселенной может ввести какие угодно правила и модели поведения, однако эта свобода оказалась бессмысленной: представители глобальной культурной элиты, к которым мы относим сценаристов, не сумели вообразить ничего принципиально нового, а ответ их заключался в отсылке к тому, что именно собранные вместе истории всех поколений и извлекаемый из них опыт должны служить залогом стабильности. Тем самым «Игра престолов» может рассматриваться как пример крушения политической метафизики на глобальном уровне.

Предложенный ответ в виде избрания королем Трехглазого Ворона, хранителя мировой памяти, не кажется таким уж странным в 2019 г.: во всем мире политики все чаще говорят о прошлом. Так, последний номер международного журнала «The Economist» за 2018 г. (а это ведущее аналитическое издание социально-политической тематики, которое можно смело признать глобальным медиа) вышел с редакционной статьей под симптоматичным названием «Ностальгия

в действии». В ней констатировалось: «Политики всегда использовали прошлое. Однако сегодня в развитых и развивающихся странах мы наблюдаем взрыв ностальгии. Правые и левые, демократы и автократы — все они все чаще обращаются к славным страницам прошедших лет». Причины этого обозначены весьма четко: «Когда один способ управления миром исчерпал себя, а другой еще не появился, то именно в истории черпаются важные уроки. Когда ничто более не обладает смыслом, история становится главной наукой. Очень важно знать, кто ты и откуда идешь» (The use 2018–2019: 11). Сериал «Игра Престолов» стал своеобразным проявлением этой тенденции на уровне глобальной поп-культуры для «широких международных масс».

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

Osinov 2019 — *Osinov* А. Дэн Уайсс, Дэвид Бениофф: Мы отдали 11 лет работе над «Игрой престолов» // Ведомости. 2019. 20 мая. С. 8–9

Koblin 2017 — *Koblin* J. Game of Thrones' Finale Sets Ratings Record // The New York Times. 2017. 28 Aug. URL: www.nytimes.com/2017/08/28/arts/television/game-of-thrones-finale-sets-ratings-record.html (дата обращения: 21.05.2019).

The uses 2018–2019 — The uses of nostalgia // The Economist. 2018–2019. 22 Dec. — 4 Jan. P. 11.

Virino, Ortega 2018 — *Virino* C., *Ortega* V. Daenerys Targaryen Will Save Spain: Game of Thrones, Politics, and the Public Sphere // Television & New Media. 2018. 6 May. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1527476418770748> (дата обращения: 22.05.2019).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Барабанов 2013 — *Барабанов* О. Семиотика в исследованиях глобального управления // Международные процессы. 2013. № 1. С. 76–83.

Соловьев 2019 — *Соловьев* А.В. Игра престолов: упражнения в сказочной геополитике // Россия в глобальной политике. 2019. 21 мая. URL: <https://globalaffairs.ru/global-processes/Igra-prestolov-uprazhneniya-v-skazochnoi-geopolitike-20048?fbclid=IwAR0t77YqiJ4PwcYjkoIuP3AvvfjSZVmAYkZuiQYe2IvsfCkbc29zDFsT7FY> (дата обращения: 21.05.2019).

Филлошкин 2018 — *Филлошкин* А.И. Медиевализм: почему нам сегодня нужны средние века? // Историческая экспертиза. 2018. № 4. С. 153–162.

Фрумкин 2016 — *Фрумкин* К.Г. Альтернативно-историческая фантастика как форма исторической памяти // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 17–28.

Ханаева 2018 — *Ханаева* Д. Неомедиевализм плюс ресталинизация всей страны! // Неприкосновенный запас. 2018. № 1. С. 173–186.

Bale 2007 — *Bale* J. Political paranoia v. political realism: on distinguishing between bogus conspiracy theories and genuine conspiratorial politics // Patterns of Prejudice. 2007. Vol. 41. № 1. P. 45–60.

Clapton, Shepherd 2017 — *Clapton* W., *Shepherd* L. Lessons from Westeros: Gender and power in Game of Thrones // Politics. 2017. Vol. 37. № 1. P. 5–18.

Ferreday 2015 — *Ferreday* D. Article Game of Thrones, Rape Culture and Feminist Fandom // Australian Feminist Studies. 2015. Vol. 30. № 83. P. 21–36.

Hardy 2019 — *Hardy* M. The East Is Least: The Stereotypical Imagining of Essos in Game of Thrones // Canadian Review of American Studies. 2019. Vol. 49. № 1. P. 26–45.

Kanjer 2018 — *Kanjer A.* Defending race privilege on the Internet: how whiteness uses innocence discourse online // *Information, Communication & Society*. 2018. URL: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2018.1477972 (дата обращения: 27.05.2019).

Matthews 2018 — *Matthews J.* A past that never was: historical poaching in Game of Thrones fans' Tumblr practices // *Popular Communication*. 2018. Vol. 16. № 3. P. 225–242.

Mitchell 2018 — *Mitchell L.* Re-affirming and rejecting the rescue narrative as an impetus for war: to war for a woman in a Song of Ice and Fire // *Law and Humanities*. 2018. Vol. 12. № 2. P. 229–250.

Moore 2016 — *Moore A.* Conspiracy and Conspiracy Theories in Democratic Politics // *Critical Review*. 2016. Vol. 28. № 1. P. 1–23.

Ortega-Arjonilla, Martínez-López 2016 — *Ortega-Arjonilla E., Martínez-López A.* Looking for the Lost Paradise: Cultural Diversity, Translation and Film Adaptation in the

Contemporary Dissemination of Medieval Culture, Stereotypes and Values (Eco, Tolkien, Chrétien de Troyes, Follet and Lucas) // *New Medievalisms* / ed. by M. Párraga, J. and J. de Dios Torralbo Caballero. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Rappas 2019 — *Rappas I.* From Titanic to Game of Thrones: Promoting Belfast as a Global Media Capital // *Media, Culture & Society*. 2019. Vol. 41. № 4. P. 539–556.

Thalec, Zilic, Recher 2017 — *Thalec M., Zilic I., Recher V.* The effect of film industry on tourism: Game of Thrones and Dubrovnik // *International Journal of Tourism Research*. 2017. Vol. 19. № 6. P. 705–714.

Young 2014 — *Young H.* Race in online fantasy fandom: whiteness on Westeros. org // *Continuum*. 2014. Vol. 28. № 5. P. 737–747.

Young, Ko, Perrin 2018 — *Young L., Ko N., Perrin M.* Using Game of Thrones to Teach International Relations // *Journal of Political Science Education*. 2018. Vol. 14. № 3. P. 360–375.

THE SERIES "GAME OF THRONES", POLITICAL CONSPIRACY AND POLITICS OF MEMORY

Pahalyuk Konstantin A. — lecturer of the Department of Linguistics and Translation&Interpreting Studies, Odintsovo Campus of MGIMO-University

Key words: memory policy, global memory, global viewer, fantasy, political values, conspiracy.

Abstract. The article discusses the series "Game of Thrones" as an example of a successful commercial product of internalizing popular culture, the creators of which were able to see and respond to the request of a global viewer. At the same time, they very precisely calculated how he perceives politics, and visualized these mass representations. As a result, we were shown on the screen a very cruel and conspiratorial world of intrigue and self-will, where politics comes down to what people considered to politicians do. The created visual image turned out to be so successful that the "Game of Thrones" began to be perceived as a kind of model of our world, allowing us to talk about its problems and shortcomings. The possibility of this is determined by the effects that make the fictional story taken seriously. And not the last role in this is played by images from the Western European Middle Ages. Since we live in the era of modern scrapping, the Middle Ages turns out to be a handy interpretational model.

REFERENCES

- Bale J. Political paranoia v. political realism: on distinguishing between bogus conspiracy theories and genuine conspiratorial politics. *Patterns of Prejudice*, 2007, vol. 41, no. 1, pp. 45–60.
- Barabanov O. Semiotika v issledovaniyah global'nogo upravleniya. *Mezhdunarodnyye processy*, 2013, no. 1, pp. 76–83.
- Clapton W., Shepherd L. Lessons from Westeros: Gender and power in Game of Thrones. *Politics*, 2017, vol. 37, no. 1, pp. 5–18.
- Ferreday D. Article Game of Thrones, Rape Culture and Feminist Fandom. *Australian Feminist Studies*, 2015, vol. 30, no. 83, pp. 21–36.
- Filyushkin A.I. Medievalizm: pochemu nam segodnya nuzhny srednie veka? *Istoricheskaya ekspertiza*, 2018, no. 4, pp. 153–162.
- Frumkin K.G. Al'ternativno-istoricheskaya fantastika kak forma istoricheskoy pamyati. *Istoricheskaya ekspertiza*, 2016, no. 4, pp. 17–28.
- Hapaeva D. Neomedievalizm plyus restalinizaciya vsej strany! *Neprikosnovennyj zapas*, 2018, no. 1, pp. 173–186.
- Hardy M. The East Is Least: The Stereotypical Imagining of Essos in Game of Thrones. *Canadian Review of American Studies*, 2019, vol. 49, no. 1, pp. 26–45.
- Kanjer A. Defending race privilege on the Internet: how whiteness uses innocence discourse online. *Information, Communication & Society*, 2018. URL: www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2018.1477972.
- Matthews J. A past that never was: historical poaching in Game of Thrones fans' Tumblr practices. *Popular Communication*, 2018, vol. 16, no. 3, pp. 225–242.
- Mitchell L. Re-affirming and rejecting the rescue narrative as an impetus for war: to war for a woman in a Song of Ice and Fire. *Law and Humanities*, 2018, vol. 12, no. 2, pp. 229–250.
- Moore A. Conspiracy and Conspiracy Theories in Democratic Politics. *Critical Review*, 2016, vol. 28, no. 1, pp. 1–23.
- Ortega-Arjonilla E., Martínez-López A. Looking for the Lost Paradise: Cultural Diversity, Translation and Film Adaptation in the Contemporary Dissemination of Medieval Culture, Stereotypes and Values (Eco, Tolkien, Chrétien de Troyes, Follet and Lucas). *New Medievalisms*, ed. by M. Párraga, J. and J. de Dios Torralbo Caballero. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016.
- Rappas I. From Titanic to Game of Thrones: Promoting Belfast as a Global Media Capital. *Media, Culture & Society*, 2019, vol. 41, no. 4, pp. 539–556.
- Solov'ev A.V. Igra prestolov: uprazhneniya v skazochnoj geopolitike. *Rossiya v global'noj politike*, 2019, 21 maya. URL: globalaffairs.ru/global-processes/Igra-prestolov-uprazhneniya-v-skazochnoi-geopolitike-20048?fbclid=IwAR0t77YqjJ4PwcYjkoIuP3AvvfjSZVmAYkZuiQYe2IvsfCkbc-29zDFsT7FY.
- Tkalec M., Zilic I. Recher V. The effect of film industry on tourism: Game of Thrones and Dubrovnik. *International Journal of Tourism Research*, 2017, vol. 19, no. 6, pp. 705–714.
- Young H. Race in online fantasy fandom: whiteness on Westeros.org. *Continuum*, 2014, vol. 28, no. 5, pp. 737–747.
- Young L, Ko N., Perrin M. Using Game of Thrones to Teach International Relations. *Journal of Political Science Education*, 2018, vol. 14, no. 3, pp. 360–375.

И. И. Баринов

Рец.: *Michael Hagemeister*. Die "Protokolle der Weisen von Zion" vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die "antisemitische Internationale". Zürich: Chronos 2017. 648 p. (*Михаэль Хагемейстер*. «Протоколы сионских мудрецов» под судом. Бернский процесс 1933–1937 гг. и «антисемитский интернационал». Цюрих: Хронос, 2017. 648 с.)

Ключевые слова: «Протоколы сионских мудрецов», Бернский процесс, антисемитизм.

Аннотация. В настоящей рецензии рассматривается книга Михаэля Хагемейстера «Протоколы сионских мудрецов» под судом. Бернский процесс 1933–1937 гг. и «антисемитский интернационал». DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-219-222

Среди проблем отечественной истории, до сих пор не получивших в российской академической науке комплексного рассмотрения, выделяются сюжеты, связанные с происхождением и бытованием корпуса текстов, наиболее известных под названием «Протоколы сионских мудрецов» (ПСМ). Дискуссии о подлинности или поддельности этих материалов, в которых излагается теория всемирного еврейского заговора против человечества, не утихают уже больше ста лет. Каждая сторона приводит свои доводы в пользу собственной версии, при этом неизменным в данном споре остается «русский след». Так, по мнению сторонников подлинности ПСМ, они были выкрадены

у евреев и тайно доставлены в Россию, где увидели свет; напротив, их оппоненты утверждают, что ПСМ — это грубая подделка, российское происхождение которой видно невооруженным глазом.

Как это часто бывает, проблематика, тесно связанная с российской историей, разрабатывается в основном западными специалистами. Среди них следует выделить итальянского слависта Чезаре де Микелиса, который впервые доказал, что существовало несколько различных версий ПСМ (*De Michelis* 1998), и французского философа Пьера-Андре Тагиеффа, подготовившего обширный аналитический обзор возникновения и бытования этих текстов (*Taguieff* 1992). Российские исследователи, в свою очередь, обращаются к научному изучению ПСМ редко. Отдельные критические исследования (*Ганелин* 1992; *Багдасарян* 1999; *Штирельман* 2010; *Бибикова* 2018) перекрываются

© И. И. Баринов, 2019
Баринов Игорь Игоревич — кандидат исторических наук, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН (Москва); barinovnoble@gmail.com

обширной апологетической литературой (Платонов 2015а; 2015б; 2015в). Сам текст ПСМ или книги, в том или ином виде его содержащие, тоже активно переиздаются в России: так, в период с 1993 по 2018 г. это было два раза сделано петербургским издательством «Держава», три раза — московским издательством «Алгоритм», пять раз — московским же издательством «Витязь» и еще не менее 14 (!) раз — другими организациями. Таким образом, ПСМ воспроизводились на бумаге фактически каждый год.

В этом смысле появление книги немецкого историка и слависта Михаэля Хагемейстера «Протоколы сионских мудрецов» под судом. Бернский процесс 1933–1937 гг. и «антисемитский интернационал» стало во многом знаковым. Автор уже давно занимается данной темой, и в России выходили его публикации, касающиеся как ПСМ, так и их распространителей (Хагемейстер 2009; 2016). Настоящая работа написана по результатам многолетних исследований автора, извлекшего информацию из 30 архивов в 10 странах.

Как следует из названия, Хагемейстер в основном сосредотачивается на ходе Бернского процесса. Тогда швейцарские еврейские организации выступили против публикации «Протоколов» местными нацистами и подали на них в суд в Берне. Конфликт, однако, быстро вышел за рамки кантона, а затем и всей Швейцарии, поскольку на нем начали разбираться вопросы происхождения ПСМ, вероятного плагиата и его источников, а также их отношения к сионистскому конгрессу

1897 г. В результате бернский суд превратился в арену противостояния нацистской Германии, поддержавшей ответчиков, и антифашистов, стоявших на стороне истцов.

Как отмечает Хагемейстер, сам процесс не отделим от предмета его разбирательства, и наоборот — историю влияния ПСМ невозможно понять без знания хода процесса, «его действующих лиц и тех, кто за ними стоял» (с. 17). Из-за этого значительную часть книги (с. 135–447) занимает хроника судебного разбирательства, скрупулезно составленная автором. Вопреки ожиданию, она не представляет собой скучную стенограмму, а, напротив, перемежается документами, фотографиями и фрагментами закулисных переговоров участников. Вообще, всю книгу Хагемейстера можно характеризовать немецким словом *Vernetzung* (создание связей между объектами). Автор сводит вместе разрозненные архивные источники, соотносит между собой людей и организации, в том числе скрытые от посторонних глаз.

Что касается последнего пункта, то автор подробно останавливается на функционировании так называемого «антисемитского интернационала» — тайного объединения распространителей ПСМ, подчеркивая, что сами «Протоколы» изучены достаточно хорошо, а те, кто занимался их тиражированием, — нет (с. 59). При этом Хагемейстер опять же перешагивает его рамки, собирая под одной обложкой всех, кто имел хоть какое-то отношение не только к процессу, но и к самим ПСМ. Вместе с предшествующим

хронике обстоятельным (более 100 страниц) введением это несколько усложняет восприятие ранней истории ПСМ и ее соотношение с более поздними событиями.

Немалое внимание уделяет Хагемейстер и внешним наблюдателям процесса. В повествовании раскрывается, как на события в далекой Швейцарии реагировали в самых разных странах. Российскому читателю будет интересно узнать, как в бернском зале заседаний шла незримая борьба Германии и СССР. Так, по поручению истцов архивными и библиотечными поисками в Советском Союзе занимался московский юрист Александр Тагер, незадолго до этого выпустивший книгу о деле Бейлиса. В это же время аналогичной работой в Ленинграде занимался религиовед Михаил Шахнович, установивший в Музее религии и атеизма небольшой стенд, посвященный «подлинной истории» ПСМ (с. 92).

Что касается итогов процесса, то, по мнению Хагемейстера, они были неоднозначными. С одной стороны, суд действительно признал сфабрикованный характер ПСМ. Вместе с тем в какой-то момент процесс вышел за рамки изначального разбирательства, став основой для политической кампании против Гитлера (с. 133). Как указывает автор, оппоненты обвиняли друг друга в манипулировании источниками и привлечении спорных свидетельских показаний, а итоговые результаты процесса впоследствии не были критически изучены. Это же касалось и громадного массива материалов, который оставили после себя обе стороны и который,

как в таких случаях говорят, «ждал своего исследователя». В этом отношении книга Хагемейстера не только является большим шагом вперед в критическом изучении обстоятельств появления и распространения ПСМ, но и в определенном смысле подводит логическую черту под самим изучением данной тематики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Багдасарян 1999 – *Багдасарян В.Э.* «Протоколы Сионских Мудрецов» в контексте развития отечественной историографии // Армагеддон: актуальные проблемы истории, философии, культурологии. Кн. 3. М.: Сигнал, 1999. С. 101–129.

Бибикова 2018 – *Бибикова Л.В.С.Г.* Сватиков и происхождение «Протоколов сионских мудрецов» // Российская история. 2018. № 5. С. 141–157.

Ганелин 1992 – *Ганелин Р.Ш.* Белое движение и «Протоколы сионских мудрецов» // Россия и русское зарубежье Ч. 1. СПб., 1992. С. 124–130.

Платонов 2015а – *Платонов О.А.* Загадка Сионских протоколов. М.: Родная страна, 2015.

Платонов 2015б – *Платонов О.А.* Мировой еврейский заговор: истоки Сионских протоколов. М.: Родная страна, 2015.

Платонов 2015в – *Платонов О.А.* Сионские протоколы в мировой политике. М.: Родная страна, 2015.

Хагемейстер 2009 – *Хагемейстер М.* В поисках свидетельств о происхождении «Протоколов Сионских Мудрецов»: издание, исчезнувшее из Ленинской библиотеки // Новое литературное обозрение. 2009. № 2. С. 134–153.

Хагемейстер 2016 – *Хагемейстер М.* Мнимый псевдоним. Об авторе трехтомника «Ритуальное убийство у евреев». (Белград, 1926–1929) // Псевдонимы

русского зарубежья: материалы и исследования. М.: НЛО, 2016. С. 137–148.

Шнирельман 2010 — Шнирельман В.А. «Протоколы Сионских Мудрецов» // Лица ненависти (антисемиты и расисты на марше). М.: Academia, 2010. С. 182–202.

De Michelis 1998 — De Michelis C.G. Il manoscritto inesistente. I Protocolli dei savi di Sion: un apocrifo del XX secolo.

Rev.: Michael Hagemeister. Die "Protokolle der Weisen von Zion" vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die "antisemitische Internationale". Zürich: Chronos 2017. 648 p. (Mikhael' Khagejmejster. "Protokoly sionskikh mudretsov" pod sudom. Bernskij protsess 1933–1937 gg. i "antisemitskij internatsional". Tsyurikh: Khronos, 2017. 648 p.)

Barinov Igor I. — candidat of science (History), Researcher at the Primakov Institute of World Economy and International Relations (Moscow)

Key words: "Protocols of the Elders of Zion", Bern process, anti-Semitism.

Abstract. The new book of Michael Hagemeister, "The Protocols of the Elders of Zion on trial. The Bern Process 1933–37 and the "anti-Semitic International" is reviewed.

REFERENCES

Bagdasaryan V.E. «Protokoly Sionskikh Mudretsov» v kontekste razvitiya otechestvennoj istoriografii. *Armageddon: aktual'nye problemy istorii, filosofii, kul'turologii*, no. 3, Moscow: Signal, 1999, pp. 101–129.

Bibikova L.V.S.G. Svatikov i proiskhozhdenie «Protokolov sionskikh mudretsov». *Rossijskaya istoriya*, 2018, no. 5, pp. 141–157.

De Michelis C.G. *Il manoscritto inesistente. I Protocolli dei savi di Sion: un apocrifo del XX secolo*. Venezia: Marsilio, 1998.

Ganelin R.Sh. Beloe dvizhenie i «Protokoly sionskikh mudretsov». *Rossiya i russkoe zarubezh'e*, no. 1, St. Petersburg, 1992, pp. 124–130.

Khagemejster M.V. poiskakh svidetel'stv o proiskhozhdenii «Protokolov Sionskikh Mudretsov»: izdanie, ischeznuvshee iz Lenninskoj biblioteki. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 2009, no. 2, pp. 134–153.

Venezia: Marsilio, 1998. Рус. пер.: *Де Микелис Ч. Дж.* «Протоколы сионских мудрецов». Несуществующий манускрипт, или Подлог века. М.; Минск: Ковчег, 2006.

Taguieff 1992 — Taguieff P.-A. Les Protocoles des sages de Sion. Faux et usages d'un faux. Paris: Berg International, 1992. Рус. пер.: *Тагуефф П.-А.* Протоколы сионских мудрецов. Фальшивка и ее использование. М.: Мосты культуры, 2011.

Khagemejster M. Mnimyj psevdonim. Ob avtore trekhtomnika «Ritual'noe ubijstvo u evreev». (Belgrad, 1926–1929). *Pseudonimny russkogo zarubezh'ya: materialy i issledovaniya*. Moscow: NLO, 2016, pp. 137–148.

Platonov O.A. *Zagadka Sionskikh protokolov*. Moskva: Rodnaya strana, 2015.

Platonov O.A. *Mirovoj evrejskij zagovor: istoki Sionskikh protokolov*. Moscow: Rodnaya strana, 2015.

Platonov O.A. *Sionskie protokoly v mirovoj politike*. Moscow: Rodnaya strana, 2015.

Shnirel'man V.A. «Protokoly Sionskikh Mudretsov». *Litsa nenavisti (antisemity i rasisty na marshe)*. Moscow: Academia, 2010, pp. 182–202.

Taguieff P.-A. *Les Protocoles des sages de Sion. Faux et usages d'un faux*. Paris: Berg International, 1992.

А. А. Кузнецов

Рец.: *Коэн Стивен*. Избранное. М.: АИРО-XXI, 2018. 800 с. + ил.

Ключевые слова: Стивен Коэн, Н. И. Бухарин, И. В. Сталин, В. И. Ленин, М. С. Горбачев, Б. Н. Ельцин, Советский Союз, Россия, историография, альтернатива.

Аннотация. Рецензируется книга избранных текстов американского специалиста по советско-российской истории профессора Стивена Коэна. В рецензии рассматриваются вопросы влияния историографии на общественно-политические процессы и альтернативной истории исторической науки.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-223-227

Книга «Избранное» профессора Стивена Коэна вышла в год его 80-летнего юбилея. Она и автобиографична в отношении его штудий, и историографична (тексты для нее отбирал Г.А. Бордюгов). Получился эффект «двойного отражения»: автор наблюдает и оценивает, что и как из его идей и мыслей востребовано в сегодняшней России, а ее читающая публика осознает то, что важно американскому гуманитариию.

Писать рецензию на тексты, которые стали частью мировой и отечественной гуманитарной традиции более 30, почти 25, 10 лет назад, и одновременно на относительно свежие работы — дело неблагодарное по отношению к историку. Поэтому книга С. Коэна «Избранное» рассмотрена здесь с точки зрения бытования и влияния исторического знания в России, мо-

ментов актуализации возможных историографических альтернатив, упущенных возможностей... К такому взгляду на книгу подталкивает и статья Г.А. Бордюгова «Нетипичный историк. Предисловие».

Судя по книге, органичной видится эволюция С. Коэна от историка, изучавшего советское прошлое, к специалисту по поздней «советике», а затем — к эксперту по постсоветской России и трудностям российско-американского диалога.

На 2018 г., когда вышла книга «Избранное», выпала и еще одна значимая для ее автора круглая дата: 80 лет с момента казни Николая Ивановича Бухарина, осевой фигуры научного творчества Стивена Коэна. И никто после выхода его книги и последующих текстов о Н. И. Бухарине не сделал большего для реабилитации этого исторического деятеля. Том начинается разделом «Бухариниада». Лейтмотивом раздела является обоснование альтернативы И. В. Сталину и курсу «великого перелома» в лице Н. И. Бухарина, последователя

© А. А. Кузнецов, 2019

Кузнецов Андрей Александрович — доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства Института экономики и предпринимательства Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижегород); nalbuz@mail.ru

ленинской стратегии НЭПа. Мысль о такой альтернативе кристаллизовалась у Коэна еще в ходе работы над диссертацией о биографии Н.И. Бухарина, защищенной в 1968 г.

Деятельность Н.И. Бухарина и его отношения с И.В. Сталиным рассматриваются американским исследователем в контексте «внутренней» истории СССР. Между тем за 1990–2010-е гг. в российской историографии фактор международной обстановки был введен в дискурс внутривосточной истории довоенного СССР. Готовясь к борьбе за выживание, Советский Союз, как кажется, обречен был делать индустриальный рывок, оборотной стороной которого были выкачка средств из деревни, подавление дискуссий и полемистов. При допущении бухаринской альтернативы напрашивается и ее дилемма. Как проявился бы победивший Бухарин с учетом и военной угрозы, и жесткого проведения уже своего курса, подавления конкурентов? Да и возможные нравственно-психические метаморфозы личности, сосредоточившей бы властное влияние на людей на 1/7 земной суши, тоже непредсказуемы и не верифицируемы.

Само рассмотрение истории через призму альтернативности в книге, пришедшей к отечественному читателю в 1987 г., было новым и многообещающим для советской историографии. Подбор глав из биографии Н.И. Бухарина — 4, 5, 7, 9 — для публикации в книге «Избранное» сделан с упором на вопрос об альтернативе сталинизму. Материал в них охватывает период 1920-х — начала 1930-х гг., когда развивались

и распадались отношения Н.И. Бухарина и И.В. Сталина. С. Коэн проявил себя тонким аналитиком текстов В.И. Ленина, Н.И. Бухарина, И.В. Сталина, Л.Д. Троцкого, Л.Б. Каменева, партийной документации и др. Эта исследовательская работа была проведена во второй половине 1960-х гг., когда в СССР — «стране с безраздельно царящей цензурой, закрытыми архивами... и негативно настроенным официальным мнением» (с. 198) — изучали лишь сочинения В.И. Ленина.

Появление американской книги о Н.И. Бухарине в СССР в 1987 г. имело оглушительный успех. Монография вошла в дискуссионное поле перестройки. Из книги следовало умозаключение: раз были альтернативы курсу И.В. Сталина, то и перестройка, представлявшая собой поле выбора, имеет шансы на успех. Исследование импонировало советскому лидеру М.С. Горбачеву, и он рекомендовал его, как явствует из «Избранного», своим сподвижникам. Так биография Н.И. Бухарина, написанная американским ученым, стала фактом, фактором и событием советской истории. Феномен историографии вышел из исторической науки в сферу культуры со сложной логикой причинности, неоднозначности и непрямолинейности (*Лотман* 1997). Книга С. Коэна о Н.И. Бухарине появилась в тот момент, когда она была наиболее востребована.

Иная судьбы была у проекта «Узник Лубянки» (*Узник Лубянки* 2008), связанного с «возвращением» 4 авторских тюремных текстов Н.И. Бухарина («исследование о современной

культуре и цивилизации, философский трактат, том тематической лирики и неоконченный роман о своем собственном детстве в дореволюционной Москве» (с. 189)). Инициатором проекта стал С. Коэн: его статья из этого издания вновь публикуется в книге избранных работ. Обнаружение рукописей Н.И. Бухарина не вызвало крупного резонанса ни в 1996 г., ни в 2008 г. После 1991 г. в стране восторжествовала концепция изначальной преступности советского государства, в силу которой и СССР, и социализм должны были быть искоренены.

Интересной видится упущенная альтернатива публикации тюремных текстов Бухарина во время выхода в свет его биографии. Подведение Бухариным «с петлей на шее» итогов своей революционной, государственно-партийной и культурной деятельности составило бы один смысловой ряд с его жизнеописанием и породило бы новые смыслы, могло в определенной мере повлиять на общественное сознание и даже на историю СССР. А так «записки из мертвого дома» Н.И. Бухарина увидели свет тогда, когда они могли быть любопытны лишь для «нескольких тысяч читателей» (с. 194). Кто-то из них, по мнению Коэна, будет соотносить тюремные тексты с контекстом эпохи, кто-то — восхищаться стойкостью их автора, кто-то — сравнивать их с сочинениями других политических жертв. Эти три подхода характерны для источниковедческо-исторических исследований и остаются уделом небольшого числа ученых. Сегодня преобладает другое, «менее разумное» восприятие бухаринских текстов и самого Н.И. Буха-

рина, спрогнозированное Коэном: либо агрессивное отторжение, либо равнодушие. По его мнению, со временем их читателей, «несомненно, станет больше» (с. 194).

Сама научная эволюция С. Коэна оказывается независимой от политико-социальных веяний. Свидетельством тому являются завершающие «Бухариниаду» главы из книги «Жизнь после ГУЛАГа...» (Коэн 2011). Замысел этой коллективной биографии узников ГУЛАГа с момента освобождения до попыток обрести новое место в обществе родился в ходе работы Коэна над биографией Н.И. Бухарина в условиях «застойного» СССР.

Это исследование могло бы стать пионерским для отечественной историографии как пример просопографии, увидь оно свет в первой половине 1990-х гг. С. Коэн сформировал репрезентативный источниковый комплекс из рассеянных по советским провинциальным журналам воспоминаний бывших узников, поданных как беллетристика, сам/тамиздатовских текстов и личных устных свидетельств. Для выявления последнего сегмента источников Коэн подготовил анкету, что явилось практикой тоже пока малоизвестной в позднем СССР устной истории (oral history).

Американский историк, обращаясь к эпизодам биографий «возвращенцев» из ГУЛАГа, показал их влияние на метаморфозы советской внутренней политики, углубление десталинизации после XX съезда КПСС и борьбу за власть в высшем руководстве страны. Для этого автор анализировал взаимоотношения власти

и бывших узников, отношения последних к родственникам и своим палачам, степень жажды мести или воздаяния, адаптации к гражданской жизни и пр. Ему удалось представить активную роль жертв ГУЛАГа в советской истории 1950–1980-х гг.

Так С. Коэн сцеплял казавшиеся изолированными блоки советской истории. Подобное наблюдается и в связанности тематических блоков в его научном творчестве. В названии второго раздела книги «Советская система: была ли альтернатива распаду СССР» читается проблема иной исторической возможности. Отвечая на этот вопрос, С. Коэн анализирует американскую историографию СССР (советологию), процессы и события советской истории на предмет (не)ригидности советской политической системы, события, процессы, причины и факторы распада СССР. Приведенные в американской «тоталитарной» советологии и в журналистике аргументы в пользу нероформируемости Советского Союза Коэн фундированно преодолевает. Он доказывает, что «греха первородного зла» не было у СССР, а если и был, то ровно такой же, как у долговременного периода рабства и Войны за независимость США, Великой Французской буржуазной революции. Факторы, которые абсолютизируются как причины неизбежного распада СССР, — несостоятельность экономической системы, сопротивление широких народных масс, однопартийность и пр. — Стивен Коэн обоснованно трактует как надуманные или не столь значительные.

В пространстве альтернатив в истории позднего СССР С. Коэн выделяет

субъективный фактор в лице двух высших руководителей — М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина. С этим тезисом связан неожиданный для отечественного читателя вывод о том, что наивысшая точка демократизации была достигнута в правление М. С. Горбачева. А в постсоветской России завоевания свободы стали минимизироваться. Данный парадоксальный вывод сложился у Коэна в процессе опровержения идеи, согласно которой причиной краха СССР стала недостаточность свобод.

Эти рассуждения стали отправной точкой для размышлений мэтра в разделе «Российско-американские отношения от первой холодной войны до второй: есть ли альтернатива?». Эти тексты, написанные в период 1992–2018 гг., вызовут наибольшее число споров среди российских читателей. С. Коэн показывает, что, приветствуя распад СССР, американский истеблишмент сделал ставку на Б. Н. Ельцина, сворачивавшего демократические достижения предшествующего периода. Не замечая этого, американские администрации потребительски относились к России и как к побежденной стране, и как к стране, которую надо учить свободе. В реакции на такое отношение и складывался феномен России, оказавшейся непослушной. Коэн не встает на защиту России, а лишь предлагает задуматься над тем, какой стратегический курс США может обеспечить то, чтобы Российская Федерация открылась для диалога, равноправного решения проблем мирового значения.

Издание собрания трудов Стивена Коэна — весомых и значимых — яв-

ляется важным действием в определении Россией, российским обществом своего места в потоке истории и в мире. Книга «Избранное» будет способствовать формулированию вопросов, разрешение которых позволит России определять свой путь уже в XXI в.

Значимость представленного экстракта многих трудов Стивена Коэна подчеркивается и материалами компактных Приложений, где он представлен крупным мыслителем от истории и политики. Академическое обрамление этого качества выражается массивным, многостраничным справочным аппаратом избранных текстов Стивена Коэна.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Коэн 2011 — Коэн С. Жизнь после ГУЛАГа. Возвращение сталинских жертв / перевод Ирины Давидян. (Серия «АИРО — первая публикация в России»). М., 2011 (См. также электронную публикацию: http://airo-xxi.ru/2009-12-27-19-12-47/cat_view/51-).

Лотман 1997 — Лотман Ю.М. Клио на распутье // Лотман Ю. М. Карамзин. СПб.: Искусство-СПб, 1997. С. 628–636.

Узник Лубянки 2008 — Узник Лубянки. Тюремные рукописи Николая Бухарина. Сб. документов / предисл. С. Бабурина; перевод Ирины Давидян; введ. Ст. Коэна; под ред. Г. Бордюгова. (Серия «АИРО — Первая публикация»). М., 2008. (1-е издание вышло в 1996 г.).

Rev.: Koen Stiven. Izbrannoe. Moscow: AIRO-XXI, 2018. 800 p. + il.

Kouznetsov Andrey A. — Doctor of Science in History, Associate professor of Department of Culture and Psychology of Entrepreneurship of the Institute of Economics and entrepreneurship of the Lobatchevsky State University of Nizhni Novgorod

Key words: Stephen Cohen, N. I. Bukharin, I. V. Stalin, V. I. Lenin, M. S. Gorbachev, B. N. Yeltsin, Soviet Union, Russia, historiography, alternative.

Abstract. The book of selected texts of the American expert on Soviet-Russian history, Professor Stephen Cohen, is reviewed. The review addresses the impact of historiography on socio-political processes and the alternative history of historical science.

REFERENCES

Koen S. *Zhizn' posle GULAGa. Vozvrashchenie stalinskikh zhertv*, perevod Iriny Davidian. (Seriiia "AIRO — pervaia publikatsiia v Ros-sii"). M., 2011.

Lotman Iu.M. *Klio na rasput'e in Lotman Iu.M. Karamzin*. St. Petersburg: Iskusstvo-SPb, 1997, pp. 628–636.

Uzник Lubyanki. Tiuremnye rukopisi Nikolaia Bukharina. Sb. dokumentov, predisl. S. Baburina; perevod Iriny Davidian; vved. St. Koena; pod red. G. Bordiugova. (Seriiia "AIRO — Pervaia publikatsiia"). Moscow, 2008.

НЕ ФАКТ, ЧТО АФФЕКТ

Рец.: Политика аффекта: музей как пространство публичной истории / под ред. А. Завадского, В. Склез, К. Суверинои. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 400 с.: ил. (Серия «Интеллектуальная история»)

Ключевые слова: политика аффекта, аффекты, эмоции, публичная история, исторический музей, музей памяти, национальный и транснациональный нарративы памяти.

Аннотация. Рецензент останавливается на трех сквозных темах сборника: 1) мутация исторического музея — важнейшей опоры национальной идентичности индустриальной эпохи модерна, в музей памяти, формирующий транснациональную идентичность информационной цивилизации; 2) инструменты, с помощью которых музей работает со зрительскими эмоциями; 3) многообразие современных концепций музея, свидетельствующих, что классический музей все меньше соответствует духу нашего времени.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-228-238

Взгляд на музей через теорию аффекта — проект, объединивший двадцать¹ исследователей. Пятеро из них — редакторы сборника и авторы предисловия «Разум и чувства: публичная история в музее» (с. 7–48) Андрей Завадский, Варвара Склез и Катерина Суверина, а также авторы послесловия «Границы аффекта как границы идентичности: Кризис публичного музея» (с. 384–395) Егор Исаев и Артем Кравченко — включили в число своих титулов магистерские степени в области публичной истории. Они — выпускники Шанинки (Московской высшей школы

социальных и экономических наук) по программе «Public History: Историческое знание в современном обществе», которую создали в 2012 г. Андрей Леонидович Зорин и Вера Сергеевна Дубина. Поэтому рецензируемый сборник, в котором Вера Сергеевна приняла участие, по праву можно считать одним из значительных достижений программы публичной истории Шанинки, с чем необходимо поздравить и замечательных профессоров и их талантливых учеников.

В «Политике аффекта» исследуется стремление многих современных музеев воздействовать прежде всего на чувства посетителей, отодвинув познавательную функцию на второй план. Авторы сборника подхо-

© С. Е. Эрлих, 2019

Эрлих Сергей Ефремович — доктор исторических наук, директор издательства «Нестор-История» (Москва — Санкт-Петербург); ehrlich@mail.ru

дят к «эмоциональному повороту» (Софья Чуйкина, с. 244) с различных сторон. Формат рецензии позволяет остановиться лишь на трех сквозных темах сборника:

мутация *исторического музея* — важнейшей опоры национальной идентичности индустриальной эпохи модерна, в *музей памяти*, формирующий транснациональную идентичность информационной цивилизации;

инструменты, с помощью которых музей работает со зрительскими эмоциями;

многообразии современных концепций музея, свидетельствующих, что классический музей все меньше соответствует духу нашего времени.

В привычной нам форме музей возникает на волне Великой французской революции (Послесловие, с. 386). Это продукт Модерна. Поэтому в концепции традиционного музея заложены идеалы нации и прогресса. Музей — это, прежде всего, фабрика по производству идентичности гражданина современной нации-государства, которая устремлена из славного прошлого в великое будущее. По этой причине «стрела времени» прошлое — будущее является системным фактором организации пространства не только исторических музеев, но и музеев естественной истории, картинных галерей и т.д. В таких музеях преобладает героический нарратив прославления подвигов политических деятелей своей нации, которым ассистирует безликая народная масса.

В результате двух мировых войн и постоянной угрозы войны ядерной идея исторического прогресса начала сбивать, и к моменту окончания холодной войны время остановилось, начался «конец истории». Авторы сборника ссылаются на работы Франсуа Артога, Алейды Ассман, Ханса Ульриха Гумбрехта и других исследователей, анализирующих радикальное изменение режима историчности, переход к презентизму, согласно которому «будущего больше нет, а настоящее переполнено прошлым» (Предисловие, с. 12).

Презентистский режим ставит под сомнение не только «прогрессивный» (в направлении к лучшему будущему) принцип организации музея эпохи модерна. Под вопрос ставится само общественное устройство, такой музей породившее. Вызов бросается аксиоме современной нации-государства как оптимальной форме общественной организации. Дело не только в том, что пропаганда на основе героического нарратива, предпринятая прусским (потом германским), британским, русским, французским и прочими учителями, привела к двум мировым войнам, в ходе которых достижения научно-технического прогресса были поставлены на службу небывалых по масштабам убийств. Проблемы, порожденные национальным конструированием двух последних веков, не остались в прошлом. Конкуренция современных наций-государств не позволяет адекватно ответить на насущные вызовы, например, на приближающуюся экологическую катастрофу. Чтобы выжить, человечество

нуждается в эффективных наднациональных формах кооперации.

Музеи радикально реагируют на эту радикальную смену вех. Дарья Хлевнюк («Почувствовать права человека: аффект в музеях памяти», с. 106–122) анализирует феномен «музея памяти», который во многом является противоположностью привычного «исторического музея»: «Исторические музеи обычно посвящены истории побед, в них отражено славное прошлое государства. Музеи памяти — наоборот, посвящены трагической, часто недавней истории» (с. 106). Новые музеи отказываются от героического нарратива — взгляда на историю с точки зрения национального государства, и рассматривают прошлое взглядом жертв. Это не только переход с государственной позиции на личную, но и критика национальной памяти из транснациональной перспективы. В центре этой новой культуры транснациональной памяти «не национальные интересы, а права человека» (с. 108). Задача музеев памяти состоит в демонстрации современникам ужасов прошлого, чтобы «заговорить» будущее от повторения трансатлантической торговли рабами, ГУЛАГа, Холокоста и многих других геноцидов. Общий лозунг этих музеев «Никогда больше!» (с. 110). «Перформативная» задача таких музеев приводит к тому, что эмоция сострадания становится ведущим инструментом в работе со зрителем. Авторы статей анализируют разнообразные методы порождения сочувствия к жертвам через формирование «солидарности между конкретными людьми — жертвами трагедий и посетителями» (с. 122).

Зинаида Бонами («Музей в дискурсе аффекта», с. 51–78) отмечает, что для этого используются механизмы «телесного опыта» (с. 51). При этом рациональное познание становится препятствием для эмоционального «прищипывания» зрителя: «Ставка делается уже не на рациональный познавательный ресурс музея, а на силу его непосредственного сенсорального и эмоционального воздействия на личность» (с. 52).

Рост эмоциональной составляющей ведет к уменьшению числа «фигуративных» и потому нарративных элементов экспозиций в пользу абстрактных изображений, воздействующих, как и все современное искусство, на чувства, минуя рациональное восприятие. Елена Рождественская и Ирина Тартаковская («В поисках этоса, в бегстве от пафоса: место аффекта в музее и вне его», с. 79–105) рассуждают о феномене ненарративной «антимонументальности» музеев памяти и мемориалов жертвам геноцидов. По их мнению, «содержательно этот тренд выступает за абстрактные, пространственные и эмпирические элементы мемориальной архитектуры» (с. 81). Это не означает, что музеи памяти лишены собственных нарративов. Новый транснациональный нарратив сочувствия жертвам утверждает за счет отрицания «вертикального» героического стиля национальной «монументальной истории» Фридриха Ницше. «Антимонументальность» является «минус-приемом» неприятия устаревшего нарратива памяти и идентичности.

Дарья Хлевнюк отмечает, что Еврейский музей в Берлине и музей

в Хиросиме актуализируют «телесный опыт» с помощью архитектурных решений, в результате которых посетители движутся по достаточно крутому спуску под землю. При таком «кинестетическом» воздействии возникает ощущение, что их «сносит с эфирных вершин гуманизма в адские глубины человеческих страданий» (с. 111).

Галина Янковская («Эфемеры для музея: звуки и запахи, заводы и университеты», с. 299–319) развивает тему актуализации «телесного опыта». Она отмечает, что дополнение традиционных зрительных впечатлений звуками и даже запахами усиливает эффект сопричастности с прошлым. Примечательно, что на рассматриваемых ей выставках звуки и запахи носили не «документальный» характер, а были синтезированы на специальных устройствах, благодаря чему у зрителей возникало ощущение «аутентичности». Это блестящий пример того, что не только наши знания об истории, но и пресловутые «мадленки» — ощущения прошлого являются «конструкциями».

Важным средством эмоционального воздействия является устройство музея памяти в «интерьере» трагических событий — на территории лагеря смерти, политической тюрьмы и т.п. Тезис нахождения музея памяти в месте памяти отстаивает Вера Дубина («Виртуальное место памяти и реальное пространство ГУЛАГа в современной России», с. 320–336). Она обеспокоена тем, что новый Музей истории ГУЛАГа, открывшийся в Москве в 2015 г., располагается в здании, не связан-

ном со сталинскими репрессиями: «В этом, по моему мнению, таится опасность потерять эмоциональную связь, которая поддерживается именно привязкой к определенному месту» (с. 328). Разумеется, «аутентичность места» чрезвычайно важна, но, поскольку в ближайшее время музей ГУЛАГа перенести на Лубянку не удастся, абсолютизировать это обстоятельство не стоит. Несогласные со своим бывшим профессором редакторы сборника делают в этом месте отсылку к статье Дарьи Хлевнюк, в которой говорится, что «ни Яд Вашем, ни Музей Холокоста в Вашингтоне по понятным причинам не могли быть созданы в аутентичном пространстве» (с. 111).

Софья Чуйкина («Конструирование памяти о забытом событии через музейные технологии: производство эмоций на выставках о Первой мировой войне в 2014 году», с. 215–273) отмечает, что не только экспозиции, представляющие историю с точки зрения жертв, но и традиционные героические нарративы современной нации-государства под воздействием духа времени облекаются в привлекательную оболочку. Так «государственники» из Единой России доводят «политический месседж» до посетителей выставок посредством цитат, «помещенных огромными буквами на стенах — так, что их было невозможно не заметить. Некоторые посетители, осматривавшие экспозицию, <...> зачитывали эти цитаты вслух, а затем обсуждали. Это, на наш взгляд, подтверждает эффективность данного метода для осуществления влияния на посетителей» (с. 228).

В связи с этим автор ставит важные вопросы: «Не препятствует ли обращение к чувствам критическому аналитическому разговору об истории? Не заменяют ли эмоции рефлексии, не облегчают ли они идеологические манипуляции над посетителем?» (с. 216).

Театрализация — эффективный прием эмоционального вовлечения посетителей, которым все чаще пользуются новые музеи.

Павел Куприянов («Боярский быт в “оживших картинках”: музейная инсценировка как способ освоения прошлого», с. 349–370) показывает, что драматизация может увести зрителей от суровой истории к лживому мифу «национальной идентичности». Он анализирует опыт московского Музея палаты бояр Романовых, нацеленного прежде всего на «производство впечатления» (с. 353). В этом «театре памяти» (с. 355) экспонаты «не находятся в витринах, а составляют отдельные интерьеры» (с. 350). Экскурсоводы в «боярских» одеждах ведут рассказ, пользуясь якобы старинными речевыми оборотами, что еще раз убеждает, что «аутентичность» памяти это не документ, а конструкция: «Диалоги героев не воспроизводят устную речь XVII века, а имитируют ее с помощью шаблонных приемов: употребления диковинных для современного уха слов, использования в качестве соединительного союза “да” вместо “и”, обилия части “-то”, междометий “ой”, расположения существительного перед прилагательным: “Ой, а Маланья-то сказывала, будто у нас по погребам мыши бегают, малые да великие, да добро

хозяйское портят!»» (с. 367). Таковыми способами «формируется позитивный образ прошлого, в котором все устроено правильно и разумно» (с. 358), включая ценности «Домостроя». Многие посетители оценивают их как выражение истинно русского духа. Куприянов не согласен с политикой музея по эмоциональному отождествлению со старыми добрыми временами и игнорированием «культурной инаковости прошлого», в результате чего «театрализованные экскурсии <...> представляются весьма сомнительным средством исторического просвещения» (с. 369).

Если московский музей предлагает отождествиться с боярами XVII в., то режиссер Михаил Калужский («Сцена в музее: возможности и границы документального театра в музейном пространстве», с. 371–383) рассказывает о своем опыте, осуществленном в Томском краеведческом музее, где зрителям предлагалось сопереживать раскулаченным крестьянам. Проект «Чаинское крестьянское восстание 1931 г. (опыт документального спектакля в музее)» был осуществлен в 2016 г. Автор противопоставляет музей, где доминирует движение через пространство экспозиции, и театр, где на сцене перед неподвижными зрителями течет время. Театр — это «археологические раскопки» трагического прошлого, музей — это каталог находок. Для привнесения динамики в статику экспозиций музеи «активно обращаются к документальному театру» (с. 376). Автор отмечает, что музейные спектакли, представленные в «интимном пространстве очень маленького зала,

<...> оказывают на зрителя воздействие, которое некоторые исследователи называют вторичной травматизацией. Это ситуация, когда знание травматического прошлого взаимодействует с эмоциональным переживанием контекста, в котором это прошлое представлено, заставляя зрителя сопереживать происходящему на сцене на телесном уровне» (с. 380–381). Документальный формат позволяет избегать катарсического разрешения конфликта и, напротив, «нагнетать его» (с. 383). Побуждая потомков ограбленных и убитых советской властью «кулаков», которых эта власть обрекла на забвение, к символическим действиям по «воскрешению отцов», автор с удовлетворением отмечает, что «нагнетал» не напрасно: «Через два месяца после премьеры “Восстания” в селе Подгорном, центре Чаинского восстания, был поставлен памятник жертвам политических репрессий» (с. 383).

Еще одна сквозная тема сборника — размышления по поводу того, что «эмоциональный поворот» сопровождается разрушением традиционной модели музея — храма рационального знания индустриального общества, где демонстрируются преимущественно «коллекции уникальных предметов» (Послесловие, с. 385, 390).

Под словом «музей» сейчас понимаются, например, уличные экспозиции стрит-арта, которые вторгаются в пространство заброшенного музея. Алиса Савицкая («Музей в пространстве города: как нижегородское уличное искусство работает с локальным контекстом»,

с. 195–211) считает, что «стратегию нижегородского уличного искусства можно сравнить со своего рода “распределенным” музеем, который собирает рассредоточенные в пространстве объекты и явления в цельную систему и таким образом музеефицирует живую среду» (с. 209).

Роман Абрамов («Грани неформальной музеефикации “реального Социализма”: материализация ностальгического аффекта», с. 274–298) представляет Музей советских игровых автоматов, где подростки вместе с ностальгирующими родителями на практике осваивают (вспоминают) «телесный опыт» советского виртуального пространства.

Вера Дубина рассказывает о виртуальном музее ГУЛАГа, проекте, который реализует питерский «Мемориал» (с. 321).

Александр Кондаков («Квир-архив, ЛГБТ-музей и потерянные мальчики: две версии истории сексуальности», с. 123–147) обсуждает проблему: может ли интернет-архив российского ЛГБТ-движения, среди «экспонатов» которого, в частности, находится скан читинской газеты «Голубок» (с. 141), выполнять функции музея памяти сексуальных меньшинств?

Вряд ли эти модели новых музеев апеллируют к сакральному образу, присущему музею модерна. Под вопрос ставится и второй важный атрибут классического музея — наличие уникальных экспонатов.

Галина Янковская рассказывает о перформансах в музее PERMM,

в котором на момент регистрации не было ни одного экспоната (с. 302). Еще более радикальный пример — так называемый исторический парк «Россия — моя история» (Послесловие, с. 393). Это созвездие клонов, созданное под руководством вроде бы духовного отца Путина, Тихона Шевкунова, обходится не только без экспонатов, но и без титула «музей». И это не единичный случай. Сегодня «слово “музей” используется сейчас все реже» (с. 393).

Свидетельствуют ли эти тенденции о том, что музей — детище Модерна — должен остаться в индустриальном прошлом? Авторы не дают прямого ответа. Проблема, сформулированная Зинаидой Бонами: «Мы являемся свидетелями масштабного кризиса модели музея, в рамках которой культурным и нравственным приоритетом в течение долгого времени была идея восходящего прогресса и самосовершенствования человека» (с. 77) — требует специального осмысления, возможно, в следующем проекте редакторов рецензируемого сборника.

Отметив сильные стороны, не могу не сделать два замечания.

Первое — относится к выбору теории аффекта в качестве методологической рамки. Необходимо подчеркнуть, что ни редакторы, ни авторы не претендуют на звание «теоретиков», и предметом сборника является исследование музейной практики. Из названий подавляющего большинства статей очевидно, что перед нами анализ случаев, или, как все чаще говорят, «кейсов»,

свидетельствующих, что эмоциональная составляющая музейных экспозиций отодвигает на второй план прежнюю познавательную доминанту. Многообещающая теория аффекта, в развитии которой участвовали и участвуют лучшие гуманитарные умы, до сих пор находится в стадии становления, и в силу этого пока не может стать эффективной методологической основой эмпирических исследований. Вот что пишут о состоянии дел в этой теории американские авторы: «Различные теории аффектов зачастую несовместимы друг с другом и запутывают читателя, потому что каждый автор пытается по-своему определить релевантные концепции. <...> Вдобавок термины “аффект”, “эмоция”, “чувство” нередко используются как взаимозаменяемые» (*Тайсон, Тайсон* 2006: 151).

Необходимо также учитывать, что, помимо расплывчатого «научного» понимания аффекта, по крайней мере в русском языке, существует устойчивый «бытовой концепт», согласно которому под аффектом понимается интенсивная и кратковременная психическая вспышка, сопровождающаяся произвольными, т.е. неконтролируемыми сознанием, телесными реакциями на провокацию, обычно аморальные или противоправные действия. Эти телесные реакции могут вредить здоровью впавшего в аффект, а также представлять опасность для окружающих. В повседневной жизни мы различаем эмоцию и аффект по интенсивности внешнего проявления: эмоция — это волнение, аффект — это страсть. Нынешнее «смутное время» теории аффекта

способствует тому, что, хотим мы того или нет, обыденное понимание влияет на чтение «Политики аффекта», затрудняет, по причине терминологического «завышения», освоение авторского замысла и тем самым дает искаженное представление о реальной музейной политике, в которой, как напоминает Вера Дубина, правилом является «запрет на эмоциональное подавление» (с. 330). С «обывательской» точки зрения современные музеи действительно стремятся взволновать посетителей, но ни в коем случае не возбудить в них страсти.

Редакторы рецензируемого сборника также отмечают, что общепринятого понимания аффекта не существует, «концепций и способов использования “аффекта” можно сформулировать столько же, сколько существует исследователей аффекта». Они также указывают, что разница между «эмоцией» и «аффектом» далеко не всегда «фиксируется исследователями». Все это — признаки творческого «кипения», которые свидетельствуют, что до концептуальной «кристаллизации» еще далеко. Не случайно «современная музеология еще не выработала собственное определение аффекта» (с. 30).

Современная музеология еще не выработала, но редакторы зачем-то выбрали в качестве общего подхода к исследованиям музейной практики тавтологическую теорию, где аффекты неотличимы от эмоций и которую каждый *не* понимает по-своему. В случае индивидуальной научной работы проблема решается авторским определением понятий:

«Под аффектом понимается это, а под эмоцией то». Но в рецензируем сборнике участвуют двадцать исследователей. На практике их подходы невозможно согласовать и привести не то что к единому, но хотя бы к близкому «аффективному знаменателю».

Можно возразить, что в данном случае материалы объединены общим подходом, и совсем не обязательно, чтобы участники проекта как-то договаривались по поводу определения центрального понятия сборника. Это действительно не обязательно. Но авторы в большинстве своем не пытаются сформулировать, что ими понимается под неоднозначным, и потому нуждающемся в «рабочем» определении понятием «аффект» в рамках их публикаций. Это позволяет предположить, что не оно «фокусирует» их исследовательскую практику. Может, я был недостаточно внимателен, но мне удалось найти только две попытки определения аффекта. Зинаида Бонами пишет: «Хотя в словаре музея аффект не обрел пока строгой дефиниции, в данном контексте его возможно понимать прежде всего как способ воссоздания прошлого на основе личных впечатлений, воспоминаний и опыта (в том числе телесного), а не общеисторического знания» (с. 51). Мария Силина («“Эмоциональное мышление” и “самоговорящие вещи”: К истории аффекта в советских музеях в 1920–1930-х годах», с. 151–173) указала, что под «аффектом в статье подразумевается комплексный психический отклик, который понимался искусствоведами как моторные и психические ответы на музей-

ную среду и объекты в ней» (с. 152). Эти определения примечательны тем, что если мы заменим в них «аффект» на «эмоции», то смысл никак не изменится. Эмоции также задействуют «телесный опыт» и сопровождаются «моторными и психическими ответами». Не уверен, что такое обращение к «теории аффекта» способствует приращению знания и понимания.

На мой взгляд, это проблема редакторов, предложивших исследовать музейную практику с помощью теории, которая переживает стадию становления и поэтому пока не способна стать методологической основой эмпирических исследований. Авторы статей вынуждены принять правила игры и перемежать презентацию своих содержательных исследований «эмоционального поворота» информационным шумом — рассуждениями о музейной «политике аффекта». На мой взгляд, авторы сборника прекрасно излагают свои продуктивные идеи, обходясь понятием «эмоция», по поводу которого существует относительный консенсус. Считаю, что именно «эмоция», а не «аффект» является рабочим понятием этого интереснейшего сборника. Не знаю, сказалось ли в выборе теоретического подхода стремление редакторов продемонстрировать, что они в курсе веяний западной гуманитарной мысли (на опыте которой нам всем действительно надо учиться, учиться и еще раз учиться, в том числе и потому, что отечественная наука в целом сильно сдала за последние три десятилетия), или у них были другие мотивы, но, прибегнув к аффекту, они умножили сущности без необ-

ходимости. Возможно не случайно, что единственная участница проекта, которая заявила, что рамка аффекта «лишь частично применима» в ее исследовании (с. 176), — это кандидат наших географических наук и докторант Оксфорда Софья Гаврилова («Наследие советских теоретических и экспозиционных методов в современных краеведческих музеях», с. 174–194), у которой нет необходимости «партиципировать» к западной науке через теорию, недостаточно эффективно работающую в музейном контексте.

Второе замечание — это, конечно, мелочь, но Ефроимышчу она неприятна. И она опять связана с проблемой причащения к вожделенному «золотому миллиарду». В разделе биографических сведений «Об авторах» (с. 396–399) не указаны отчества. К чему это фрейдовское символическое отцеубийство? Неужели редакторы (возможно, что в данном случае — это инициатива редакции издательства НЛО) считают, что тем самым они отказываются от тяжелого наследия «патриархального гендера» и в результате приближаются к цивилизованному миру, где почему-то не торопятся отказываться от традиции иметь порой по несколько middle names? Я тоже хочу, чтобы наша страна стала частью Европы, но отказ от патронимов, которыми, в частности, пользуются процветающие европейцы — исландцы, не приведет нас к свободе и демократии. Мы нуждаемся для этого в других творческих заимствованиях.

Последнее время много говорится по поводу того, что активизация

семейной памяти является одним из эффективных средств для противостояния манипуляциям исторической политики со стороны авторитарного государства. Об этом упоминает Роман Абрамов: «Иногда такой род коллективной памяти называют “медленной”, “второй памятью”, которая отличается от официальной и <...> дистанцируется от идеологии, опираясь на факты, семейные воспоминания» (с. 275). Софья Чуйкина (с. 249) и Софья Гаврилова (с. 192) отмечают, что современная музейная практика все чаще обращается к семейной памяти.

Опора на семейную память позволяет иванам, помнящим родство с крестьянами, обреченными сперва на голодную смерть в ходе коллективизации, а потом на безжалостные репрессии Большого террора (вспомним нашумевшее архивное расследование Дениса Карагодина), формировать идентичность, устойчивую к людоедским «объяснениям» государственной пропаганды: «Твоя бабка сдохла в 32-м, а твоего деда расстреляли в 37-м, чтобы твой герой-отец мог в 45-м штурмовать Берлин». Для русского имя отца в составе его имени — это часть семейных идентичности и памяти, дополнительная биографическая опора, которая, в отличие от мили-

таризованной национальной памяти путинской России, ничем не угрожает другим народам и вместе с тем никак не мешает чувствовать себя неотъемлемой частью рода человеческого. Нам, как и, например, англичанам с американцами с их неясной функции «средними именами» (кстати, не редко они служат чем-то вроде отчества и «матчеств», «дедчеств» и «бабчеств»), нечего стыдиться нашей традиционной системы имен. Партиципация к «нормальному миру» через «патронимцид» — нелепа и самоуничижительна. Может, в результате глобальной интеграции национальных отчеств отчества исчезнут вместе с другими реликтами мировой ономастики, но зачем «лзти попереду батька»?

В заключение хочу поздравить участников проекта, который серьезно изменил мои представления о современном музее. Надеюсь, что и другие читатели найдут в нем много интересных идей. Желаю всем авторам и редакторам новых творческих успехов!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Тайсон, Тайсон 2006 — *Тайсон Ф., Тайсон Р.Л.* Психоаналитические теории развития / пер. с англ. М.: Когито-Центр, 2006.

IS THIS WORTH THE AFFECT

Rev.: *Politika affekta: muzei kak prostranstvo publichnoi istorii*, pod red. A. Zavadskogo, V. Sklez, K. Suverinoi. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. 400 p.: il. (Seria "Intellektual'naia istoriia")

Ehrlich Sergey E. — doctor of sciences (history), director of the publishing House “Nestor-Historia” (Moscow — St. Petersburg)

Key words: politics of affect, affects, emotions, public history, historical museum, museum of memory, national and transnational narratives of memory

Abstract. The reviewer remarks on three common points of that essays' collection: 1) Transformations of the historical museum, which was a cornerstone of the national identity during Industrial Modernity era, into the museum of memory, shaping the transnational memory of the Information society; 2) The set of museum's tools using to affect visitors' emotions; 3) The multitude of modern museum's concepts, which are evidence that a classic museum's image does not correspond to the needs of our time.

REFERENCES

Taison F., Taison R.L. *Psikhoanaliticheskie teorii razvitiia*, per. s angl. Moscow: Kogito-Tsentr, 2006.

Н. И. Дедков

Рец.: *Фирсов Ф.* Коминтерн: погоня за призраком. Переосмысление. М.: АИРО-XXI, 2019. 672 с.

Ключевые слова: Коминтерн, революция 1917 г. в России, идея мировой революции, инструменты внешней политики СССР.

Аннотация. Рецензируется новая книга известного знатока истории Коминтерна Ф. Фирсова, подводящая итоги его многолетних исследований.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-239-244

Имя доктора исторических наук Фридриха Фирсова известно всем, кто интересуется историей Коминтерна. 34 года жизни он отдал работе в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего Сектором истории Коминтерна, был свидетелем как создания этого сектора, так и его ликвидации — вместе с самим ИМЛ в 1991 г. Но даже конец института не оборвал интереса к истории Коминтерна — потом была работа в открывшихся для исследователей архивах и написанная на ее основе книга «Секретные коды истории Коминтерна. 1919–1943» (М.: АИРО-XXI; КРАФТ+, 2007), которая сначала была доработана и переиздана под новым названием (*Фирсов* 2011), а затем еще раз переработана

с участием американских историков Харви Клера и Джона Хайнса и издана уже на английском языке (*Firsov, Klehr, Haynes* 2014).

И вот после всех этих долгих лет, после многочисленных опубликованных работ Ф. Фирсов выносит на наш суд новую книгу по истории Коминтерна.

Одно ее отличие от предыдущих книг и статей бросается в глаза: в ней нет ссылок на архивные документы, она целиком построена на материалах и документах, ранее опубликованных и введенных в научный оборот (в том числе самим автором). Это не исследование — это подведение итогов или, как сам Ф. Фирсов определил свою задачу в заголовке книги — переосмысление истории Коминтерна в целом.

Впрочем, точнее было бы говорить не о переосмыслении, а об осмыслении как таковом, ибо интерпретирование истории Коминтерна

© Н. И. Дедков, 2019

Дедков Никита Игоревич — кандидат исторических наук, МГУ имени М. В. Ломоносова, Московская школа экономики, кафедра общественно-гуманитарных дисциплин (Москва);
ndedkov@gmail.com

в советские времена осмыслением назвать сложно. По сути своей, это было вписыванием исторических фактов в заранее заданные схемы, которые дозволялось корректировать только в весьма незначительных пределах и главным образом в связи с внешними обстоятельствами, т. е. с колебаниями генеральной политической линии КПСС. Для целых поколений советских историков, не имевших возможности свободно писать о том, что они знали и думали, это было настоящей трагедией. И в этом смысле Фирсов повезло: он имеет возможность свободно обобщить свои знания, свой опыт изучения истории Коминтерна. Его труд точно не пропал бесследно.

Как ни странно, новая книга Ф. Фирсова является первой предпринятой в постсоветские времена попыткой создать последовательную цельную историю Коминтерна, тщательно вписанную в контекст истории партии большевиков, Советской России и всемирной истории. Многочисленные публикации документов, связанных с историей Коминтерна, в России были (ВКП(б) 1994–1996; 1999; 2001; 2003–2007; 2007; Коминтерн... 1998; 1999; 2001; 2003; 2004; Коминтерн и Вторая... 1998; Коминтерн и идея... 1998), исследования отдельных проблем истории этой организации есть¹, а вот обобщения до сей поры не было. И, таким образом, Фирсов заполняет важную пустующую нишу, создает своеобразную точку отсчета, с которой так или иначе придется

считаться новым исследователям: с выводами автора можно и нужно спорить, но игнорировать его работу не получится.

Еще одна характерная черта книги — ее обращенность не к специалистам, а к массовому читателю, совершенно неискушенному не только в истории Коминтерна, но и в советской истории вообще. Автор подробно объясняет во введении причину такого несколько необычного выбора целевой аудитории — книга родилась в процессе чтения популярных лекций в США, где слушателям необходимо было объяснять вполне очевидные для российского читателя вещи, причем делать это приходилось максимально кратко и просто. Отсюда в книге возникают сюжеты, казалось бы, совершенно необязательные для изложения истории Коминтерна, вроде главок о НЭПе (с. 165–170), о закреплении крестьянства в СССР (с. 410–411) и о жизни Советского Союза в 1930-х гг. (с. 548–554). С одной стороны, это обстоятельство делает книгу весьма уязвимой для критики (попытка рассказать о коллективизации и ее последствиях на двух страницах не может не быть поверхностной), но, с другой — может быть расценено как «наименьшее зло», поскольку благодаря таким вставкам читатель получает возможность понять, в каких условиях принимались решения Коминтерна и как они были связаны с историей Советской России. В любой музейной панораме живописный задник предназначен не для пристального изучения, а всего лишь для создания фона, контекста для экспонатов, вынесенных на передний план.

¹ См., например: (История... 2002; Пантелеев 2005; Ватлин 2009).

А ценных «экспонатов» — подробно рассмотренных сюжетов из бурной и зачастую трагической истории Коминтерна — в книге предостаточно. Благодаря ориентации на того же массового читателя, она периодически читается как роман, держит в напряжении при сохранении достоверности, документированности и научности. Так, например, читаются истории с провалом «германского Октября» (глава 5), поражением китайских коммунистов в противостоянии с Гоминьданом (глава 8), участием Коминтерна в гражданской войне в Испании (глава 10), не говоря уже о роли агентуры Коминтерна во время Второй мировой войны (глава 13).

Однако, рассказывая о событиях, Ф. Фирсов не забывает о своей главной задаче — осмыслении, и вся его книга держится на двух главных сюжетных линиях (если такая терминология применима к научной литературе) — истории взаимоотношений Коминтерна и западной социал-демократии, с одной стороны, и истории взаимоотношений Коминтерна с большевистской партией и советской властью — с другой.

С 1924 г., с V конгресса Коминтерна «социал-демократия начала рассматриваться как “крыло фашизма”, с которым следует вести такую же смертельную борьбу, как с фашизмом» (с. 312), а к концу 1920-х гг. в документах Коминтерна стал все чаще фигурировать термин «социал-фашизм». Интересно, что Ф. Фирсов связывает усиление борьбы против социал-демократии и, в частности, против левой социал-демократии с борьбой Сталина с группой Бу-

харина (с. 409), разворачивавшейся вокруг вопроса о продолжении НЭПа, и с представлением Сталина о нарастании в капиталистических странах «элементов нового революционного подъема».

Тот факт, что непримиримое отношение коммунистов к социал-демократам явилось одним из факторов, проложивших Гитлеру дорогу к власти, общеизвестен. Однако несомненная заслуга Ф. Фирсова состоит в том, что он последовательно проследил историю взаимоотношений Коминтерна и социал-демократии и убедительно показал, что отношение к германской социал-демократии было не трагической ошибкой, не частным случаем, а логическим продолжением всей предыдущей политики Коминтерна, обусловленной ее полной оторванностью от жизни. «*Левосектантский экстаз*» — так обозначает Фирсов эту особенность коминтерновской политики.

Представление о социал-демократии как враге рабочего движения породилось у руководителей Коминтерна совершенно неадекватной оценкой ситуации в мире. С самого момента создания Коминтерна его руководители исходили из представления, что мир стоит на пороге пролетарской революции, которую коммунистам предстоит возглавить. Чем больше времени проходило со времени окончания Первой мировой войны, чем стабильнее становилось положение в капиталистическом мире, тем большим становилось расхождение между марксистской теорией в ее ленинско-сталинской интерпретации

и реальностью. Уверенность в близком торжестве мировой революции, определявшая решения Коминтерна, опиралась не на факты, не на анализ реальных процессов и явлений, а на теоретические предвидения непререкаемых авторитетов. Отрыв предвидений от реальности превращал эту уверенность в веру сродни религиозной. Ее поклонники все дальше отрывались от основного потока рабочего движения, превращались в сектантов.

«Программа Коминтерна, как и многие Программы КПСС, провозглашенные как документы всемирно-исторического значения, обладали общей особенностью — они были невыполнимы. Поэтому Программа Коминтерна являлась по своей сути совокупностью коммунистических химер, так сказать Химериадой в целом. Из положений и предсказаний этой Программы не осуществилось ничего!» (с. 373). Ф. Фирсов не устает фиксировать и перечислять бесконечные ошибки Коминтерна в оценке ситуации в мире в целом и в отдельных странах, подчеркивает оторванность от жизни, фантастичность, утопичность большевистских идей, принятых на вооружение Коминтерном. К сожалению, за рамками интереса автора остался вопрос о причинах упрямой приверженности большевиков и их последователей в рядах Коминтерна этим идеям.

Между тем ни зачисление коминтерновцев в леворадикальные сектанты, ни констатация их фанатизма сами по себе не объясняют ни этот фанатизм, ни ошибки, ни распространение коммунистических идей

по миру. Так, например, без ответа остается вопрос о том, почему руководители Коминтерна раз за разом наступали на одни и те же грабли, позволяя убедить себя, что местные коммунистические партии, будь то в Германии, Китае, Болгарии или Эстонии, готовы вести борьбу за власть? Что двигало ими: непоколебимая вера в правоту марксизма, или давление формировавшейся системы, в которой сомнение в силах пролетариата могло быть расценено как преступный уклон, или же наивное желание своими руками двигать вперед историю, невзирая ни на какие объективные препятствия? Мотивов могло быть много, и их изучение — тщательное, основанное на скрупулезной работе с документами личного характера — представляет собой важную задачу, без решения которой до конца понять, чем был Коминтерн, все-таки нельзя.

Однако, абстрагируясь от личных мотивов руководителей Коминтерна и рядовых его членов, Ф. Фирсов прекрасно показывает, какими задачами руководствовалась эта организация в целом, и последовательно прослеживает их эволюцию. Коминтерн видел в защите Советской республики «высший интернациональный долг пролетариата. Практически это и стало основной задачей и целью этой международной коммунистической организации. Все остальные задачи и действия Коминтерна были ее составной частью» (с. 71). Это сказано уже о I Конгрессе Коминтерна. А дальше, по мере укрепления этой самой Советской республики, другие бывшие на виду задачи Коминтерна, такие, как борь-

ба за установление пролетарской диктатуры по всему миру, постепенно тушевались и отходили куда-то на задний план, чтобы окончательно исчезнуть из повестки дня накануне Второй мировой войны. А когда во время войны роль покровителя организации, имеющей репутацию разжигателя революции, стала мешать Сталину налаживать контакты с Соединенными Штатами — в тот момент США могли сделать для Советского Союза куда больше, чем все зарубежные компартии вместе взятые, — Коминтерн был незамедлительно принесен в жертву текущим задачам и распущен.

История великого и ужасного Коминтерна, грозы буржуазных правительств, завершилась как у рядового советского учреждения — он был закрыт за ненадобностью. И это, с точки зрения Ф. Фирсова, вполне закономерный финал, ставший результатом долгой бюрократизации Коминтерна, его постепенного вставания в советскую административно-командную систему. Но если история Коминтерна закончена, то в осмыслении ее точку ставить рано. Книга «Коминтерн: погоня за призраком» — только первый шаг в этом направлении. В ней не хватает действующих лиц с их индивидуальными характерами и страстями и не хватает академической отточенности формулировок — дает о себе знать ориентация на массового читателя. Однако, вне всякого сомнения, это шаг важный и необходимый. Хорошо, что он сделан, и наконец есть книга, к которой можно адресовать любителя истории, заинтересовавшегося Коминтерном.

ИСТОЧНИКИ И МАТЕРИАЛЫ

ВКП(б) 1994–1996 — ВКП(б), Коминтерн и национально-революционное движение в Китае. Документы. Т. I–II. М., 1994–1996.

ВКП(б) 1999 — ВКП(б), Коминтерн и Китай: Документы. Т. III. М., 1999.

ВКП(б) 2001 — ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1947 гг. М., 2001.

ВКП(б) 2003–2007 — ВКП(б), Коминтерн и Китай: Документы. Т. IV–Т. V. М., 2003–2007.

ВКП(б) 2007 — ВКП(б), Коминтерн и Корея. 1918–1941. М., 2007.

Коминтерн... 1998 — Коминтерн и Латинская Америка: Сб. документов. М., 1998.

Коминтерн... 1999 — Коминтерн против фашизма: Документы. М., 1999.

Коминтерн... 2001 — Коминтерн и гражданская война в Испании: Документы. М., 2001.

Коминтерн... 2003 — Коминтерн и Африка. М., 2003.

Политбюро... 2004 — Политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) и Коминтерн. 1919–1943. Документы. М., 2004.

Коминтерн и Вторая... 1998 — Коминтерн и Вторая мировая война. Т. I–II. М., 1998.

Коминтерн и идея... 1998 — Коминтерн и идея мировой революции: Документы. М., 1998.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Ватлин 2009 — Ватлин А. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М., 2009.

История... 2002 — История Коммунистического Интернационала 1919–1943: Документальные очерки / отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 2002.

Пантелеев 2005 — Пантелеев М. Агенты Коминтерна. Солдаты мировой революции. М., 2005.

Фирсов 2011 — Фирсов Ф. Секреты Коммунистического Интернационала. Шифропереписка. М.: РОССПЭН, 2011.

Firsov, Klehr, Haynes 2014 — *Firsov F.I., Klehr H., Haynes J.E.* Secret Cables of the Comintern, 1933–1943. Yale University Press. New Haven and London, 2014.

Rev.: Firsov F. Komintern: pogonya za prizrakom. Pereosmyslenie. Moscow: AIRO-XXI, 2019. 672 p.

Dedkov Nikita I. — candidate of historical sciences, Lomonosov Moscow State University, Moscow school of Economics, Department of social and humanitarian disciplines (Moscow)

Key words: Comintern, the 1917 revolution in Russia, the idea of a world revolution, USSR foreign policy instruments.

Abstract. The new book of the famous expert on the history of the Comintern F. Firsov is reviewed, summing up the results of his many years of research.

REFERENCES

Firsov F.I., Klehr H., Haynes J. E. *Secret Cables of the Comintern, 1933–1943*. Yale University Press. New Haven and London, 2014.

Firsov F. *Sekrety Kommunisticheskogo Internatsionala. Shifropereписка*. Moscow: ROSSPEN, 2011.

Istoriia Kommunisticheskogo Internatsionala 1919–1943: Dokumental'nye ocherki, otv. red. A. O. Chubar'ian. Moscow, 2002.

Panteleev M. *Agenty Komintern. Soldaty mirovoi revoliutsii*. Moscow, 2005.

Vatlin A. *Komintern: idei, resheniia, sud'by*. Moscow, 2009.

В. Ю. Дашевский, С. А. Чарный

МЕЖ НАУКОЙ И МИФОМ

Рец.: *Володихин Д. М.* Иван IV Грозный. М.: Молодая гвардия (Серия «Жизнь замечательных людей»), 2018. 342 с.

Ключевые слова: Иван Грозный, «ультраохранительный миф», «либеральный миф», «угнетенный сирота», Ливонская война, сожжение Москвы и битва при Молодах, опричнина и опричный террор, Скрынников, Кобрин, Флоря, «вторая опричнина», митрополит Филипп, царевич Иван, «покаяние Грозного».

Аннотация. В рецензии дан критический анализ книги историка Д. М. Володихина об Иване Грозном, изданной в 2018 г. в серии «ЖЗЛ». Д. М. Володихин пытался создать, по его выражению, «полихромный образ Ивана IV», не рисовать его «белейшим белым или чернейшим черным». Апологетов Ивана Грозного Володихин называет создателями «ультраохранительного мифа», а тех, кто царя «очерняет», — «сторонниками либерального, западного мифа», под влиянием которого, по его мнению, оказались такие известные историки, как Р. Г. Скрынников и В. Б. Кобрин. По мнению рецензентов, автор убедительно и вполне научно критикует «ультраохранительный миф». Критика же «либерального мифа» автору не удалась. Рецензенты показывают это, сравнивая позиции автора и точку зрения таких историков, как Р. Г. Скрынников, В. Б. Кобрин и Б. Н. Флоря, а также самого Д. М. Володихина в его более ранних работах.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-245-267

Иван Грозный умер в 1584 г., но в России он по сей день продолжает оставаться «болевым точкой национальной памяти»¹. Интерес к жизни

и деятельности первого русского царя проявляют отнюдь не только специалисты-историки. И не случайно книги о нем одна за другой

© В. Ю. Дашевский, С. А. Чарный, 2019
Дашевский Виктор Юрьевич — кандидат исторических наук, учитель истории (Москва)
Чарный Семен Александрович — кандидат исторических наук, сотрудник НИПЦ «Мемориал» (Москва); ovadia-haz@yandex.ru

¹ (*Ростовцев, Сосницкий* 2018: 50). В статье этих двух историков приведены крайне

интересные данные о популярности Ивана Грозного в русскоязычном сегменте «Википедии». По количеству просмотров страниц о нем он опережает всех без исключения персонажей русской средневековой истории (с IX по XVII века) — от Владимира Святого до Минина и Пожарского (Там же: 47–48).

выходят в серии «ЖЗЛ», предназначенной для широкого круга читателей. В 1999–2009 г. четырежды (!) переиздавалась книга о Грозном, написанная известным историком-славистом, членом-корреспондентом РАН Б. Н. Флорей. О деяниях царя автор рассказывал сдержанно и беспристрастно, а его конечный вывод гласил: правление Ивана IV привело «в конечном итоге к разорению всей страны, сделало ее неспособной отразить наступление своих противников» (Флоря 2009: 435). В интервью журналу «Историческая экспертиза», появившемся в № 2 за 2018 г., Б. Н. Флоря сказал, что для него Иван IV — «негативный герой российской истории», но отметил, что «какой-то консенсус в обществе по теме Ивана Грозного отсутствует»².

Новая книга о Грозном, изданная в серии «ЖЗЛ» в 2018 г., подтверждает, что согласия относительно личности и исторической роли Ивана Грозного нет не только в обществе, но и среди профессиональных историков. Автор книги, ученый-историк, профессор МГУ Дмитрий Володихин известен и как писатель-фантаст, умеющий излагать свои мысли ярко и доходчиво. Он и раньше писал научно-популярные работы о Грозном и его времени. В 2010 г. в издательстве «Вече» вышла его книга с таким же названием — «Иван IV Грозный» (в 2019 г. она была переиздана без малейших изменений, хотя, как видно из кни-

ги 2018 г., взгляды автора кое в чем изменились — см. ниже). После словие к ней («Правда о Грозном») написал коллега автора — историк Г. А. Елисеев (ему Володихин выразил благодарность за «помощь в работе» (Володихин 2010: 6)). Вот как он суммирует содержание той книги: «Общий итог царствования первого царя оказывается отрицательным практически по всем пунктам... Неумная, неумелая и просто преступная политика первого царя Руси прервала мощный подъем страны, начавшийся в середине предыдущего, пятнадцатого, века... В результате правления Грозного рухнуло все. И, в первую очередь, развалился русский военный аппарат, что в итоге привело не только к дорого стоившим Руси ливонским потерям, но к национальной катастрофе в годы Смуты» (Володихин 2010: 314, 317).

Казалось бы, такая концепция вполне соответствует позиции Б. Н. Флоры³ и не расходится с тем, что писали о Грозном такие известные ученые, как Р. Г. Скрынников и В. Б. Кобрин. Однако, и на это указывает сам Володихин, расхождения есть — и весьма существенные (см. ниже). Да и некоторые свои собственные суждения из книги 2010 г. он в 2018 г. назовет «необдуманными» и признает ошибкой (с. 303).

Заметим, что в своих книгах Д. М. Володихин стремится соединить научно-исторический ана-

² «Историческая экспертиза» публиковала ряд материалов о страстях, разгоревшихся в последние годы в России вокруг фигуры Грозного: (Шокарев 2017а; 2017б; 2018; Иерусалимский 2018).

³ В своей книге о митрополите Филиппе, изданной в серии «ЖЗЛ» в 2009 г., Д. М. Володихин назвал Б. Н. Флорю «превосходным современным специалистом по истории Московского царства» (Володихин 2009: 191).

лиз деятельности Ивана Грозного с нравственной оценкой его деятельности с точки зрения православного христианина. По словам Г. Елисеева, «Д. М. Володихин — осторожный автор и верный сын церкви» (Володихин 2010: 315). Тем важнее, как мы полагаем, сравнить его концепции в работе 2018 г. с тем, что он писал ранее, а также с мнениями других современных исследователей эпохи Ивана Грозного.

«В наши дни, — пишет автор, — широко разлившаяся любовь к государю Ивану Васильевичу есть отчасти ответ на либеральное к нему презрение в 1990-х, отчасти — ответ естественного народного желания по-опричному посадить на кол всех “псов Запада” и коррупционеров, каковые видны в правительственных сферах (да и ниже, до уровня простых чиновников), отчасти же — нота в большой хвалебной песне о Сталине, звучащей ныне на каждом углу. Сталин Грозного любил, Сталин, как и Грозный, также много казнил, так восславим же царя за его сходство со Сталиным! — вот лейтмотив очень многих выступлений в публичной сфере» (с. 316). Упоминает он и о «лютой полемике, связанной с установкой в Орле памятника Ивану Грозному осенью 2016 года», в результате чего урон понесли «русская культура и русская историческая память» (с. 330)⁴.

По мнению Д. М. Володихина, в современной России место истинных знаний о Грозном и его времени

в массовом историческом сознании занято мифами. Сначала, в 90-е гг., сложился негативный «либеральный миф», когда «Ивана Грозного принято было ругать, и, поддавшись всеобщему настроению, нещадно “судили” царя даже столь значительные ученые, как В. Б. Кобрин и Р. Г. Скрынников». Затем, в «нулевые, и особенно 2010-е годы», в общественном мнении России произошел «явственный поворот к государственничеству и патриотизму». И тут на смену «либеральному», «западническому» мифу пришел «новый миф», который Володихин назвал «ультраохранительным» и отметил его сходство с «красным мифом», порожденным еще «советским идеологическим аппаратом» (с. 320, 321–322, 329).

В своей книге Д. М. Володихин подробно и убедительно критикует «ультраохранительный миф». Сторонники этого мифа, отмечает он, утверждают, что иностранцы, писавшие о России, «намеренно обогали Ивана Грозного». Так заявляют и «яростные исторические публицисты», и даже некоторые «серьезные специалисты-историки» (с. 279). Например, в статье петербургского историка А. И. Филошкина (как подчеркивает Володихин, «исследователя с именем», доктора исторических наук) утверждается, что «в русских источниках нельзя было найти массовых свидетельств гнусных деяний царя Ивана, описаний его злодейств, убийств, изощренных надругательств...». Как пишет Филошкин, «великий историограф» Н. М. Карамзин изобразил царя «тираном всея Руси» по данным «иностранных источников, отнюдь не объективных, и часто

⁴ Заметим, что монумент в Орле — это первый в России памятник Ивану Грозному. В Российской империи и СССР ему памятников не ставили.

основанных на пересказе слухов и легенд». Так был создан «образ гнусного, жестокого тирана и распутника» (с. 322, 323, 324).

Заметим, что нечто подобное писали и такие современные историки, как А. Боханов и И. Фроянов, а также целый хор «яростных исторических публицистов» (вроде В. Манягина, который, по выражению Д. М. Володихина, «рассуждает с железной уверенностью дилетанта» (с. 268)). Схема рассуждений этих авторов проста: иноземцы оклеветали царя Ивана, Н. М. Карамзин поверил их клевете, а поколения российских историков (за исключением короткого периода при Сталине) повторяют мнение Карамзина.

Д. М. Володихин показывает, что эти утверждения несостоятельны и лишь порочат российскую историческую науку и ее основоположника — Н. М. Карамзина. «Карамзин писал то, что читал в источниках — как российских, так и зарубежных», — подчеркивает он. Со времен создания трудов Карамзина «минуло уже два столетия... Наука не стоит на месте, и сегодня историк грозненского правления имеет значительно больше источников под рукой...». Но время отнюдь не перечеркнуло научной и художественной ценности биографии Ивана IV, созданной Карамзиным. «Как бы русские источники не давали тех самых ужасающих картин, которые Карамзин брал у иностранцев, и не подтверждали в целом ряде случаев крайне неприятные для национального самосознания известия иноземного происхождения — другой разговор» (с. 324, 326).

Читатель может убедиться: в книге Д. М. Володихина подробно и убедительно перечислены именно «русские источники», в том числе неизвестные во времена Карамзина. Что касается иностранных источников (также обильно цитируемых), то, как верно пишет автор, «тут все зависит от осведомленности и ангажированности иноземца». К примеру, «в приведенном А. И. Филюшкиным списке стоящие рядом Поссевино и Одерборн расходятся по информационной ценности и достоверности примерно так же, как отчет разведчика и кухонный анекдот» (с. 323). Д. М. Володихин справедливо подчеркивает, что ожидать от любого исторического источника стопроцентной объективности «в принципе невозможно» (с. 323).

Таким вполне научным подходом автор руководствуется, когда критикует «ультраохранительный миф». Суть его он кратко излагает так: «Великий государь был дальновидным стратегом и радетелем за землю русскую. Он много казнил, но так и следовало поступать, поскольку пришлось каленым железом выжигать измену». Царь «всегда и неизменно» защищал «устой истинного православия; это был талантливый полководец, всегда и неизменно приводивший русское воинство к победе» (с. 329–330).

Но, как справедливо отмечает Д. М. Володихин, царь, хотя и участвовал в ряде походов, но полководцем не был. «Реальными командующими были “большие воеводы”, т. е. та же служилая аристократия... В походе на Казань 1552 года (да

и в предыдущих двух с участием монарха) воеводы, очевидно, могли обойтись без молодого царя, не сведущего в тактике крупных соединений» (с. 70, 71). Участие молодого царя в походе 1552 г. было, по мнению автора, «мерой необязательной и рискованной» (с. 70, 71). Война, закончившаяся присоединением Казанского ханства к России (и позволившая четыре года спустя, в 1556 г., «относительно мирно» присоединить и Астраханское ханство и установить полный контроль над Волгой), описана в книге подробно и ярко (с. 68–85). Ее истинными героями и полководцами являются воеводы князя А. Горбатый-Шуйский и М. Воротынский и боярин А. Басманов-Плещеев, а также «выдающийся военный инженер Иван Выродков». Все они погибли по воле Грозного в годы опричного террора.

Каким «стратегом и полководцем» был царь Иван, на самом деле хорошо показала развязанная им в 1558 г. Ливонская война. Грозный надеялся быстро сокрушить Ливонский орден — к тому времени небольшое и слабое государство — и овладеть его землями в Прибалтике. Но вопреки его планам и расчетам, война превратилась в многолетнее вооруженное противостояние с западными соседями: Польско-Литовским государством и Швецией, отягощенное боями на южном направлении с Крымским ханством и Османской империей. В итоге длившаяся 25 лет (1558–1583 гг.) война была проиграна, все завоевания на западе утрачены, а на смену процветанию, которое с изумлением и завистью описывали иностранные путешественники в 50-

х гг. XVI в., пришли разорение и опустошение страны. Д. М. Володихин подробно описывает и эту войну, ее плачевные итоги, и справедливо отмечает: «Тяжелые поражения в Ливонской войне явились в значительной степени результатом дипломатических неудач, а не только военных... Как довел государь великую страну до состояния, когда ему не с кем оказалось выйти против неприятеля? Какой дипломатией? Какими ратными подвигами? Почему не сумел вовремя остановиться, ведя страшную борьбу за ливонские земли?» — восклицает автор и цитирует «горькие и правдивые» слова псковского летописца: «Сей царь и великий князь Иван, по Божьей милости... взят Казанское царство и Астраханское, и вознесся гордостью, и начат брататься и дружбу иметь з дальними цари и короли... а з ближними землями заратися и начат воевати, и в тех ратех и воинах ходя, свою землю запустошил» (с. 225, 241).

О Ливонской войне написано достаточно много. Но, пожалуй, только из книги Д. М. Володихина читатель может получить самое яркое и полное представление о страшной трагедии, случившейся в ходе этой войны, — сожжении Москвы войсками крымского хана Девлет-Гирея в мае 1571 г. Огромный деревянный город не имел тогда каменных укреплений (только центральная часть — Кремль и Китай-город — была укреплена кирпичными стенами). Иван IV не сумел ни вовремя укрепить столицу, ни преградить путь татарской армии. Русские войска, разделенные на опричные и земские, были рассредоточены по разным местам

и не имели единого командования. Царь со своими опричниками (о них мы поговорим дальше) отступил без боя и укрылся в Ростове. «Невозможно без ужаса и печали читать источники, повествующие о гибели великого города в огне», — пишет Д. М. Володихин. И далее он цитирует эти источники — и русские, и иностранные, приводит свидетельства очевидцев и современников трагедии (с. 191–193).

Москва выгорела за три часа, стены Кремля и Китай-города были частично разрушены от взрывов пороховых погребов, «колокола, висевшие на колокольне посреди Кремля, упали на землю». Погибли десятки тысяч людей: сгорели заживо, задохнулись в дыму, были затоптаны насмерть. Среди них был и командующий земскими войсками князь И. Д. Бельский, который задохнулся в погребе в своем дворе. «Ничего подобного, — отмечает Д. М. Володихин, — не случалось со времен... Тохтамышевой рати 1382 года» (с. 194). Заметим, что такого не было и после. Занявший Кремль в 1610 г. польский гарнизон так и не смог оттуда выбраться и сдался ополчению Минина и Пожарского. В 1812 г., во время нашествия Наполеона, большинство населения покинуло город, и от знаменитого пожара в большей мере пострадали французы. А в 1571 г. крымское войско покинуло страну с огромной добычей и многочисленными пленниками, позже проданными в рабство (на обратном пути Девлет-Гирей разорил Рязанскую землю).

К рассказу Д. М. Володихина стоит добавить две фразы из упомянутого

выше труда Б. Н. Флори. Рассказывая о гибели в московском пожаре «почти всего населения столицы» (подчеркнуто нами. — Авт.), он сообщает: «Почти два месяца, до 20 июня, продолжалась очистка улиц и захоронение умерших жителей Москвы. Город пришлось практически заселять заново, принудительно переселяя в него купцов и ремесленников из городов по всей территории России» (Флоря 2009: 294).

Между тем трагедии 1571 г. можно было избежать — сил для этого было вполне достаточно. Когда в следующем, 1572 г. Девлет-Гирей вновь двинулся на Москву, желая окончательно сокрушить Российское царство, навстречу ему вышло объединенное земско-опричное войско под началом князя Михаила Воротынского, который отличился еще под Казанью в 1552 г. 30 июня 1572 г. в битве при Молодях «армия, собранная во едино... одержала спасительную для России победу» (с. 205). Но что мешало одержать ее раньше? Вот что пишет об этом сам Д. М. Володихин: «За московский разгром 1571 года ответственен прежде всего сам царь. Людей не хватало для обороны? А где они, эти люди? Страна еще не запустела, и есть откуда брать людей. В Ливонии главные полки? Почему они оказались в Ливонии, если вот уже несколько лет над столицей России нависает угроза с юга? Почему она вообще идет, эта война за чужие земли, если положение собственной столицы небезопасно?.. За тактические просчеты отвечают военачальники, но за стратегическое поражение, столь страшное, столь унижительное, —

только сам государь» (подчеркнуто нами. — *Авт.*) (с. 193).

Заметим, что и в школьных, и в вузовских учебниках по истории об указанных событиях говорится вскользь, о трагедии 1571 г. — буквально одна-две фразы. А ведь без знания об этом нельзя в полной мере дать отпор тем, кто пытается создать вокруг Ивана IV ореол «дальновидного стратега» и «талантливоего полководца».

Д. М. Володихин обстоятельно пишет о внутренней и внешней политике Ивана Грозного. Невозможно понять и оценить ее без анализа характера царя, его мировоззрения и формирования его как личности. Рассказывая об этом, автор как бы «ведет войну на два фронта»: критикуя «ультраохранительный миф», он одновременно пытается развенчать и «либеральный миф» о Грозном, сложившийся, как он пишет, в конце 1980-х — 1990-х. Мы уже упоминали, что, по мнению Д. М. Володихина, под воздействием этого мифа оказались «даже столь значительные ученые, как В. Б. Кобрин и Р. Г. Скрынников» (с. 320).

В кратком изложении Д. М. Володихина «либеральный миф» выглядит так: на русский трон взошел «безумный, или как минимум полубезумный, маньяк, кровавый злодей, личность деспотическая». Он «губил и калечил любые ростки свободы или вольномыслия, уничтожал даже самые ничтожные демократически всходы в русском обществе своего времени, он погубил всякую правду в русской церкви, которая при нем холопски согнула спину перед тро-

ном; он провел между Россией и Западом глубокую борозду, до крайности затруднившую плодотворный диалог с Европой... В его лице русская государственная тирания получила самое полное олицетворение» (с. 329).

Бросается в глаза публицистический, почти карикатурный стиль изложения взглядов оппонентов. Важно понять, что в нем отражает исторические реалии и в чем конкретно Д. М. Володихин в своей книге расходится с тем, что писали Р. Г. Скрынников, В. Б. Кобрин, Б. Н. Флоря (а также и он сам в более ранней работе!).

Книга Д. М. Володихина о Грозном не случайно имеет подзаголовок «царь-сирота». Автор создает образ мальчика, ставшего в восемь лет круглым сиротой, «пешкой в большой игре между мощными кланами аристократов» (с. 38). Им помыкали, почтения не оказывали, даже кормить вовремя забывали. Опекуну и наставники занимались другим — сводили личные счеты и расхищали государеву казну. «Через много лет, — сообщает Д. М. Володихин, — царь ярко и горько опишет ощущения собственного детства», — и затем идет длинная цитата из письма Ивана князю Курбскому с соответствующими воспоминаниями (с. 34).

Все это, по мнению автора, дает психологический ключ к пониманию действий Ивана, когда он уже стал полновластным правителем. «Важно понимать: натерпевшись с детства безвластия и неуважения, государь российский ничего не за-

был и не простил» (с. 35). Уязвленное самолюбие, тщеславное стремление показать всем (особенно иностранным монархам!) свое величие и превосходство, мстительность и жестокость — все это, по мнению автора, отзвуки детства «угнетенного сироты». Резко критически описав «кровавую кашу массовых репрессий» во время опричного террора, Д. М. Володихин риторически вопрошает: «Что он сам, лично, получает от этого? Богатства?.. Избавление от врагов — очевидных и неявных? Ощущение восстановленной справедливости?.. Может быть. Всего понемногу.. Но прежде всего то, чего был лишен с восьмилетнего возраста: чувство защищенности и всей полноты внимания со стороны окружающих... Сироту слушали с неослабным напряжением сил... Голос сироты звучал на всю Европу... Даже если внимание, направленное к сироте, дышало злобой, досадой, болью, все равно лучше так, чем никакого внимания» (с. 172–173).

Написано выразительно! Но насколько достоверны эти рассуждения, основанные на словах царя о своем детстве? В книге, вышедшей в 1975 г. (задолго до возникновения критикуемых Д. М. Володихиным «мифов»), Р. Г. Скрынников писал, что сетования Грозного на непочтительное отношение и т. д. «производят странное впечатление. Кажется, что Иван пишет с чужих слов, а не на основании ярких воспоминаний детства... В отроческие годы попустительство наносило воспитанию Ивана больший ущерб, чем мнимая грубость бояр» (Скрынников 1975: 18, 19). Р. Г. Скрынников пишет

о детстве Ивана на основании ряда источников, известных Д. М. Володихину, но почему-то не отраженных в его книге. Он, правда, отмечает, что «от тех лет сохранились известия о молодом незамысловатом хулиганстве великого князя (титул Ивана до венчания на царство в 1547 г. — *Авт.*), о его странных играх и жестоких забавах» (с. 41). Но что это были за «игры и забавы» — автор умалчивает. Прочитируем Р. Г. Скрынникова: «Окружающих поражали буйство и неистовый нрав Ивана. Лет в 12 он забирался на островерхие терема и спихивал “с стремнин высоких” кошек и собак, “тварь бессловесную”. В 14 лет он “начал человеков ураняти”. Кровавые забавы тешили “великого государя”. Мальчишка отчаянно безобразничал. С ватагой сверстников, детьми знатнейших бояр, он разъезжал по улицам и площадям города, топтал конями народ, бил и грабил простонародье, “скачаще и бегающе всюду неблагочинно» (Скрынников 1975: 20). Не «угнетенный сирота», а малолетний садист и хулиган — таким был Иван в подростковом возрасте, судя по фактам, собранным Р. Г. Скрынниковым, о которых Д. М. Володихин предпочел умолчать. Хотя он вынужден признать, что даже после женитьбы и венчания на царство в 1547 г. характер Ивана не сразу изменился. Государственным делам он предпочитал развлечения, а людей, пытавшихся подать ему жалобы — «челобитные грамоты», не раз разгонял «со срамом и бесчестьем» (как это случилось с псковской делегацией в 1547 г.) (с. 43, 47–48). Б. Н. Флоря пишет об этом эпизоде подробнее, цитируя источник: «Великий го-

сударь опалился на псковичь, сих безчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды да свечео зажигал, и повеле их покласти нагих на землю». «Лишь поспешный отъезд Ивана IV в Москву спас жалобщиков от еще более сурового наказания», — отмечает Б. Н. Флоря (*Флоря* 2009: 23). Государством же в тот момент реально управляли родственники Ивана по матери — князья Глинские. И, как отмечает Д. М. Володихин, лишь «страшный московский бунт 1547 года» изменил ситуацию — начался период так называемой Избранной рады, ознаменованный рядом реформ (с. 48–50).

Таким образом, мы видим, что в описании детства и юности Ивана Грозного Д. М. Володихин частично смыкается со сторонниками «ультраохранительного мифа», пытаясь затушевать или замолчать факты, не красящие его героя, а всю вину за проблемы тех лет свалить на бояр: «Не чувствуя над собой тяжелой государевой руки, аристократы не лучшим образом противостояли внешнему врагу и усвоили крайне пренебрежительное отношение к церкви» (с. 36–37). При этом автор «забывает», что малоудачную войну 1534–1537 гг. с Польско-Литовским государством Великое княжество Московское вело во время регентства матери Грозного — Елены Глинской, рука у которой была вполне тяжелая — достаточно вспомнить заморенных ею в тюрьме родного дядю и двоих дядей самого Ивана Грозного — князей Юрия Дмитровского и Андрея Старицкого, пытавшихся получить свою долю власти при малолетнем Иване.

Но взглянем на более поздний период. В конце 1540-х царь берет реальную власть, а после «государственного переворота» января 1565 г.⁵ эта власть становится практически неограниченной, и аристократия (да и вся страна) почувствовала над собой «тяжелую государеву руку». И к чему это привело? О Ливонской войне и ее последствиях мы уж говорили. Как отмечает Б. Н. Флоря, «по трагической иронии судьбы правитель, всю жизнь доказывавший, что только сильная неограниченная власть может защитить страну от внешней опасности, теперь столкнулся с тем, что страна оказалась неспособной к борьбе с противником после его долгого самодержавного правления» (подчеркнуто нами. — Авт.) (*Флоря* 2009: 396).

Сравним два события, которые описаны в книге Д. М. Володихина. В период «боярского правления», когда аристократы якобы «своевольничали» и «не лучшим образом противостояли врагу», в 1541 г., крымский хан Сахиб-Гирей вышел со всей ордой к Оке напротив Ростиславля, но был разбит и в панике бежал. «Столица, да и вся Русь праздновали большую победу. Воевод, побывавших в деле, от имени государя-отрока щедро одарили шубами и драгоценными кубками» (с. 90, 94). Пройдет 30 лет, и в апогее самодержавной власти Грозного, во время опричнины, город будет сожжен, а его население — перебито или угнано в рабство.

⁵ «Государственным переворотом» Р. Г. Скрынников назвал указ 1565 г. об учреждении опричнины (*Скрынников* 1997: 306).

Отдельно стоит сказать о «крайне пренебрежительном отношении к церкви». Известно, какую огромную роль играла церковь в общественно-политической жизни России (да и всей Европы) того времени. «Кровавая грызня за власть» между аристократическими кланами в годы малолетства Грозного не оставила в стороне и лидеров православной церкви — митрополитов Московских. Сначала, в 1539 г., был низложен митрополит Даниил, а в 1542 г. Шуйские свергли митрополита Иоасафа, вступившегося за князя И. Ф. Бельского (с. 33, 37).

Но никого из них не убили, не тронули и лиц из их окружения. А с 1542 г. до своей кончины 31 декабря 1563 г. пост митрополита занимал Макарий, венчавший в 1547 г. 16-летнего Ивана на царство и благотворно влиявший на него до конца жизни. «Не один боярин получил помилование благодаря “печалованию” Макария», — отмечает Р. Г. Скрынников. Но вскоре после его кончины и церковь, и страна оказались в весьма трудном положении — наступило «время насилия и террора» (Скрынников 1991: 267).

Д. М. Володихин разделяет это мнение Р. Г. Скрынникова. Он рассказывает о трагической судьбе Филиппа Колычева, игумена Соловецкого монастыря, ставшего митрополитом Московским в июле 1566 г. по личному предложению Грозного. В 1568 г. Филипп мужественно выступил против царского произвола и творимых опричниками зверств в Успенском соборе Кремля, публично осудив действия царя Ивана и его приспешников.

После этого «архиерейские одежды были насильно сорваны с него прямо в храме во время богослужения и заменены на рваную рясу. Над владыкой открыто глумились». Затем Филипп был отправлен в заточение в тверской Отроч монастырь, где его в декабре 1569 г. задушил опричник Малюта Скуратов, удостоенный за этот (и ряд подобных же «подвигов») высокого звания «дворового воеводы» (с. 163–164).

В своей книге «Митрополит Филипп», вышедшей в серии «ЖЗЛ» в 2009 г., Д. М. Володихин дал детальный анализ этих трагических событий и камня на камне не оставил от измышлений сторонников «ультраохранительного мифа» о том, что ни царь, ни Малюта Скуратов будто бы не причастны к гибели митрополита. Д. М. Володихин отмечал в книге, что церковь пережила от царя немало унижений — убивали архиереев, грабили монастыри и церкви, церковных иерархов заставляли совершать действия, противоречащие церковным канонам. «Русская церковь понесла тяжелые потери. Духовный авторитет ее, высоко вознесенный митрополитом Макарием, упал. Но все-таки люди помнили, что среди архиереев есть пастыри, готовые на смерть ради истины» (Володихин 2009: 241). В XVII в., при царе Алексее Михайловиче, митрополит Филипп был канонизирован.

«Не так давно в околоцерковной среде появилось движение за канонизацию Ивана Грозного», — пишет Д. М. Володихин. «Но в отношении Ивана IV церковная иерархия стоит прочно и непримиримо: этот

человек не должен быть канонизирован» (подчеркнуто Володихиным. — *Авт.*). Он цитирует отрывок из речи патриарха Московского и всея Руси Алексия II: «Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых?» (с. 328).

Эти слова Д. М. Володихин цитировал и в своих предыдущих работах об Иване Грозном. Они актуальны, потому что не прекращаются попытки представить Ивана IV защитником «устоев истинного православия». А ведь по сравнению с тем, что совершил он, «пренебрежительное отношение к церкви» со стороны бояр, о котором пишет Володихин, выглядит сущей мелочью. Как он объясняет такой ход событий?

В 1547 г. Иван, проводивший время в «странных играх и жестоких забавах», впервые увидел перед собою разъяренный народ. Его дядю Юрия Глинского выволокли из Успенского собора в Кремле прямо во время богослужения и тут же убили. Едва не расправились и с бабушкой царя — Анной Глинской, которую молва считала колдуньей. Да и ему самому грозила смертельная опасность. Как отмечает Д. М. Володихин, «впоследствии царь станет с ужасом вспоминать события 1547 г.: «вниде страх в душу мою и трепет в кости моя, и смирися дух мой, и умилися и познах свои согрешения». Иван Васильевич получил представление о том, как страшно может быть народная стихия» (с. 49–50). Следующие почти полто-

ра десятка лет царь прислушивался к мнению людей, ставших после 1547 г. его советниками: священника Сильвестра, окольничего Алексея Адашева, а также митрополита Макария. И Сильвестр, и Адашев были людьми незнатными, без воли царя они не могли бы править. Они и стали во главе Избранной рады (так, с легкой руки князя А. Курбского, бывшего друга царя, бежавшего в 1564 г. от опалы, стали называть группу лиц, стоявших у кормила власти в те годы и проводивших ряд реформ). Именно в этот период появляется постоянное стрелецкое войско, создаются выборные органы местного самоуправления и центральные ведомства — «приказы». Тогда же был введен новый, улучшенный свод законов — «Судебник» 1550 г. Д. М. Володихин высоко оценивает реформы Избранной рады. «Была проведена поистине великая по объему работа, и ее выполнили в необычайно короткий срок. Все-го-то за десять лет!.. Государственный строй державы обрел черты устойчивости и здоровой унификации... Из описания иностранцев (подчеркнуто нами. — *Авт.*) очень хорошо видно: Московское государство — процветающая держава. Иван IV, православный государь этой державы, находится в зените славы» (с. 61, 66).

Но сам-то «православный государь» отнюдь не был удовлетворен плодами реформ. Впоследствии он напишет о членах рады в письме Курбскому: «Всю власть вершили по своей воле, не спрашивая Нас ни о чем, словно Нас и не существовало... Поп Сильвестр сдружился с Алексеем, и начали они советоваться

тайком от Нас, считая Нас неразумными: и так вместо духовных стали обсуждать мирские дела, мало-помалу стали подчинять вас, бояр, своей воле, из-под нашей же власти выводя» (с. 51). Недоволен был царь и тем, что Боярская дума, хотя и была лишь совещательным органом при царе, порою смела «свое суждение иметь». Митрополит (до 1563 г. — Макарий) своими «печалованиями» мешал карать опальных так, как хотел царь. Не нравился ему и «Судебник», предусматривающий, что для введения новых законов нужны не только воля государя, но и ««приговор» всех бояр, т.е. единогласное решение всей Боярской думы. «Эта норма очень сильно ограничивала власть царя Ивана... Однако всего через несколько лет Иван IV избавился от стеснительного запрета», — пишет Д. М. Володихин (с. 60).

В своей первой книге об Иване Грозном, вышедшей в 2010 г., Д. М. Володихин упомянул о «нетвердой нравственности» царя и о его «странной религиозности, сильной лишь своей внешней стороной». Царь, разумеется, был верующим православным христианином, он боялся Божьего гнева, который, как объяснял ему Сильвестр, так наглядно проявился в 1547 г.⁶ Но «при всей твердости вероисповедной позиции» царь «с первой половины 60-х годов XVI в. стремится как можно меньше стеснять себя. Заповеди Христовы

⁶ Об этом еще более подробно пишет Б. Н. Флоря (Флоря 2009: 28–30). «Молодой царь не мог не признать справедливости слов священника. Бог “взыскал” с монарха, не выполнявшего своих обязанностей», — отмечает он (Там же: 29).

и христианская нравственность слабо связывали его страстную натуру...» (Володихин 2010: 172, 222). И вот настал 1565 год...

И в книге 2010, и в работе 2018 г. Д. М. Володихин осуждает опричный переворот и резко критикует развязанный в 1567 г. массовый опричный террор. И внешнюю, и особенно внутреннюю политику Ивана Грозного в годы опричнины (1565–1572) он безоговорочно признает ошибочной и вредной для государства, отмечая, что «размах казней превзошел все мыслимые границы государственной карательной практики. Убийства аристократов сопровождалась ликвидацией их родни и слуг, издевательствами над женщинами, грабежом, ничем не оправданным насилием, злоупотреблениями опричных администраторов, несправедливым судом. Христианские заповеди были забыты, милосердие пало, низменные страсти руководили государственными людьми в их деятельности» (с. 162–163). Именно в этих условиях и выступил митрополит Филипп, за что и заплатил жизнью. Уже после его гибели, в январе 1570 г., царь со своим опричным войском совершит «кровавый поход» против Новгорода, самого крупного после Москвы города в стране. Новгород был разграблен (не пощадили и церкви), погибли тысячи людей. Даже новгородский архиепископ Пимен, бывший верным клеветником царя, был схвачен, обвинен в измене, подвергнут издевательствам и через год умер в темнице. Д. М. Володихин подробно описывает в своей книге зверские расправы над новгородцами, подводя скорбный

итог: «Главный защитник православия принимается сдирать колокола со звонниц. Главный защитник страны грабит собственные города» (с. 172). Пишет он и о меньшем по объему погроме в Пскове, и об общем количестве жертв опричного террора. Д. М. Володихин приводит научно выверенные данные, опираясь на источники того времени. Прежде всего, это составленный в конце царствования Ивана IV «Синодик опальных». Как отмечает сам автор книги, «документированный минимум (подчеркнуто Володихиным. — *Авт.*) жертв государственных репрессий грозненской эпохи» — 4000–5000 человек. Для того времени, подчеркивает Д. М. Володихин, — «нечто невероятное, непредставимое. Царь устроил настоящую революцию в русской политике, повелев уничтожать людей в таких количествах» (с. 178). Он отмечает, что «каленное железо террора» коснулось не только и не столько «заговорщиков», «предателей» и «изменников» (действительных или мнимых), но и заведомо невинных людей. «Казнили-то еще и священников, монахов, крестьян в далеких северных деревнях, женщин, детей — эти-то и слыхом не слыхивали о господских пакостных затеях, если таковые существовали! Так зачем их убили?» (с. 178).

Своей книгой (и предшествующими работами о Грозном и его времени) Д. М. Володихин, безусловно, опровергает «ультраохранительный миф» об Иване IV как «дальновидном стратеге», «талантливом полководце», «защитнике истинного православия» и т. д. По сути дела, он соглашается с Р. Г. Скрынниковым,

писавшим еще в 1975 г.: «Опричный террор ослабил влияние боярской аристократии, но он также нанес большой ущерб дворянству, церкви, высшей приказной бюрократии, то есть тем социальным силам, которые служили наиболее прочной опорой монархии. С политической точки зрения террор против этих слоев и группировок был полной бессмыслицей» (Скрынников 1975: 191). Но соглашается с Р. Г. Скрынниковым Д. М. Володихин отнюдь не во всем. И, прежде всего, в вопросе о целях опричной политики Грозного и причинах того, почему она обернулась «кровавой неразберихой». Р. Г. Скрынников сформулировал цели опричной политики четко и ясно: Иван Грозный стремился быть властителем с неограниченной властью, но до опричного переворота в январе 1565 г. он им не был. Реформы Избранной рады его таковым не сделали. В 1560 г. Иван IV избавился от своих бывших советников — Сильвестра и А. Адашева, в 1563 г. не стало митрополита Макария, но желанная власть все не шла царю в руки. Как отмечал исследователь, хотя формально самодержавие было официальной доктриной, реально монарх управлял страной совместно с Боярской думой и князьями церкви. «Образование опричницы знаменовало собой своего рода верхушечный переворот, имевший целью утвердить принципы неограниченного правления...» (подчеркнуто нами. — *Авт.*) (Скрынников 1975: 192). Так же объясняет цели опричнины и Б. Н. Флоря, который в своей книге о Грозном отмечает, что, согласно тогдашним представлениям о власти православного

государя, она должна была быть «абсолютной и всеобъемлющей, при которой не было места каким-либо договорным отношениям между царем и подданными» (подчеркнуто нами. — *Авт.*)... Царь готов был прибегнуть к любым мерам, чтобы этого (договорных отношений. — *Авт.*) не допустить» (*Флоря* 2009: 104, 126).

Само установление опричнины Д. М. Володихин описывает традиционно — в конце 1564 г. царь с семьей покинул Москву, сообщив боярам и митрополиту, что отрекается от престола, поскольку и духовные, и светские вельможи его ненавидят, воеводы «против латын и немец постояти не захотели», вельможи занимаются казнокрадством и хотят «передать русское государство чужеземному господству». А вот простым москвичам царь сообщил, что на них у него «гневу... и опалы некоторые нет» (с. 140, 142). «Это была откровенная угроза Церкви и служилой аристократии направить на них ярость посада, повторив ужасы памятного мятежа 1547 г.», — отмечает автор (с. 142).

В итоге царь добился своего — страна была разделена на «земщину» и «опричнину» со своими Боярскими думами, приказами и армиями. Именно в последнем Д. М. Володихин и видит цель опричной политики Ивана Грозного. «Речь шла о создании особой армии — наилучшим образом укомплектованной, вооруженной, легко управляемой, с командными кадрами, всецело преданными царю» (с. 153). Эта армия «должна была стать безотказным инструментом военных побед»,

обеспечить перелом в Ливонской войне, но можно было и «просто защититься ею от “внутреннего врага” (если понадобится)», — пишет Д. М. Володихин. Таким образом, он утверждает, что опричнина представляла собою «военно-административную реформу, притом реформу необходимую, верную в идее, но непродуманную и неудавшуюся... Борьба с “изменами”, как иллюзорными, так и реальными, была изначально второстепенным ее направлением» (с. 150).

Эта концепция не нова — ее, в частности, развивал историк Р. Ю. Виппер, которого с почтением вспоминает Д. М. Володихин и чьи работы о Грозном высоко ценил Сталин.

Однако она легко опровергается фактами, в том числе и теми, которые приводит в своей книге сам Д. М. Володихин. «Опричное войско годилось для охранных целей и было незаменимым инструментом репрессий». Но в войнах с Крымом, Швецией и Речью Посполитой оно оказалось слабым подспорьем», — пишет он почти сорока страницами далее (подчеркнуто нами. — *Авт.*) (с. 187) и также отмечает, что «опричнина... оказывается бессильной и небоеспособной на полях сражений в Ливонии» (с. 188). По-иному быть и не могло. Во-первых, опричников было просто мало. Если в «земском» войске в те годы служили до 30 000 дворян, то общая численность опричного войска не превышала 7000–8000 человек (*Скрынников* 1996: 346; *Назаров* 2014: 264). Во-вторых, как признает сам Д. М. Володихин, даже когда опричники участвовали в бою, их

действия было очень трудно координировать с «земскими» из-за отдельного командования (с. 189).

Но царя до поры до времени это не смущало, поскольку он изначально создавал опричнину для борьбы с «внутренним» врагом. Для карательного похода на Новгород (царь поверил в мифический «заговор» новгородцев, якобы решивших «королю польскому поддаться»⁷) опричников хватало — ведь в городе не ожидали нападения со стороны «своих», которые оказались хуже внешнего врага.

Д. М. Володихин не пишет и о том, что немалая часть опричного войска все время находилась вдали от района боевых действий — в Вологде, где ускоренными темпами строилась «опричная столица». Напомним: в это самое время нависла угроза вторжения Крымской Орды, но царь не подумал об укреплении Москвы. Чем это кончилось в 1571 г. — мы уже знаем. Р. Г. Скрынников, рассказывая о строительстве в Вологде, резюмирует: «Наборы дворян в опричную армию..., сооружение грандиозной крепости в лесном вологодском крае в значительном удалении от границ, и прочие военные приготовления не имели цели укрепления обороны страны от внешних врагов (подчеркнуто нами. — Авт.). Все дело заключалось

⁷ Этот мифический «заговор» подробно рассмотрен Р. Г. Скрынниковым и Б. Н. Флорей (*Скрынников* 1975: 153–157, *Флора* 2009: 256–258). Интересно, что у Д. М. Володихина вообще ничего не сказано о том, что «заговор» был сфабрикован, а лишь глухо говорится о том, что Новгород «мог стать (!) очагом наиболее активного сопротивления политике царя» (с. 187).

в том, что царь и опричники боялись внутренней смуты» (*Скрынников* 1975: 122).

Д. М. Володихин предпочитает не полемизировать с Р. Г. Скрынниковым, а замалчивать факты, опровергающие его утверждение о том, что опричное войско создавалось прежде всего для борьбы с внешним врагом.

Зато он пишет о том, что опричная политика царя как раз и создала угрозу «внутренней смуты», когда во время «перебора людишек» у неугодных чем-то дворян, бояр, князей насильственно отбирали прежние поместья и вотчины и переселяли их в «земщину». «Земельная политика опричнины разорила многих служилых людей, сделала их бедняками, оторвала от родовых корней. По сравнению с прошлым житьем они воспринимали новое как сущее бедствие», — отмечает Д. М. Володихин, подчеркивая, что результатом подобной политики стали «злое брожение» в дворянской среде и просьбы к царю об отмене опричнины. Ответом же на это стал «долгий и страшный государственный террор», начавшийся в 1567 г. (с. 154–157). Как пишет известный современный историк В. Д. Назаров, опричнина «продемонстрировала функционирование самодержавной власти в облинии террористической деспотии» (*Назаров* 2014: 267). Но почему же опричный террор был таким кровавым?

Сам Д. М. Володихин объясняет это тем, что «страна стояла на пороге заговора и переворота», из-за чего сам царь испытывал «неотвязный

страх», который «вызвал не менее ужасный гнев. А гнев явился причиной неистовой жестокости» (с. 156, 161). Однако он тут же признает, что историки «не находят убедительных свидетельств существования реального заговора» (с. 161). Это относится и к «заговору» конюшого И. П. Федорова, и к «делу» двоюродного брата царя Владимира Старицкого, и к уже упомянутому «новгородскому делу», механизмы фальсификации которых подробно разбирали Р. Г. Скрынников и Б. Н. Флоря.

Как уже было сказано выше, в своей книге Д. М. Володихин не случайно упоминает о Сталине и отмечает сходство «красного мифа» о Грозном с «ультраохранительным» (с. 316, 329). Читая об опричном терроре, о борьбе царя с «заговорами», трудно не вспомнить о сталинском Большом терроре 1937–1938 гг.

Но, по мнению Д. М. Володихина, помимо неотвязного страха царя перед «заговорами» (по сути – мифическими), у опричного террора была еще одна причина. «Для русских того времени являлось естественным сопротивляться притеснению... Некоторые свидетельства источников позволяют предположить, что активное вооруженное сопротивление оказывалось», — пишет он, далее упоминая о неких боях во время похода опричников на Новгород в 1570 г., со ссылкой на воспоминания немца-опричника Генриха Штадена (с. 168). Но если мы вчитаемся в саму цитату Штадена, приведенную на той же странице, то увидим, что речь шла не о бое, а о стычке «земских» с шестью опричниками, занимавшимися гра-

бежом церквей и подворий. Как отмечает Р. Г. Скрынников, рассказывающий об этих событиях, «погромы и резня деморализовали опричную гвардию, превратили ее в банду мародеров... Царь и его приспешники не давали согласия на прямой разбой и душегубство (чем и занималась шестерка опричников. — *Авт.*). Но они создали опричные привилегии и подчинили им право и суд. Они санкционировали погромы в Новгородской земле. Следовательно, на них лежала главная вина за беззакония» (*Скрынников* 1996, Т. 2: 178, 345). Других ссылок на «вооруженное сопротивление опричному войску» как причину опричного террора Д. М. Володихин не приводит.

Зато у него имеется еще одно, самое любопытное объяснение того, почему этот террор стал таким жестоким и кровавым. Оказывается, «Западная Европа вознамерилась преподнести Европе Восточной урок: убивайте! Убивайте больше! Зачищайте так, чтобы никогда и ничто не зашевелилось на этом месте! Не стесняйтесь количеством жертв! Забудьте о заповеди “Не убий”! У нас, в России, этот урок оказался, по всей видимости, воспринят как руководство к действию. Русская политическая культура оказалась инфицированной. Вирус массовых казней вошел в нее, жил и действовал в ней с разной интенсивностью до совсем недавнего времени» (с. 181).

Читая эти строки, невольно вспоминаешь «яростных исторических публицистов», которых упоминал автор, критикуя

«ультраохранительный миф» о Грозном. Но Д. М. Володихин — ученый, и он пытается обосновать сказанное, заявляя, что политическая культура Западной Европы, де, «отличалась гораздо большей жестокостью, чем русская». «В XVI веке Европа пошла по пути религиозных войн, сильно обесценившему жизнь человеческую... Как видно, западная жестокость заразила и Россию. Пример Европы научил худшему, что можно придумать в государственной политике — массовым бессудным расправам» (с. 179, 333).

Православная Русь, действительно, не знала религиозных войн. Зато она знала жестокие и кровопролитные междоусобицы, неоднократно вспыхивавшие в XI–XV вв., и «заражаться» жестокостью у западноевропейцев особой нужды не было. Можно вспомнить знаменитое взятие Киева в 1169 г., задолго до татаро-монгольского нашествия, войсками далекого предшественника Грозного — владимирского князя Андрея Боголюбского. Вот что пишет об этом летописец: «И не было помилования никому и ниоткуда; церкви горели, христиан убивали, других вязали, женщин уводили в плен, насильно разлучая с мужьями, дети рыдали, глядя на матерей своих... Иконы и ризы, и книги, и колокола — все унесли смольняне, суздальцы, черниговцы; вся святыня была взята... И было в Киеве у всех людей стенание и туга, и скорбь неутешимая и слезы непрестанные» (*Воронин* 2007: 152).

Д. М. Володихин предпочитает не вспоминать об этом опыте.

Не приводит он и свидетельство таллинского пастора Балтазара Рюссова, современника событий января 1570 г. в Новгороде: «Немцы, бывшие в Москве в то время... сознавались, что если бы неприятель со стотысячным войском прибыл бы в Россию, воюя целый год, то немисливо, чтобы он нанес Московиту такие убытки, какие он нарочно наносил сам себе» (*Флоря* 2009: 283). Комментируя этот отрывок из хроники Рюссова, Б. Н. Флоря отмечает, что таллинские горожане не хотели, чтобы их город постигла судьба Новгорода, поэтому отчаянно защищались, и взять город войскам Ивана IV не удалось (Там же: 283, 284).

Д. М. Володихин тоже цитирует хронику Рюссова, рассказывая об осаде Таллина в 1570–1571 гг (с. 187–188). Но о том, как были потрясены европейцы, узнав о зверствах царя Ивана, не на ливонской, а на русской земле (!), он читателю не сообщает.

В 1563 г. (до опричного «переворота» оставался еще год) русские войска захватили Полоцк. Это была крупная победа Ивана IV в Ливонской войне, и царь лично возглавлял поход. Об этом событии Д. М. Володихин пишет подробно и восторженно и как бы мимоходом сообщает: «После сдачи Полоцка... пострадало католическое духовенство. Были также казнены несколько представителей иудейской общины, отказавшихся креститься» (подчеркнуто нами. — *Авт.*) (с. 125). Р. Г. Скрынников пишет об этом подробнее. «Монахам-бернардинцам (тому самому католическому духовенству — *Авт.*) рубилы головы...

Благочестивый царь, отслужив молебен... велел истребить всех полоцких евреев. Как передает летописец, «...князь велики велел их с семьями в воду речную въметати»... В Литве первоначально отказывались верить сообщениям о таком варварстве» (подчеркнуто нами. — Авт.) (Скрынников 1996, т. 1: 241).

В годы опричного террора царь подобным же образом расправлялся со своими собственными подданными. Одной из его жертв, сообщает Д. М. Володихин, стал «выдающийся военный инженер Иван Григорьевич Выродков» (с. 161). Как писал Р. Г. Скрынников, Выродков был казнен вместе со всем семейством и даже дальними родственниками вплоть до внучатой племянницы (Скрынников 1992: 331). Б. Н. Флоря отмечает, что после этих казней в Европе стали считать, что царь — «не только дикий варвар, но и жестокий тиран, которому нет места в христианском мире» (Флоря 2009: 403).

В своей книге Д. М. Володихин подверг критике известного исследователя эпохи Грозного В. Б. Кобрин, который отметил: «Садистские зверства этого монарха резко выделяются и на фоне действительно жестокого и мрачного XVI века» (Кобрин 1989: 159). В этой фразе Д. М. Володихин усмотрел «моду на негатив» в отношении отечественной истории, якобы характерную для «либерального течения общественной мысли... в конце 1980-х — 1990-х годах» (с. 320–321). Однако данная фраза — это не только личная оценка В. Б. Кобрин, но и констатация исторического

факта. «Люди этого времени были потрясены страшными злодеяниями царя Ивана. О его невероятной для современников жестокости единодушно свидетельствуют и русские, и иностранные источники» (Кобрин 1989: 160). Эти источники цитируют и Р. Г. Скрынников, и Б. Н. Флоря (некоторые цитаты уже приводились выше). Да и сам Д. М. Володихин в своей книге о митрополите Филиппе приводит «любопытное свидетельство» Адама Олеария, секретаря голштинского посольства, писавшего уже в XVII в. о том, что митрополит «жил в Москве при тиране Иване Васильевиче, и так как он часто высказывал тирану правду за его возмутительное, жестокое управление и нехристианскую и даже нечеловеческую жизнь, то он сделался несносен царю...» (подчеркнуто нами. — Авт.) (Володихин 2009: 226). Рассказ Олеария — это свидетельство того, каким был Иван IV в исторической памяти людей, живших в XVII в. И он вполне подтверждает то, что написал В. Б. Кобрин. При этом сам Д. М. Володихин подчеркивает, что именно Иван Грозный ввел в «политический быт» России массовые репрессии, и отмечает, что эти расправы «не заслуживают ни оправдания, ни тем более апологии» (с. 178, 321).

Анализ исторических источников доказывает, что попытка Д. М. Володихина объяснить зверства Грозного тем, что Россию «заразила западная жестокость», явно несостоятельна. В своей опричной политике царь был вполне оригинален — на Западе ему не с кого было брать пример. Британский

историк Исабель де Мадариага пишет об этом так: «В конце концов, и в других странах короли (Генрих VIII, например) опасались... претендентов на их престол или слишком влиятельных подданных», сталкивались с аристократической оппозицией, вели постоянные войны, требовавшие «все новых ресурсов (людских и экономических), которые нужно было выжимать из населения... Но нигде не было сделано попытки решить эти проблемы путем создания и внедрения идеи раздвоения государства.... Никто не делил государство на части, чтобы одна из них терзала другую» (*Мадариага* 2007: 264–265). Д. М. Володихин неоднократно ссылается на Мадариагу, но эту цитату «почему-то» не приводит.

Отмену Грозным опричнины в 1572 г. Д. М. Володихин объясняет тем, что опричнина как военная система оказалась «бессмысленна и опасна», а царь осознал, что полноценную защиту страны и эффективное управление могут обеспечить лишь единая армия и единый государственный аппарат (с. 188, 206). Но это объяснение следует признать ошибочным, поскольку опричнина фактически сохранялась до конца жизни Грозного под названием «двор» — с отдельными армией, администрацией и территорией, где царь проводил «перебор людшек». Д. М. Володихин отрицает наличие «рецидива опричнины», предпочитая умолчать о «дворе», но вся эта история хорошо изложена и Р. Г. Скрынниковым, и Б. Н. Флорей, у последнего даже есть специальная глава «Новая опричнина» (*Флоря* 2009: 339–355).

Хоть «двор» и не был полным подбием прежней опричнины, а масштабы террора уменьшились, кровавые казни продолжались (включая второе «новгородское изменное дело», жертвой которого пал еще один новгородский архиепископ — Леонид). Обо всем этом в книге нет ни единого слова. И это не случайно. Как мы уже отмечали, целью опричной политики Грозного была не борьба с внешними врагами, а уничтожение «внутреннего врага»: опричники должны были «выметать и выгрызать измену» (что отразилось даже в их форме). «Изменников» и «заговорщиков» царь боялся до конца своих дней, и поэтому, как отмечал Р. Г. Скрынников, «двор» «заменил собой опричный охранный корпус» (*Скрынников* 1975: 195). Б. Н. Флоря, со своей стороны, указывает, что новый режим «живо напоминал опричнину» (*Флоря* 2009: 342).

Таковыми же «внутренними» причинами была вызвана отмена опричнины в 1572 г. — старое опричное руководство царь казнил в несколько приемов, заподозрив в очередной «измене». Кроме того, за годы массового террора опричные дворяне-«преторианцы» превратились в банду мародеров (вроде упомянутого выше Г. Штадена). Р. Г. Скрынников отмечает, что Ивану Грозному пришлось трижды менять состав своего корпуса, и заключает, что долговременные последствия опричной политики «были катастрофическими».

Об этих последствиях Д. М. Володихин также не пишет. Но о них можно прочесть, к примеру, у того

же Р. Г. Скрынникова: страна была разорена, многие регионы просто обезлюдели — крестьяне бежали, спасаясь от непосильных налогов и насилия опричников. Хотя Иван Грозный и не отменял Юрьев день (в чем его часто считают виновным), но именно его политика подготовила дальнейшее закрепощение крестьян — без этого помещичье хозяйство не могло бы существовать (*Скрынников* 1996, Т. 2: 348–360).

Д. М. Володихин уделяет большое внимание вопросу о форме государственной власти в России во времена Ивана Грозного. Он полагает, что стране «требовался определенный градус деспотизма власти и деспотизма идеи... Вопрос состоял лишь в мере и формах самовластия», иначе «России бы не выжить» (с. 310, 313). Он критически относится к идее ограничения монаршей власти силой закона, полагая, что для российского монарха это не нужно: «У монарха российского... есть только три ограничителя власти, и ни один из них к правовой сфере не относится. Это, во-первых, бунт, который подданные могут устроить, во-вторых, заговор вельмож... и, в-третьих, непримиримый конфликт с церковью» (с. 311). От государя, по мнению Д. М. Володихина, требовались лишь сотрудничество с церковью и забота о подданных — он называет это «симфонией».

Но при этом сам же Д. М. Володихин показал, что никакой «симфонии» при Грозном не было и в помине — ни с церковью, ни с царством. К народу царь относился как к источнику для выжимания дохо-

дов. Что же касается приведенных выше «ограничителей», то ни один из них не сработал в годы опричнины. Итог был плачевным — и для страны, и для царя, многие годы жившего в страхе и 16 (!) лет ведущего переговоры с Англией о предоставлении ему и его семье убежища. Д. М. Володихин упоминает этот сюжет походя в подстрочном примечании и говорит, что переговоры велись «одно время» (с. 325).

Автор книги, как мы помним, уверяет, что «русская политическая культура оказалась инфицированной» вирусом «западной жестокости», забывая о том, что царю было у кого заимствовать эту жестокость и дома — его дед Иван III жестоко раздавил Новгородскую республику, массово выселял новгородцев, массово арестовывал ганзейских купцов и т. д.

Об отсутствии институциональных ограничений для монаршего произвола пишет в своей книге «Рождение государства» историк М. М. Кром (труды которого Д. М. Володихин указывает в конце книги в списке рекомендуемой литературы): «Каким бы жестоким и властолюбивым ни был тот или иной король, но во многих европейских странах он был вынужден считаться с законами... В России власть великих князей (а с 1547 года — царей) не была ограничена ни законом, ни каким-либо учреждением. Не грозила монарху и серьезная оппозиция со стороны аристократии... Единственным ограничителем государевой воли выступали нормы христианского благочестия и позиция главы русской церкви —

митрополита Московского и всея Руси... Но, как показали впоследствии годы опричного террора в царствование Ивана Грозного, моральных и религиозных ограничений было недостаточно, чтобы удержать монархию от скатывания к безудержному произволу, деспотизму и насилию» (*Кром* 2018: 118–119). Д. М. Володихин, как видим, считает иначе. Но приводимые им факты подтверждают правоту как раз М. М. Крома.

В заключительной части книги автор подробно, на основе полного анализа источников, пишет о гибели наследника престола, царевича Ивана, от руки отца. Скрупулезно анализируя весь корпус источников на эту тему, Д. М. Володихин заключает: «Отец все же нанес сыну гибельный удар; тот несколько дней проболел и умер» (с. 283). Это заключение тем более актуально, что в год выхода книги знаменитая картина Репина, посвященная этому эпизоду, вторично за свою историю подверглась атаке вандала за «недоуверенность». Полагаем, что книга Д. М. Володихина поможет широкому читателю узнать историческую истину.

Пишет Д. М. Володихин и о «покаянии» Ивана, посвящая этому отдельную главу. Царь, как известно, после смерти старшего сына «объявляет о прощении опальных, кои были умерщвлены по его приказам, или же стараниями его слуг, получивших власть отбирать жизни по собственному выбору» (подчеркнуто нами. — *Авт.*) (с. 289). После этого появился знаменитый «Синодик опальных» — ценнейший историче-

ский источник, а на монастыри пролился буквально золотой дождь — царь щедро платил за поминальные молитвы. Автор высоко ценит «раскаяние и покаяние» Грозного, утверждая, что тот стал человеком, «сквозь душевную глухоту услышавшим Бога» (с. 296). Однако в своей первой книге о Грозном Д. М. Володихин писал иное: «Вне зависимости от глубины раскаяния царя, Церкви он нанес огромный ущерб. Гибель и страдания архиереев, священников... унижение церковного авторитета, нарушение канонов, покровительство оккультной деятельности — вот далеко не полный результат государева своевольства» (*Володихин* 2010: 227). В новой же книге он, цитируя свои слова, пишет: «Не стоило завершать рассуждение “о личности царя” на этой ноте, ноте простого осуждения. Это было ошибкой» (с. 303).

Б. Н. Флоря более основательно проанализировал покаяние царя Ивана, которое, кстати, было далеко не первым, и каялся царь даже за то, чего не совершал (*Флоря* 2009: 305). Он отмечает, что царь, каясь, рассчитывал таким образом вернуть себе «милость Бога», чтобы с его помощью «восторжествовать над своими врагами» (Там же: 419). Это, впрочем, не мешало ему вновь нарушать церковные каноны, заключив седьмой брак (хотя православная церковь считает допустимым только три брака) и ведя переговоры о восьмом — с дальней родственницей английской королевы Елизаветы Мэри Гастингс.

...В своей книге Д. М. Володихин хотел создать, по его выражению,

«полихромный образ» Ивана IV, не рисовать его «одним белейшим белым или одним чернейшим черным» (с. 315, 334). Справиться с такой задачей ему, судя по его книге, было трудно. Но читать ее интересно, а желающим узнать правду будет о чем задуматься.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Воронин 2007 — *Воронин Н. Н.* Андрей Боголюбский. М.: Водолей Publishers, 2007.

Володихин 2009 — *Володихин Д. М.* Митрополит Филипп. М.: Молодая гвардия, 2009.

Володихин 2010 — *Володихин Д. М.* Иван IV Грозный. М.: Вече, 2010.

Иерусалимский 2018 — *Иерусалимский К. Ю.* Дело о картине Репина // Историческая экспертиза. 2018. № 3.

Кобрин 1989 — *Кобрин В. Б.* Иван Грозный. М.: Московский рабочий, 1989.

Кром 2018 — *Кром М. М.* Рождение государства. Московская Русь XV–XVI веков. М.: Новое литературное обозрение, 2018.

Мадариага 2007 — *Мадариага И. де.* Иван Грозный: первый русский царь. М.: Омега, 2007.

Назаров 2014 — *Назаров В. Д.* Опричнина // Большая российская энциклопедия. Т. 24. М., 2014.

Ростовцев, Сосницкий 2018 — *Ростовцев Е. А., Сосницкий Д. А.* Средневековые герои и события отечественной истории в сетевых ресурсах // Историческая экспертиза. 2018. № 1.

Скрынников 1975 — *Скрынников Р. Г.* Иван Грозный. М.: Наука, 1975.

Скрынников 1991 — *Скрынников Р. Г.* Государство и церковь на Руси XIV–XVI вв. Новосибирск: Наука, 1991.

Скрынников 1992 — *Скрынников Р. Г.* Царство террора. СПб.: Наука, 1992.

Скрынников 1996 — *Скрынников Р. Г.* Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. Смоленск: Русич, 1996. Т. 1–2.

Скрынников 1997 — *Скрынников Р. Г.* История Российская IX–XVII вв. М.: Весь мир, 1997.

Флоря 2009 — *Флоря Б. Н.* Иван Грозный. М.: Молодая гвардия, 2009.

Шокарев 2017а — *Шокарев С. Ю.* Прения о царе Иване в Историческом музее // Историческая экспертиза. 2017. № 2.

Шокарев 2017б — *Шокарев С. Ю.* Президент В. В. Путин об «извращениях» нашей истории // Историческая экспертиза. 2017. № 4.

Шокарев 2018 — *Шокарев С. Ю.* О новом нападении на картину И. Е. Репина «Иван Грозный и его сын Иван» // Историческая экспертиза. 2018. № 3.

BETWEEN THE SCIENCE AND THE MYTH.

Rev.: Volodihin D. M. Ivan IV Groznyi. Moscow: Molodaya gvardiya (Seriya «Zhizn' zamechatel'nyh lyudei»), 2018. 342 p.

Dashevsky Victor Yu. — candidate of historical Sciences, teacher of history (Moscow)
Charny Semyon A. — candidate of historical sciences, “Memorial” (Moscow)

Key words: Ivan the Terrible, “ultra-protective myth”, “liberal myth”, “oppressed orphan”, Livonian war, the burning of Moscow and the Battle of Molodi, oprichnina and oprichnina terror, Skrynnikov, Kobrin, Florea, “second oprichnina”, Metropolitan Philip, Tsarevich Ivan, “the repentance of Grozny.”

Abstract. The review gives a critical analysis of the book of the historian D. M. Volodikhin about Ivan the Terrible, published in 2018 in the ZhZL series. D. M. Volodikhin tried to create, in his expression, the “polychrome image of Ivan IV,” not to paint it with “whitish white or blackest black.” Volodikhin calls the apologists of Ivan the Terrible the creators of the “ultra-protective myth,” and those who “tarnishes the tsar” as “supporters of the liberal, Westernizing myth,” under whose influence, in his opinion, were even such famous historians as R. G. Skrynnikov and V. B. Kobrin. According to reviewers, the author convincingly and quite scientifically criticizes the “ultra-conservation myth.” At the same time criticism of the “liberal myth” by the author failed. Reviewers show this by comparing the position of the author and the points of view of historians such as R. G. Skrynnikov, V. B. Kobrin and B. N. Florea, as well as D. M. Volodikhin in his earlier works.

REFERENCES

Floria B. N. *Ivan Groznyi*. Moscow: Molodaia gvardiia, 2009.

Ierusalimskii K. Iu. Delo o kartine Repina. *Istoricheskaiia ekspertiza*, 2018, no. 3.

Kobrin V. B. *Ivan Groznyi*. Moscow: Moskovskii rabochii, 1989.

Krom M. M. *Rozhdenie gosudarstva. Moskovskaia Rus' XV–XVI vekov*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2018.

Madariaga I. de. *Ivan Groznyi: pervyi russkii tsar'*. Moscow: Omega, 2007.

Nazarov V. D. Oprichnina. *Bol'shaia rossiiskaia entsiklopediia*, vol. 24. Moscow, 2014.

Rostovtsev E. A., Sosnitskii D. A. Srednevekovye geroi i sobytiia otechestvennoi istorii v setevykh resursakh. *Istoricheskaiia ekspertiza*, 2018, no. 1.

Shokarev S. Iu. O novom napadenii na kartinu I. E. Repina "Ivan Groznyi i ego syn Ivan". *Istoricheskaiia ekspertiza*, 2018, no. 3.

Shokarev S. Iu. Preiiia o tsare Ivane v Istoricheskom muzee. *Istoricheskaiia ekspertiza*, 2017, no. 2.

Shokarev S. Iu. Prezident V. V. Putin ob "izvrashcheniakh" nashei istorii. *Istoricheskaiia ekspertiza*, 2017, no. 4.

Skrynnikov R. G. *Gosudarstvo i tserkov' na Rusi XIV–XVI vv.* Novosibirsk: Nauka, 1991.

Skrynnikov R. G. *Istoriia Rossiiskaia IX–XVII vv.* Moscow: Ves' mir, 1997.

Skrynnikov R. G. *Ivan Groznyi*. Moscow: Nauka, 1975.

Skrynnikov R. G. *Tsarstvo terrora*. St. Petersburg: Nauka, 1992.

Skrynnikov R. G. *Velikii gosudar' Ioann Vasil'evich Groznyi*. Smolensk: Rusich, 1996. Vol. 1–2.

Volodikhin D. M. *Ivan IV Groznyi*. Moscow: Veche, 2010.

Volodikhin D. M. *Mitropolit Filipp*. Moscow: Molodaia gvardiia, 2009.

Voronin N. N. *Andrei Bogoliubskii*. Moscow: Vodolei Publishers, 2007.

А. А. Тесля

ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА САМОДЕРЖАВНОЙ И НЕОГРАНИЧЕННОЙ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

Рец.: *Соловьев К. А.* Политическая система Российской империи в 1881–1905 гг.: проблема законотворчества. М.: Политическая энциклопедия, 2018. 351 с.

Ключевые слова: высшие органы власти, закон, законодательный процесс Российской империи, история бюрократии, история государственного управления.

Аннотация. Очередная монография К. А. Соловьева посвящена анализу законотворческого процесса в Российской империи в 1881–1905 гг. — в период между кризисом конца 1870-х гг. и формированием общеимперского представительства. Особенный интерес представляет анализ «политической повседневности» поздней Российской империи, предсказуемым образом существенно отличный от утверждаемых в законодательстве норм или попросту не зафиксированный в последнем.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-268-272

Исследование политической системы Российской империи последней четверти века существования юридически неограниченной монархии примечательно (если оста-

вить в стороне собственно историческую точку зрения) высвечиванием фундаментальных проблем, возникавших в ситуации, когда, с одной стороны, сформировались профессиональный бюрократический аппарат и высокоспециализированная система управления, а с другой — возникла и достаточно упрочилась общественная сфера; и при этом режим принципиально исключал возможность политического во внутреннем пространстве. Иными словами, главная проблема, с которой сталкивалась существующая система, — это невозможность обсуждения политических проблем именно в качестве политических,

© А. А. Тесля, 2019

Тесля Андрей Александрович — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта (Калининград); mestr81@gmail.com

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ (№ 18-18-00442) «Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных и перформативных дискурсах и практиках» и поддержано из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.

ведь притязание на политическую роль, политическое действие со стороны любого лица или институции кроме самого монарха автоматически выводило его за пределы системы.

Обращаясь к анализу основных понятий, К. А. Соловьев выделяет три: «самодержавие», «закон» и «реформа», при этом примечательно, что анализ понятия «самодержавия» в этот период демонстрирует разнообразные формы (нео)славянофильского политического языка, усвоенного и активно применяемого и самим монархом, и бюрократией, и земством, не говоря о публицистике. В этом можно видеть, прежде всего, отражение особенностей политической системы:

«В поразительно узком коридоре возможностей реформы можно было проводить лишь “украдкой”, в надежде, что их не заметят, не оценят как действительно полномасштабные преобразования. Консервативный характер российской политики в том числе обусловил популярность неславянофильских правовых конструкций, которые позволяли рассчитывать на реформы при сохранении прежней мифологии власти» (с. 67).

Прибегая к более широкой исторической рамке, можно увидеть заметные перемены политического языка — так, для двух предшествовавших царствований понятие «самодержавия» оставалось второстепенным, не столько в плане частоты употребления, сколько по своему содержательному наполнению. Это связано с тем, что режим Николая

I не осознавал, и совершенно справедливо, себя как некое исключение — он был целиком включен в европейскую политическую логику после Венского конгресса, и хотя расхождение с историческим временем началось с 1830-х гг., однако вплоть до 1848 г., а во многом и до Крымской войны эти перемены не воспринимались как эпохальные, знаменующие новую логику развития, — французский и бельгийский случаи мыслились как исключения. Обнаружение разрыва, явного расхождения логик развития европейских политических систем и российской, сделавшееся несомненным к середине 1850-х гг., когда «венский консенсус» оказался окончательно ушедшим в прошлое, в эпоху Александра II привело к попыткам новой «нормализации», в силу того, что «норма» изменилась и была осознана как изменившаяся. В этом плане и во времена Николая I, и в эпоху Александра II верховная власть в первую очередь осознавала себя как одну из европейских монархий — разумеется, со своей спецификой, со своими собственными традициями и обычаями, но применительно к которой в первую очередь работает общеевропейский политический язык, где нет фундаментальной проблемы непереводимости. Показательно, что в ходе полемики о конституционализме в 1860-е гг. противники введения общеимперского представительства, от Ю. Ф. Самарина до Б. Н. Чичерина, апеллировали не к особой природе «русской власти», а аргументировали исключительно из логики текущей ситуации, полагая, что сохранение неограниченной власти монарха с точки зрения

осуществления желательных реформ намного более эффективно, чем переход к представительству, в котором видели угрозу, например, консервативного поворота и/или сохранению имперского целого. В этом отношении риторика «увенчания здания» не противоречила (по крайней мере принципиально) представлениям самой власти о направлении развития.

С 1881 г. ситуация меняется принципиально — к этому времени, с одной стороны, Российская империя оказалась единственной из великих держав, не имеющей общегосударственного представительства. То, что в 1820-е гг. было господствующим вариантом политического постреволюционного устройства, — к концу 1870-х представляло уже исключением из правил. Консервативный поворот тем самым требовал и изменения политического языка — не включения в ряд других монархических режимов, а описания как особой, уникальной формы правления, «самодержавия», с особой природой царской власти. (Нео)славянофильский язык оказывается в этой ситуации наиболее удобным практически для всех участников властного взаимодействия — именно потому, что он снимает в явной форме политическое напряжение, при этом позволяя, в силу размытости используемых понятий, достаточно легко давать желаемую в каждом конкретном случае интерпретацию — и одновременно, в ситуации деполитизации, делает позиции неопределенными.

Анализ политической системы 1881–1905 гг. проводится на трех

уровнях: понятий, институтов и практик — каждый из которых позволяет увидеть логику нарастающего кризиса. Характеризуя «правительство» в эти годы, Соловьев пишет:

«В данном случае правительство — это скорее особая социальная среда, которую преимущественно составляли представители высшей бюрократии. Прежде всего ее консолидировали привычные стереотипы поведения сановников империи. В ней отсутствовало (или, вернее, должно было отсутствовать) собственно политическое целеполагание. Имевшие место бюрократические “игры” в большей степени напоминали неупорядоченное броуновское движение, когда у каждого из участников законотворческого процесса была своя цель, а у системы в целом — нет: она находилась в статическом положении» (с. 243–244).

Показательно, что к концу 1890-х — началу 1900-х не только среди высшей бюрократии было широко распространено осознание кризиса и необходимости существенной реформы системы. Общая логика этого движения заключалась в целом в поиске каких-либо приемлемых форм взаимодействия с обществом, его включения в процессы управления страной — при том, что и для самих бюрократов было характерно критическое отношение к бюрократии как таковой и дистанцирование от нее. Так, например, Плеве в разговоре с М. В. Челноковым, видным земским деятелем, говорил:

«Странные люди — эти чиновники. Они как не могут понять, что нужно

очень и очень ценить в людях охоту работать, любовь к своему делу... Мы здесь обязаны относиться к работе местных людей благожелательно, с вниманием и уважением. Наши чиновники все уповают на инструкции. Можно написать 100 инструкций и приказов и все это останется мертвой буквой» (с. 311).

Как показывает Соловьев, если противопоставление «мы» и «они», «бюрократии и общественности» является типичным — то при этом «власть и оппозицию объединяли бесконечные нити семейных, родственных, дружеских связей» (с. 298). Причем сами позиции были изменчивы — «многие представители высшей бюрократии были деятельными земцами» (с. 297), а для целого ряда значимых фигур того времени, например, таких как Сипягин, Святополк-Мирский или Булыгин, их государственные карьеры явились продолжением деятельности в роли дворянских предводителей. При этом бюрократии и на среднем, и на высшем уровне был присущ весьма критический взгляд на саму бюрократию — при исключении самого говорящего и оценивающего ее из числа ее характерных представителей. С той особенностью, что одновременно столь же скептический взгляд распространялся, как правило, и на «общественность».

Проблема заключалась и в том, что для самого императора возможность политического действия также оказывалась весьма ограниченной — если бюрократический аппарат по определению является неполитическим, то система приводила к тому, что и высшие лица

администрации, и высшие инстанции, от министров до Государственного совета, также представляли как бюрократические — и в тех случаях, когда они пытались реализовать политическое действие, они должны были представлять его как лишенное подобного характера. Так, например, сопротивляясь введению земских начальников или университетской реформе, члены Государственного совета старательно переводили свои возражения исключительно в техническую плоскость, и для самого монарха это сопротивление оказывалось труднопреодолимым — именно постольку, поскольку конфликт оказывался неявным, политическое противостояние отрицалось противоположной стороной (и в этой ситуации монарх воспринимал «оппозицию» поддержанным им начинаниям как некий «комлот», «заговор», что опять же отчасти было верно — именно в рамках отрицания, сокрытия подлинной природы противостояния).

Итогом этого оказывалась патовая ситуация — осознание необходимости перемен, более или менее глубокой перестройки государственной системы, которое разделялось едва ли не всеми основными участниками отношений власти, и вместе с тем невозможность ни для одной из сторон реализовать более или менее существенную реформу, нацеленную на изменение политической системы. И, таким образом, перемены в результате приходят уже извне, когда ситуация стремительно выходит из-под контроля в 1904–1905 гг. и политическое начало во внутренней жизни империи возникает явочным порядком.

THE LAST QUARTER OF THE CENTURY OF AUTOCRATIC AND UNLIMITED CZARIST POWER.

Rev.: Solov'ev K. A. Politicheskaya sistema Rossiiskoi imperii v 1881–1905 gg.: problema zakonotvorchestva. Moscow: Politicheskaya enciklopediya, 2018. 351 p.

Teslya Andrei A. — candidate of philosophical sciences, senior researcher of Institute for the Humanities of Immanuel Kant Baltic Federal University (IKFBU) (Kaliningrad)

Key words: supreme authorities, law, legislative process of the Russian Empire, history of bureaucracy, history of government.

Abstract. New monograph paper of Kirill Solovyov is devoted to the analysis of the legislative process in the Russian Empire in 1881–1905 — in the period between the crisis of the late 1870s and the formation of an all-empire representation. Of particular interest is the analysis of the “political everyday life” of the late Russian Empire, which in a predictable way is significantly different from the norms approved by law or simply is not fixed in the latter.

В. Б. Аксенов

ЕЩЕ ОДИН ШАГ В СТОРОНУ ВИЗУАЛЬНОГО ПОВОРОТА

Рец.: Гражданская война в образах визуальной пропаганды: словарь-справочник / под ред. Е. А. Орех. СПб.: Скифия-принт, 2018. 176 с., 32 с. ил.

Ключевые слова: визуальная история, образы, имагология, революция, гражданская война.

Аннотация. Автор рецензирует словарь-справочник «Гражданская война в образах визуальной пропаганды» в контексте современной историографической ситуации, сложившейся в визуальных исследованиях. Отмечается, что рецензируемое издание способно дополнить источниковедческий потенциал визуальных источников и полнее реконструировать образы революционной эпохи.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-273-279

XX в. оказался богат на методологические повороты. По крайней мере два из них — лингвистический и визуальный — позволили ученым заново переоткрыть известные исторические документы, среди которых изобразительные источники занимают особое место. Тем не менее, несмотря на повывисившийся в последние годы интерес к визуальным исследованиям, визуальная история страдает от некоторых детских болезней, выражающихся в том, что исследователи отказываются признавать за изодокументами характер самостоятельного текста, сводя их функцию к иллюстрации

вербального высказывания. Подобная вторичность визуальных материалов снижает их источниковый потенциал.

Одно из препятствий, находящихся на пути исследователя, работающего с изобразительными источниками, — перевод визуального сообщения на вербальный язык. Очевидно, что анализ визуального не может ограничиваться описанием сюжетной стороны, перечислением изображенных персонажей и их ролей. Сама структура изображения — внутренняя, определяющаяся взаимодействием форм, пятен на плоскости, или внешняя, обозначающая место произведения в общем дискурсе (художественном, политическом и т.д.), требует подхода к визуальному документу как к тексту,

© В. Б. Аксенов, 2019

Аксенов Владислав Бэнович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва); vlaks@mail.ru

обладающему разными уровнями (интертекстуальностью).

История визуальных исследований богата на разнообразные подходы и методы анализа визуального, среди которых иконографический и иконологический подходы, психоанализ, семиотический подход, дискурс-анализ и многие другие (Rose 2001). На протяжении XX в. методы работы с визуальными произведениями постоянно совершенствовались. Так, Э. Панофски от иконографического метода перешел к иконологическому, совершенствуя выдвинутые А. Варбургом идеи, Р. Барт применил методы структуралистского и постструктуралистского подходов к визуальному сообщению (Панофски 2009; Барт 1989; 1997). В конце концов У. Митчелл, указав на текстуальность изображения и визуальность вербального текста, призвал совершить пикториальный поворот и переоткрыть собственно изобразительное произведение. Он полагает, что граница между словом и изображением не тождественна границе между вербальным и невербальным, она подвижна и проходит внутри них (Мир образов 2018: 8, 502). Отчасти Митчелл объясняет это универсальными процессами современности, связанными со стиранием различий между элитарным и массовым (впрочем, последнюю тенденцию подметил еще Вальтер Беньямин в известной статье «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» в 1936 г.). «Разделение гуманитарных дисциплин на вербальные и визуальные, с очевидным преобладанием первых, рухнуло вместе

с границей между высоким искусством и массовой культурой», — писал Митчелл в 1995 г. (Митчелл 2018: 504) В узко-источниковедческом смысле это означает равнозначность письменного и изобразительного документа. В конце концов не случайно, что некоторые историки уже признают, что визуальный источник содержит в себе больше информации, нежели письменный документ (Голиков, Рыбаченок 2010: 5). Развивающаяся на рубеже XX–XXI вв. антропология образов, усилиями Д. Фридберга, Х. Белтинга, становится междисциплинарным направлением, включающим новейшие открытия в области нейрофизиологии. Так, Д. Фридберг, В. Галлезе выдвинули концепцию «телесной имитации и эстетического переживания», базирующуюся на открытых в конце 1990-х гг. зеркальных нейронах и объясняющую природу эмоциональной «власти образа» над зрителем: «Исторические, культурные или контекстуальные факторы не противоречат важности изучения нейронных процессов, которые приводят к эмпатическому восприятию произведений визуального искусства» (Фридберг, Галлезе 2018: 485). Подобный подход приобретает особое значение в контексте сближения визуальных исследований с другим актуальным направлением — эмоциологией, также активно проникающей в исторические исследования (Плампер 2018).

Примером применения эмоциологического подхода к визуальным исследованиям может служить статья К. Л. Лидина и М. Г. Мееровича в сборнике «Очевидная история.

Проблемы визуальной истории России XX столетия», в которой на основе контент-анализа образов пропагандистского плаката осуществляется «перевод» эмоциональной структуры визуального текста на вербальный язык (Лидин, Меерович 2008: 25–34). Вместе с тем «закрытость» использованного авторами инструментария, отсутствие ясной методологической базы вызвали у О. Бойцовой справедливые замечания (Бойцова 2009: 365–373).

В отечественной историографии в последние годы активно развивается имагологическое направление, которое занимается изучением взаимных представлений различных групп населения как «своих» — «чужих», что также может быть отнесено к антропологии образов (Голубев, Поршнева 2011; Сенявская 2006; Филиппова, Баратов 2014). Вместе с тем ряду работ недостает методологической базы, в результате чего визуальные источники не раскрывают своего потенциала.

Визуальное пространство эпохи русской смуты начала XX в. уже привлекало внимание исследователей. Плакаты и карикатуры периода Первой мировой войны и российской революции 1917 г. оказывались в фокусе внимания историков (Цыкалов 2012: 85–90; Филиппова 2015: 90–98; Аксенов 2017: 4–16). Тем интереснее хронологическое развитие визуальных исследований до окончания Великой (или длинной) российской революции.

В рецензируемой работе авторы подчеркивают значимость изобра-

зительных источников. Среди изучаемой продукции эпохи Гражданской войны — плакаты, карикатура, открытки, листовки, агитационный фарфор. Указывается необходимость применения специальных методов исследования, среди которых центральное место отведено разработанному Э. Пановским иконографическому анализу. В рамках иконографии проводится «сравнение анализируемых изображений, отобранных по теме или сходству сюжетов, друг с другом с целью выявления иконографических признаков — повторяющихся черт или атрибутов изучаемого образа» (Гражданская война... 2018: 10). Через определение иконографических признаков персонажей-участников гражданского противостояния авторы выходят на анализ способов их репрезентации. При этом методологическая база не ограничивается собственно иконографическим методом, а ставит задачу «социокультурного анализа истоков и способов воплощения популярных пропагандистских образов». Также предпринимаются попытки анализа смысловой составляющей с помощью семиотики со ссылкой на метод семиотической интерпретации визуального Р. Барта, а также метод объективной герменевтики У. Овермана. В процессе чтения статей становится ясно, что их авторы опирались также на имагологический подход, необходимость применения которого подсказывается самой изучаемой эпохой.

Авторы определили жанр своей работы как словарь-справочник — достаточно популярный в последнее время способ организовать матери-

ал, особенно когда по тем или иным причинам он отличается некоторой фрагментарностью. Рецензируемая книга состоит из введения и 18 статей, идущих в алфавитном порядке, каждая из которых посвящена выявленному согласно частотным характеристикам конкретному образу: Белогвардеец, Буржуй и капитал, Дезертир, Женщина, Казак, Красноармеец, Крестьянин, Кулак, Ленин, Маркс, Матрос, Большевик и эсер, Польский пан, Прогульщик, Рабочий, Ребенок, Россия, Священнослужитель. Заметим, что недостатком словаря-справочника как жанра и алфавитной организации очерков выступает отсутствие возможности через хронологическую организацию материала передать динамику развития визуальной пропаганды в целом, хотя в отдельных статьях показаны трансформации тех или иных визуальных образов. При этом во введении корректно определяются хронологические рамки (отмечается «сползание» к Гражданской войне летом 1917 г., что становится нижним порогом исследования, в то время как верхним порогом назначается 1923 г., что объясняется известной пропагандистской инерцией).

Авторы демонстрируют, что иконографический анализ способен существенно дополнить знания, полученные из письменных источников. Цитирование авторами газет и журналов, дневников и воспоминаний современников позволяет реконструировать пространство пропаганды как сложную знаково-смысловую систему, элементы которой периодически комбинируются с целью создания новых образов.

Так, например, отмечается, что образ кулака стал синтезом черт буржуа и крестьянина. При этом образы не комбинировались механически: для создания негативного образа дезертира из него исключались позитивные признаки красноармейца, например, буденовка, ассоциировавшаяся с бойцом-героем. Значима также попытка авторов в некоторых случаях рассмотреть результативность тех или иных пропагандистских приемов. В рамках семиотического подхода, провозглашенного авторами во введении, важно показать не только формальную структуру знаковой системы, иконографию изображений, но и перейти на уровень прагматики — рассмотреть особенности восприятия системы реципиентом. Так, в статье «Маркс» обращается внимание на неоднозначные реакции низших слоев населения на бюсты К. Маркса, иногда принимавшиеся за изображения святого.

Книга содержит богатый иллюстративный ряд — черно-белые иллюстрации внутри статей и две цветные вклейки. Важно, что все иллюстрации грамотно атрибутированы.

Вместе с тем, несмотря на все достоинства работы, нельзя не отметить и недостатки. Собственно от главной претензии — некоторой фрагментарности исследуемых образов — авторы защитились во введении: «Сегодня можно дискутировать, почему тот или иной образ отсутствует (или, напротив, имеется) на страницах нашего словаря... При итоговом отборе персонажей мы руководствовались частотой их упоминания

в визуальных документах нашей выборки. В силу малого количества изображений (а значит — невозможности работать методом иконографии) мы были вынуждены исключить из перечня словарных статей описание представителей некоторых социальных групп и отдельных персонажей» (Гражданская война... 2018: 10). Именно поэтому читателя, намеревавшегося найти в словаре определенный образ, может постигнуть некоторое разочарование.

В качестве общего замечания можно указать на то, что статьи написаны разными авторами с разной степенью теоретического погружения, что, впрочем, характерно для выбранного жанра книги. Большинство авторов — социологи, что не мешает им с помощью историографии точно характеризовать исторические перипетии эпохи Гражданской войны. В отдельных главах обнаруживается несколько разбалансированная реконструкция советских и антибольшевистских визуальных образов, объясняющаяся преобладанием материалов красной пропаганды над белой.

В целом нужно признать, что данный проект является оригинальной работой, представляется важным для дальнейшего развития визуальных исследований в России. Авторы сумели показать источниковый потенциал таких визуальных документов, как плакаты, карикатуры, открытки, листовки, позволяющие дополнить традиционные для исследователей письменные источники и полнее реконструировать образы эпохи Гражданской войны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Аксенов 2017 — Аксенов В.Б. Журнальная карикатура как зеркало общественных настроений в 1917 году // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2017. № 1.

Барф 1989 — Барф Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989.

Барф 1997 — Барф Р. Camera lucida. М., 1997.

Бойцова 2009 — Бойцова О. Рец. на кн.: Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Сборник статей / [редкол.: И.В. Нарский и др.]. Челябинск: Каменный пояс, 2008. 476 с.: ил., табл. // Антропологический форум. 2009. № 10.

Голиков, Рыбаченок 2010 — Голиков А.Г., Рыбаченок И.С. Смех — дело серьезное. Россия и мир на рубеже XIX–XX веков в политической карикатуре. М., 2010.

Голубев, Поршнева 2011 — Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М., 2011.

Гражданская война... 2018 — Гражданская война в образах визуальной пропаганды: словарь-справочник. СПб., 2018.

Лидин, Меерович 2008 — Лидин К.Л., Меерович М.Г. «Визуальный кадр» как метод анализа элементов визуальной среды обитания (на примере рекламно-пропагандистских плакатов 1920–1950-х гг.) // Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Сборник статей / [редкол.: И.В. Нарский и др.]. Челябинск: Каменный пояс, 2008.

Мир образов 2018 — Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / редактор-составитель Н.Н. Мазур. М.; СПб., 2018.

Митчелл 2018 — Митчелл У. Что такое визуальная культура? // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / редактор-составитель Н.Н. Мазур. М.; СПб., 2018.

Панофски 2009 — Панофски Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009.

Плампер 2018 — Плампер Я. История эмоций. М., 2018.

Сенявская 2006 — Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М., 2006.

Филиппова 2015 — Филиппова Т. А. «Враг внутренний» — «враг внешний». Образы революции 1917 г. в русской сатирической журналистике // Российская история. 2015. № 6.

Филиппова, Баратов 2014 — Филиппова Т. А., Баратов П. Н. «Враги России». Образы и риторики вражды в русской журнальной сатире эпохи Первой мировой войны. М., 2014.

Фридберг, Галлезе 2018 — Фридберг Д., Галлезе В. Движение, эмоция и эмпатия в эстетическом переживании // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры / редактор-составитель Н. Н. Мазур. М.; СПб., 2018.

Цыкалов 2012 — Цыкалов Д. Е. Карикатура как орудие пропаганды в период Первой мировой войны // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2012. № 1 (21).

Rose 2001 — Rose G. Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of the Visual Materials. London. SAGE Publication, 2001.

ONE MORE STEP IN THE DIRECTION OF VISUAL EXPANSION

Rev.: Grazhdanskaya voina v obrazah vizual'noi propagandy: slovar'-spravochnik, pod red. E. A. Oreh. St. Petersburg: Skifiya-print, 2018. 176 p., 32 p. il.

Aksenov Vladislav B. — candidate of historical sciences, senior researcher, Institute of Russian history, RAS (Moscow)

Key words: visual history, images, imagology, revolution, civil war.

Abstract. The author reviews the dictionary-directory “The Civil War in the Images of Visual Propaganda” in the context of modern historiographical situation in visual research. It is noted that the reviewed edition is able to supplement the source potential of visual sources and more fully reconstruct the images of the revolutionary era.

REFERENCES

Aksenov V. B. Zhurnal'naiia karikatura kak zerkalo obshchestvennykh nastroyenii v 1917 godu. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya: Istoriiia. 2017, no. 1.

Bart R. *Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika*. Moscow, 1989.

Bart R. *Camera lucida*. Moscow, 1997.

Boitsova O. Rets. na kn.: Oche-vidnaia istoriia. Problemy vizual'noi istorii Rossii XX stoletiiia. Sbornik statei, [redkol.: I. V. Narskii i dr.]. Cheliabinsk: Kamennyi poias, 2008. 476 s.: il., tabl. *Antropologicheskii forum*, 2009, no. 10.

Filippova T. A. "Vrag vnutrennii' — "vrag vneshnii'. Obrazy revoliutsii 1917 g. v russkoi satiricheskoi zhurnalistike. *Rossiiskaia istoriia*, 2015, no. 6.

- Filippova T. A., Baratov P. N. *"Vragi Rossii". Obrazy i ritoriki vrazhdy v russkoi zhurnal'noi satire epokhi Pervoi mirovoi voiny*. Moscow, 2014.
- Fridberg D., Galleze V. Dvizhenie, emotsiia i empatiia v esteticheskom perezhivanii. *Mir obrazov. Obrazy mira. Antologiya issledovaniï vizual'noi kul'tury*, redaktor-sostavitel' N. N. Mazur. Moscow; St. Petersburg, 2018.
- Golikov A. G., Rybachenok I. S. *Smekh – de-lo ser'eznoe. Rossiia i mir na rubezhe XIX–XX vekov v politicheskoi karikature*. Moscow, 2010.
- Golubev A. V., Porshneva O. S. *Obraz soiuznika v soznanii rossiiskogo obshchestva v kontekste mirovykh voïn*. Moscow, 2011.
- Grazhdanskaia voïna v obrazakh vizual'noi propagandy: slovar'-spravochnik*. St. Petersburg, 2018.
- Lidin K. L., Meerovich M. G. "Vizual'nyi kadr' kak metod analiza elementov vizual'noi sredy obitaniia (na primere reklamno-propagandistskikh plakatov 1920–1950-kh gg.). *Oche-vidnaia istoriia. Problemy vizual'noi istorii Rossii XX stoletii*. Sbornik statei, [redkol.: I. V. Narskii i dr.]. Cheliabinsk: Kamennyi poias, 2008.
- Mir obrazov. Obrazy mira. Antologiya issledovaniï vizual'noi kul'tury*, redaktor-sostavitel' N. N. Mazur. Moscow; St. Petersburg, 2018.
- Mitchell U. Chto takoe vizual'naia kul'tura? *Mir obrazov. Obrazy mira. Antologiya issledovaniï vizual'noi kul'tury*, redaktor-sostavitel' N. N. Mazur. Moscow; St. Petersburg, 2018.
- Panofski E. *Etiudy po ikonologii*. St. Petersburg, 2009.
- Plamper Ia. *Istoriia emotsii*. Moscow, 2018.
- Rose G. *Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of the Visual Materials*. London. SAGE Publication, 2001.
- Seniavskaia E. S. *Protivniki Rossii v voïnakh XX veka: evoliutsiia "obraza vraga" v soznanii armii i obshchestva*. Moscow, 2006.
- Tsykalov D. E. Karikatura kak orudie propagandy v period Pervoi mirovoi voiny. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia 4: Istoriia. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniia*, 2012, no. 1 (21).

В КРУГУ ИДЕЙ АНДЖЕЯ ВАЛИЦКОГО

Рец.: *Валицкий А.* В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства / пер. с польск. К. Душенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019. 704 с.

Ключевые слова: Общественная мысль России второй половины XIX в., славянофильство, западничество, мировоззрение, идеология, утопия, консерватизм.

Аннотация. Рассматривается концепция славянофильства, предложенная в книге А. Валицкого.

DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-280-291

Тот, кому удалось познакомиться с книгой Анджея Валицкого сразу же после ее выхода в свет в Варшаве в 1964 г., вряд ли мог сегодня надеяться на встречу с этим незаурядным исследованием в полном переводе на русский язык. Ведь с тех пор прошло уже более полувека.

Кроме внушительной временной дистанции, на пути к книге имело место и еще одно осложняющее обстоятельство. В 1991–1992 гг. в серии «Из истории зарубежного обществоведения», издававшейся Институтом научной информации по общественным наукам РАН, вышел реферативный сборник «Славянофильство и западничество: консервативная и либеральная уто-

пия в работах Анджея Валицкого» (вып. 1–2). Это был, бесспорно, серьезный прорыв к читательской аудитории в России. Но перевод книги польского русиста, уже приобретенного к тому времени мировую известность, оказался в данном случае неполным, выборочным.

Автор этих заметок не претендует на статус рецензента в точном смысле этого слова — исследование Валицкого явно не входит в ряд книжных новинок. Книга, кстати, давно пересекла границу Польши: она переведена на итальянский (1973), английский (1975) и украинский (1998) языки. Но, уверен, что даже при таком высоком уровне известности «В кругу консервативной утопии» явится значительным открытием для большой части русскоязычной аудитории, интересующейся сегодня интеллектуальной историей России XIX в. Этот ожидаемый эффект оправдывает попытку откликнуться на факт появления русского перевода.

© В. А. Китаев, 2019

Китаев Владимир Анатольевич — доктор исторических наук, профессор кафедры информационных технологий в гуманитарных исследованиях Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (Нижний Новгород); vlakit2@mail.ru

И вообще, предваряя в каком-то смысле итог предлагаемых замечаний и размышлений о значении работы Валицкого, уместным будет напомнить слова поэта: «большое видится на расстояньи». В данном случае надо иметь в виду, конечно, не пространственное, а временное измерение.

Выбирая стратегию исследования, Валицкий, естественно, не мог не определяться в своем отношении к советской историографии темы и ее теоретико-методологическому инструментарию. И об этом прямо сказано в «Предисловии к русскому изданию»: «Я писал свою диссертацию, сознательно игнорируя очень немногочисленные тогда советские работы о славянофильстве, всего лишь воспроизводившие ленинскую схему борьбы “либералов” с “крепостниками”, в которой славянофилы причислялись к “либералам”» (с. 15).

Вопрос о причастности к марксизму в пору выбора темы книги и ее написания также не был для автора из числа последних. Валицкий признается, что его в это время интересовала прежде всего «антикапиталистическая направленность русской мысли», но в то же самое время он отвергал «догмы советского марксизма». Исследователь готов был принять только «критический марксизм как метод исследования» (с. 12).

Главными же теоретическими авторитетами стали для автора К. Мангейм с его социологией знания, классики исторической социологии Ф. Тённис и М. Вебер. « Суще-

ственные положения», сформулированные двумя последними, были, убежден Валицкий, предвосхищены социологической интуицией основоположников славянофильства. Мангейм, Тённис и Вебер помогли Валицкому, по его признанию, представить классическое славянофильство как особый, русский вариант общеевропейского консервативного романтизма, уйти от «марксистской теории базиса и надстройки, ставящей на первый план классовые интересы». Правда, понятия «капитализм», «классовые интересы» русского дворянства все-таки всплывут в исследовании Валицкого тогда, когда потребуется объяснение сути той трансформации, которую пережило пореформенное славянофильство.

Совершая новаторский прорыв в методологии изучения темы, Валицкий должен был первым делом позаботиться о том, чтобы познать своего читателя с его сутью. Эту задачу он и решает в «Предварительных замечаниях», которыми открывается собственно книжный текст. Ученый сразу же предупреждает, что он ни в коей мере не претендует на оригинальность использованных им методологических посылок и терминологии. «Оригинально лишь их применение к конкретному, именно этому историческому материалу», — подчеркивает он (с. 33). И в каждом отдельном случае, когда славянофильство начинает характеризоваться с помощью понятий «мировоззрение», «идеология», «утопия», «консерватизм», взятых из арсенала создателей постмарксистской социологии, надо самым внимательным образом

учитывать все богатство смысловых уточнений, которыми «догружаются» они польским исследователем.

Задача первой части (она называется «Из истории проблематики») состояла в том, чтобы включить славянофильство в процесс эволюции русской консервативной мысли начиная со второй половины XVIII в., показать «процесс кристаллизации некоторых — крайне важных — конституирующих элементов его доктрины». К ним отнесены три антитезы: 1) противопоставление «старой» и «новой» России, ретроспективная критика реформ Петра Великого и связанная с ней ретроспективная идеализация «старой Руси»; 2) противопоставление России и Европы; 3) противопоставление «старой» и «новой» Европы, сформировавшееся в западноевропейской консервативной мысли как реакция на Французскую революцию (с. 51). Итогом изменений «традиционного стародворянского консерватизма» (М. М. Щербатов, Н. М. Карамзин) стало его превращение в романтический консерватизм. Консервативная идеология в конечном счете приобрела черты консервативного мировоззрения. Явные признаки такого перерождения Валицкий находит в мышлении «любомудра» В. Ф. Одоевского.

«Предславянофильскую» линию в книге Валицкого завершает П. Я. Чаадаев. «Трагическая парадоксальность» его социального мышления видится автору в соединении здесь консерватизма и западничества. Попытка примирить то и другое, убедительно показывает Валицкий, должна была неизбежно

закончиться поражением мыслителя — поражением «западника-аристократа» и «еще больше поражением русского патриота» (с. 154–155). Но при этом он бросил вызов как славянофилам, так и западникам.

Среди исследователей славянофильства давно идут споры о том, кого считать в нем центральной фигурой. У Валицкого на этот счет нет сомнений. Для него «создателем славянофильской доктрины» является И. В. Киреевский. «Познавательная перспектива настоящей работы, — объясняет свою позицию Валицкий, — требует ясно заявить, что в вопросах, наиболее существенных с нашей точки зрения, первое и решающее слово было сказано не Хомяковым, но Киреевским. *Его* заслугой была славянофильская концепция личности и (тесно с ней связанный) идеал общественных связей. Можно даже сказать, что в области философии и историософии Хомяков лишь развивал взгляды Киреевского, считал себя его учеником» (с. 223).

Валицкий показывает, что путь Киреевского от «любомудрия» и «непоследовательного» западничества к славянофильству был не прост. Но, в конце концов, у Киреевского выстроилась не только очищенная от всякой противоречивости философия истории, но и философия человека, ставшие краеугольными камнями славянофильской доктрины. Пережил он и период «обращения» в православное христианство.

Чрезвычайно важен для Валицкого вопрос об источнике формирования философских взглядов Киреев-

ского, доминантой которых стала критика рационализма и отставание целостности личности. Он находит его не в восточной патристике, а в немецкой романтической философии. Но роль Киреевского не сводится у Валицкого только к повторению идей Ф. Шлегеля, Ф. Шеллинга и Ф. Баадера. Русский мыслитель прекрасно понимает необходимость создания новой положительной философии на основе истинного христианства, каковым является православие. И все же, утверждает Валицкий, философские взгляды Киреевского явились не «зародышем какой-то совершенно новой философии, но лишь любопытной разновидностью общеевропейского философского романтизма» (с. 202).

Тему влияния немецкого философского романтизма на раннее славянофильство все-таки не назовешь абсолютно новой. Бесспорное же новаторство автора в анализе и интерпретации славянофильства начинается тогда, когда он предлагает неожиданное, но вполне оправданное рассмотрение идеологии Киреевского в перспективе тех идей, которые были сформулированы Ф. Тённисом.

Речь идет о типологии общественных связей, в которой противопоставляются «Gemeinschaft» («общность») и «Gesellschaft» («общество»). Эта антитеза, по мнению Валицкого, «почти полностью совпадает со славянофильской антитезой России и Европы, “народа” и “общества”, христианской цивилизации и рационалистической цивилизации» (с. 217). Социология

Киреевского обнаруживала и очевидную переключку с идеями М. Вебера. В веберовском *патримониализме* как одном из типов традиционалистской власти открывается ему нечто очень близкое государственному идеалу классического славянофильства.

Анализ мировоззрения и идеологии А. С. Хомякова начинается у Валицкого с погружения в его экклесиологию как «наиболее важную и в то же время наиболее “славянофильскую”» часть наследия мыслителя. В его богословских взглядах автор видит «неотъемлемую часть» славянофильской социальной философии: «отношение церкви к государству в славянофильском учении совершенно аналогично отношениям между государством и обществом (“землей”)» (с. 240–241). Церковь, отмечает Валицкий, была для Хомякова «своего рода идеальной моделью определенного типа общественных связей», в которой субъектом свободы выступала не отдельная личность, а коллектив. Вслед за целым рядом своих предшественников автор склонен усматривать в хомяковском понимании идеи «собора» как «единства во множестве» влияние идей И. Мёлера.

От теории познания Хомякова Валицкий ведет читателя к его философии истории, в которой опять-таки ему хорошо видны следы усвоения идей немецкого консервативного романтизма, и прежде всего историософии Ф. Шлегеля. Замечает он и существенные отступления здесь от славянофильской ортодоксии: «ослаблена и стерта»

антитеза России и Европы, проступило совсем не свойственное славянофилам государственничество.

Заканчивается глава о Хомякове обращением автора к крестьянскому вопросу. Валицкий разделит высказывания Хомякова по этой крайне актуальной для славянофилов-помещиков теме на две группы: высказывания 40-х и высказывания второй половины 50-х гг. «И в том, и в другом случае, — замечает он, — консервативная утопия сочетается с трезвым, практичным расчетом, но в пятидесятые годы пропорции явно меняются не в пользу утопии» (с. 276). Хомяков не принимает идею переноса принципа общинной собственности на помещичью землю.

Представление классиков славянофильства завершается главой о К. С. Аксакове. Валицкий начинает характеристику взглядов «самого истового» славянофила с рассмотрения его историософии, которая сформировалась как по-настоящему славянофильская только к концу 40-х гг., после отхода этого мыслителя от гегельянства. Выясняется, что Аксаков, в отличие от Хомякова, с самого начала находил главное различие России и Европы не в различии веры, а в разном происхождении государственности. В своей историософии он был, как никто из славянофилов, далек от абсолютизации государственного начала. В его дихотомии «земля — государство» первенствующим фактором выступала «земля» («народ») как хранительница «внутренней правды». Такого рода противопоставление, в котором нельзя не обнаружить

«осуждение рационализированных и потому “внешних” форм общественной жизни», находилось в русле консервативной традиции.

Валицкий не возражает против обозначения позиции Аксакова через понятие «архаический либерализм», которое идет от В. С. Соловьева. Но славянофильская идеология, полагает автор, все-таки «не могла перебросить мост между консерватизмом и либерализмом как *мировоззрениями*». Неприятие рационализма и индивидуальной свободы было в принципе несовместимо с последним.

Завершая рассмотрение идеала общественных связей у Аксакова, Валицкий, как и в случае Киреевского, констатирует наличие в нем таких элементов, которые представлены в социологии Ф. Тённиса. Это Volkstum (народное начало), Staatstum (государственное начало) и Eintracht (согласие). Не обошлось здесь и без установления близости аксаковского мышления к категориям М. Вебера. Моделью идеальной общественной связи была для Аксакова крестьянская община. Именно в этом институте материализовалась его, по определению Валицкого, «фанатичная “народомания”», не свойственная в такой мере никому из славянофильских идеологов.

Чтобы вникнуть в природу и особенности защиты Аксаковым крестьянского «мира» как самоуправляющейся единицы, свободной от вмешательства как правительства, так и помещиков, Валицкий прибегает к уже использованному в книге приему перспективного сравнения

позиции этого славянофила теперь уже со взглядами народников А. П. Щапова и Г. З. Елисеева, а также Л. Н. Толстого. Особенно интересно и значимо сопоставление «народной утопии» Аксакова с «патриархально-крестьянской, христианско-анархической утопией» Льва Толстого.

А теперь попробуем собрать воедино разбросанные по портретным главам размышления автора о сущности и особенностях славянофильской идеологии в целом.

Характеризуя идеологию (и одновременно утопию) славянофилов как консервативную и антикапиталистическую, Валицкий считает необходимым определить то, что выдвигается в ней на первый план — «интересы конкретного класса (например, дворянства) или докапиталистического уклада как целого». Славянофильская идеология, полагает он, представляет собой «вторую из этих возможностей». «Мы не намерены отрицать, что создатели славянофильства были тесно связаны с родовым дворянством, или изображать их мыслителями, порвавшими со своим классом. Славянофильство было идеологией старого русского дворянства, которое — не решившись выступить от своего собственного имени, в качестве привилегированного сословия, защищающего свои эгоистические интересы, — попыталось сублимировать и универсализировать традиционные ценности, создать идеологическую платформу, на которой смогли бы объединиться все классы и слои общества, представлявшие “старую Русь”.

Именно в этом, по нашему мнению, состоит сущность классического славянофильства, а вместе с тем — причина его утопичности и быстрой дезинтеграции, когда исторические события позволили перейти от идей к действиям» (с. 220).

В преддверии отмены крепостного права наступил момент, когда славянофильским теоретикам пришлось делать выбор между созданной ими «народной утопией» и «интересами своего класса». Выбор второго пути «вел к притуплению антикапиталистического острия славянофильского учения», имел своим следствием самоуничтожение классического славянофильства (с. 284–285).

В перспективе Великих реформ 60-х гг. расстановка главных фигур внутри славянофильского лагеря представляется автору следующим образом: «Хомяков — создатель славянофильской экклесиологии и теории “соборности” — изменил антикапиталистической и консервативной утопии в пользу “практической” политики, в конечном счете сводящейся к помещичьему пути капиталистического развития; Киреевский умер на пороге новой эпохи, будучи убежден в преждевременности начинающихся реформ и сохранив верность славянофильской утопии в ее консервативно-романтической, “стародворянской” форме; Аксаков — утопист наиболее бескомпромиссный — пытался очистить славянофильскую утопию от дворянских элементов, превращая ее в своего рода христианский популизм, созвучный с архаически-патриархальным мировоззрением крестьянских масс» (с. 335).

Казалось бы, в свете главной, «славянофильской» задачи книги, после представления мировоззренческой, идеологической и утопической граней славянофильства, можно было сразу приступить к анализу «великого русского мировоззренческого спора сороковых годов», спора славянофилов и западников. Но третья часть книги («Конфронтация») начинается «из глубины», с анализа отношения славянофилов к философии Гегеля.

Валицкий объясняет, почему не принесли успеха попытки «православных гегельянцев» К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина примирить славянофильские идеи с философией Гегеля. Все более и более выявлявшаяся непримиримость славянофилов к рационализму оказывалась несовместимой с гегельянством. Да и славянофильский идеал «внутренней гармонизации, основанной на полном согласии между внутренним и внешним существованием человека» был, подчеркивает Валицкий, совершенно чужд Гегелю, для которого «абсолютная гармония была равнозначна абсолютному застою» (с. 375). Антигегельянство славянофилов тем не менее хорошо укладывается в интеллектуальную жизнь Германии первой половины XIX в., полагает Валицкий.

Ключевой вопрос, который развел в противоположные стороны русских мыслителей 40-х гг., формулируется так. Если спор консервативных романтиков (и славянофилов в том числе) с Гегелем был прежде всего спором о рационализме, то спор славянофилов и западников стал прежде всего спором о лично-

сти. Ведь именно славянофильство «не только *ограничивало* автономию личности (как делал Гегель), но и *отрицало* ее в принципе» (с. 390).

Но и после этой констатации Валицкий не спешит с осмотром самого поля интеллектуальной схватки. Он углубляется в проблему генезиса западничества, предлагая характеристику феномена «лишних людей» в России, характеристику зародившегося в 30-е гг. гегельянства, выделения из него левогегельянства и увлечения философией Л. Фейербаха, вводит в контекст фигуры Н. В. Станкевича, М. А. Бакунина, В. Г. Белинского. А. И. Герцена, знакомит с содержанием их идейных исканий.

В главе «Славянофилы и западники» автор еще дальше отклоняется от главного, славянофильского русла своей книги. Позиция противников славянофильства наполняется решением ими таких проблем, как «старая» и «новая Россия», народность и национальность в литературе, индивид и народ, отношение к капитализму. И только после этого Валицкий подходит, наконец, к задаче прямого сопоставления двух идейных образований.

Автор отказывается от «обычного изложения или резюмирования конкретных полемик и дискуссий» 40-х гг. по канонам давно сложившейся исследовательской традиции. К этому шагу его подталкивало в немалой степени то обстоятельство, что публичных споров между двумя лагерями было сравнительно мало. Славянофилы, как известно, не имели в это время собственного,

регулярно выходящего печатного органа. Эффективно решить проблему сравнения можно было, приходил к убеждению Валицкий, только на пути «структуризации, конструирования “идеальной модели” обоих течений русской мысли в их взаимных отношениях — отношениях объективных, т. е. не зависящих от того, насколько они осознавались тем или иным участником спора» (с. 512). Построение такой «идеальной модели» (с. 512–519) — большое творческое достижение тогда еще молодого польского русиста.

Погружение в западническую проблематику, работа по созданию парной «идеальной модели» главных объектов исследования дали еще один неординарный результат концептуального свойства. Валицкий пришел к выводу, что западничество, как и славянофильство, являлось по преимуществу утопией. Они, утверждает исследователь, были «не столько двумя идеологиями, борющимися за конкретные, непосредственные и ограниченные цели, сколько двумя противостоящими друг другу утопиями, равно внеположными по отношению к российской действительности» (с. 516). Западничество определяется как утопия «либерально-демократическая», пытавшаяся направить Россию по капиталистическому пути. Нам еще предстоит вернуться к вопросу о степени убедительности такого решения.

Вот мы и подошли к заключительной части книги «Дезинтеграция славянофильства». Здесь Валицкий емко и точно определяет суть тех метаморфоз, которые претерпел

первоначальный, «классический» образ славянофильства. Российские политические реалии рубежа 50–60-х гг., потребовавшие от его теоретиков практического действия, нанесли ему тяжелейший удар: оно не смогло сохраниться как «гармоничное, целостное мировоззрение», антикапиталистическая утопия была принесена в жертву «непосредственным классовым», т. е. помещичьим интересам, а идеология оказалась всего лишь разновидностью дворянского либерализма. «Эпигоны славянофильства» — прежде всего И. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев — приняли на себя роль «главных идеологов» его правого крыла. Именно на этих фигурах сосредоточивает свое внимание Валицкий.

С именами Самарина и Кошелева связываются два течения внутри славянофильского либерализма — «антиконституционное» и «параконституционное» соответственно. Несколько особняком стоит Иван Аксаков как «наиболее влиятельный деятель панславизма» и «великодержавного национализма» — так определяет его позицию автор. Завершая их портреты, Валицкий, однако, не ставит еще последнюю точку в своей книге. Его интересует судьба славянофильского идейного наследства на протяжении всей второй половины XIX в., вопрос о том, имело ли оно своих продолжателей помимо прямых наследников — Самарина, Кошелева и Ивана Аксакова. Свою задачу в данном случае он понимает как «выделение и типологическую характеристику главных направлений, продолжавших собой славянофильство», выявление

«судьбы отдельных аспектов славянофильского учения» (с. 537–538). Все они персонифицированы и, как всегда у Валицкого, основательно отстроены.

Авторитет А. Валицкого среди специалистов по истории русской мысли заслуженно высок. В аннотации к книге его работа названа «классической», а сам автор удостоился определения «знаменитый» — с этими оценками надо согласиться. Но отсюда еще не следует, что все решения, предложенные в книге, должны приниматься как бесспорные, непререкаемые. Такая ситуация в науке трудно представима, тем более что речь идет о пусть даже выдающейся, но все-таки первой работе автора на русскую тему.

А начать явно запоздавшую полемику с мэтром придется с вопроса о соответствии названия книги ее содержанию. Кажется, странный вопрос. Но именно он начинает тревожить, когда вслед за автором погружаешься в западническую тему, капитально, как мы могли убедиться, представленную в работе. Никак не отделаться в данном случае от сомнений в точности отражения в названии книги ее действительного содержания. Масштабный экскурс в классическое западничество никак не помещается в «кругу консервативной утопии».

Ближе к истине все-таки будет признание внеположности этого идейного течения относительно своего главного антагониста. Ведь и для самого Валицкого славянофильство и западничество — это «противостоящие друг другу утопии» (с. 46).

У него нет никаких сомнений в том, что «главные ценности, лежавшие в основе западничества, и прежде всего идея автономной личности, кристаллизировались независимо от славянофильства, т. е. вне славянофильства как отрицательной системы соотнесения» (с. 518).

В концепции Валицкого присутствует еще один спорный момент — трактовка западничества не только как идеологии, но и утопии. Утопии западников, как уже было отмечено, он дает определение «либерально-демократическая». Укрепившись в мысли, что западничество трансцендентно современной ему России, Валицкий тем не менее не однажды дает повод сомневаться в доказательности своего заключения. Ведь рефреном в разработке западнической темы звучит указание на то, что идеологи этой группы выступали за «буржуазный путь развития» России. И с этим нельзя не согласиться. Но присутствовало ли тогда что-то утопическое в их установке на капиталистическую трансформацию страны в 40-е гг., если уже в следующем десятилетии Россия приступила к подготовке Великих реформ 60-х гг.? Автор не задается этим вопросом.

Кажется, и сам Валицкий вынужден был все-таки признать неубедительность собственного утверждения об утопизме западнической идеологии — иначе он не отказался бы от него в характеристике этого идейного течения, предложенной им в «Истории русской мысли от Просвещения до марксизма» (эта книга появилась спустя девять лет после выхода «Консервативной

утопии»). В трактовке славянофильства он несколько не отступает здесь от «духа и буквы» первого исследования — оно для него по-прежнему является «консервативной утопией». Западничество же, получив прежнюю маркировку «либеральное и демократическое», наглухо отгорожено от каких-либо проявлений утопического. Очень выразительна в этом плане оценка, которую получает мышление Белинского. «Белинский, — пишет автор «Истории русской мысли», — ясно понимал основные противоречия капитализма и его переходный характер, но он понимал и превосходство капитализма как социальной системы над полуфеодальной Россией Николая I. Это его *трезвое понимание* (выделено мной. — В. К.) — так же как последовательность в желании увидеть проведение буржуазно-демократических реформ в России в качестве завершения процесса модернизации — положительная сторона западничества Белинского. Это подчеркивал Плеханов, когда писал, что Белинский обладал «интуицией социологического гения» и глубоким пониманием принципов общественного развития» (Валицкий 2013: 162).

Здесь будет вполне к месту вспомнить о том, что «в кругу консервативной утопии» имеет своеобразное «продолжение». Ведь этот труд подтолкнул В. Г. Щукина к написанию первой в историографии русской мысли XIX в. специальной работы о западничестве в целом. Речь идет о книге «Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление», вышедшей в издательстве

Ягеллонского университета в Кракове в 1987 г. Хорошо прочитывается задача, которая стояла перед автором, — вывести это идейное течение из «круга» славянофильства, в котором оно оказалось под пером Валицкого, и показать, что именно западничество было ведущим направлением общественной мысли 40-х гг. XIX в., тогда как славянофилы «остались в стороне от магистральной линии» ее развития (Щукин 2007: 135).

Испытывая пиетет перед Валицким-исследователем, Щукин поначалу признал правоту его взгляда на западничество как утопию. Правда, тут же оговорился: утопизм западников, по его мнению, был все же «относительным», и «его значение не следует преувеличивать». «Утопический реализм — так можно кратко определить мироотношение западников», — сформулировал он свою позицию в этом вопросе (Там же: 55). Однако к концу исследования внутренняя равновесность этой формулы была все-таки нарушена в пользу «реализма». В «Заключении» говорится: «самая большая» заслуга западничества — «это *реализм*, который западники настойчиво прививали русскому обществу» (Там же: 136).

Как уже отмечалось, трем классикам русской литературы XIX в. в их отношениях с идеями западников (И. С. Тургенев) и славянофилов (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой) уделено в книге Валицкого немало места. Но загадкой остается отсутствие в этой группе автора «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя — человека

совсем не чужого в славянофильском кругу 40-х гг. Ведь в этом произведении можно найти немало точек притяжения и отталкивания относительно системы славянофильских взглядов. Да и реакция самих славянофилов на гоголевский вариант консервативной утопии, который был явлен в 1847 г., представляет в свете задач, стоявших перед Валицким, немалый интерес.

На обложке книги помещен портрет Ивана Аксакова кисти И. Е. Репина. Но вот ирония случая, вот незадача! Именно в портретировании центральной фигуры пореформенного славянофильства Валицкий, как мне представляется, несет наибольшие потери, если сравнивать его результат с характеристиками Кошелева и Самарина. Автор не видит смысла в том, чтобы «излагать здесь идейное содержание семитомного “Собрания сочинений”» (с. 569). Ему кажется достаточным назвать две важнейшие доминанты, определявшие идейный облик Аксакова-мыслителя и публициста — движение в сторону панславизма, сопровождавшееся отказом от «самых умеренных проявлений политического либерализма», и «упорное следование “букве” славянофильства при почти полном, хотя и не осознаваемом отказе от антикапиталистического духа славянофильской утопии» (с. 567–568). В таком случае встает вопрос: не исчезают ли при этом из виду другие важные проявления его социально-политического мышления в 60–80-е гг.?

Автор уверен в том, что Иван Аксаков, в отличие от своего брата, «не был оригинальным мыслителем

и не внес в славянофильство каких-либо новых элементов» (с. 567). Однако на самом деле это далеко не так. Аксаковская теория «общества», созданная в начале 60-х гг., существенно дополняла двучленную историко-социологическую схему старшего брата «народ — государство». Разве исторические обстоятельства возникновения этой теории, ее содержание и судьба в 70–80-е гг. не заслуживали внимания автора, столь обстоятельного и глубокого в анализе историософии и социологии Константина Аксакова?

Имеется немало и других важных тем в богатейшей публицистике Ивана Аксакова. Их разработка выводит его далеко за рамки предложенной Валицким схемы. Поэтому и невозможно принять представление всех аксаковских изданий как «панславистских». Ошибки же в обозначении длительности издания газет «Парус» и «День» еще более усугубляют недочеты аксаковского портрета.

Книга задумывалась Валицким как новое слово в историографии славянофильства. Ему предстояло, как он говорит в «Предварительных замечаниях», уйти от традиционного описательного биографизма, попыток всего лишь проиллюстрировать «некие теоретические обобщения». Автор нацеливался на то, чтобы с помощью не опробованных применительно к славянофильству понятий и приемов «исследовать и воссоздать комплекс идей», без которого «нельзя понять русскую интеллектуальную историю XIX века» (с. 32). В таком случае на первое

место в методологии выходили процедуры типологизации, структуризации эмпирического материала, моделирования. И они дали, бесспорно, впечатляющий результат. Но дело не могло обойтись здесь и без заметных издержек. Суть их — в неизбежном схематизме, утрате значимых фрагментов конкретики, дистанцировании от деталей и оттенков. Эти минусы и дают главным образом материал для критических замечаний.

Но совершенно очевидно и то, что в руках историков «традиционалистов», к числу которых относит себя и автор этих заме-

ток, оказался теперь уже вполне доступный труд, без учета результатов которого нельзя представить себе движение вперед в изучении истории общественной мысли России XIX в.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Валицкий 2013 — *Валицкий А.* История русской мысли от Просвещения до марксизма. М.: Канон, 2013. 480 с.

Щукин 2007 — *Щукин В.Г.* Русское западничество сороковых годов XIX века как общественно-литературное явление // *Щукин В.Г.* Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М.: РОССПЭН, 2007. С. 5–156.

IN THE CIRCLE OF ANDRZEJ WALICKI'S IDEAS

Rev.: Valitskii A. V krugu konservativnoi utopii. Struktura i metamorfozy russkogo slavianofil'stva, per. s pol'sk. K. Dushenko. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2019. 704 p.

Kitaev Vladimir A. — doctor of historical sciences, professor of the Department of Information Technologies in the Humanities, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod)

Key words: Russian social thought in the nineteenth century, Slavophilism, Westernism, worldview, ideology, utopia, Conservatism.

Abstract. The concept of Slavophilism proposed in the book by A. Valitsky is analyzed.

REFERENCES

Shchukin V. G. Russkoe zapadnichestvo sороkovykh godov XIX veka kak obshchestvenno-literaturnoe yavlenie, in: Shchukin V. G. *Rossiyskiy geniy prosveshcheniya. Issledo-*

vaniya v oblasti mifopoetiki i istorii idey. Moscow: ROSSPEN, 2007. pp. 5–156.

Walicki A. *Istoriya russkoy mysli ot Prosveshcheniya do Marksisma.* Moscow: Kanon, 2013. 480 pp.

А. И. Пиреев

Рец.: Дмитриева О. Н. Народоволец Степан Григорьевич Ширяев. Саратов, 2017

Ключевые слова: Россия, народники, террор, идеология, «Народная воля».

Аннотация: Рецензируется монография О. Н. Дмитриевой, посвященная русскому революционеру, народнику С. Г. Ширяеву.
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-292-297

Изучение истории русского народничества имеет давнюю традицию. По оценкам специалистов, первые попытки осмысления причин и особенностей движения народников относятся к середине 1870-х гг. (Тюкачев 2013). С тех пор и до сего дня история темы не раз испытала парадоксальные кульбиты национальной общественно-политической мысли: от идеализации «тираноборцев и народолюбцев» до анафемы «террористам и царевубийцам».

Краткий ренессанс аналитического осмысления идеологии и практики освободительного движения последней четверти прошлого столетия в постсоветской России сменился волной «огульного отрицания и глумления» (Освободительное движение 1999: 16) над идеями революционной демократии¹. Нельзя сказать, что общественный интерес к феномену народничества канул в Лету. Количество публика-

ций, документальных и художественных фильмов о революционерах пореформенной России, особенно о партии «Народная воля» и трагической судьбе Александра II, существенно возросло. Но, увы, при этом значительно снизилось качество исследовательской мысли. Во многих случаях научный дискурс подменяется карикатурой на революционно-демократическое движение и его лидеров. Хорошим тоном стало не просто критиковать слово и дело народников (это было и ранее), но предавать их анафеме. Научные статьи и сборники, а то и солидные на вид монографии о народниках (и не только о них) изобилуют грубыми ошибками, очень вольной трактовкой событий и фактов, конспирологическим суесловием и поношением самой идеи революции.

К счастью, наряду с модными опусами à la Радзинский выходят в свет и подлинно научные труды о народниках. Отмечу хотя бы блестящие исследования о «царевубийце» Софье Перовской (Троицкий 2014), «ренегате» Л. А. Тихомирове (Пенников, Милевский 2011), народнике и крупном ученом Д. А. Клеменце (Милевский, Панченко 2017). В этом

© А. И. Пиреев, 2019

Пиреев Артур Иванович — кандидат исторических наук, доцент, Государственный архив Саратовской области, начальник отдела публикаций и использования документов Государственного архива Саратовской области (ГАСО) (Саратов); arturpireevi@yandex.ru

¹ Подробнее см.: (Милевский 2016; Тюкачев 2013).

ряду находится и монография саратовского историка О. Н. Дмитриевой о народолюбце Степане Ширяеве.

Несмотря на неоднократные преждевременные «похороны», жанр научной биографии живет и будет жить, пока существует историческая наука, пока сохраняется интерес к человеку в истории.

Замечу, что перед автором рецензируемого издания стояла непростая задача. Жанр научной биографии специфичен и требует очень высокого уровня профессионализма и владения материалом. Быть может, по этой причине деятели «Народной воли», за исключением А. И. Желябова, С. Л. Перовской и немногих других, не были удостоены отдельного жизнеописания. Казалось бы, немного интересного можно почерпнуть и в биографии С. Г. Ширяева: революционер-народник, основатель партии «Народная воля», создатель динамитной мастерской и организатор трех покушений на императора Александра II. Погиб в застенках 23 лет от роду — все это можно уместить в двух абзацах словарной статьи. Отрадно, что О. Н. Дмитриевой удалось разрушить этот стереотип.

Саратовская исследовательница ввела в научный оборот обширный комплекс источников из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, капитально проштудировала специальную литературу, отметив неточности, а то и явные ошибки, касающиеся биографии Ширяева, движения народников, времени создания революционных кружков

и обстоятельств их деятельности в Саратове.

В первой главе автор монографии на основе документов Государственного архива Саратовской области (ГАСО) и Саратовского областного музея краеведения (СОМК) проанализировала семейное воспитание, школьные годы, характер и увлечения своего героя. О. Н. Дмитриевой удалось вписать детство, отрочество и юность Степана Ширяева в исторический контекст пореформенной России.

Крупный центр Нижнего Поволжья, Саратов был, пожалуй, одним из наиболее своеобразных городов империи. В характере, традициях, повседневной жизни его обитателей удивительным образом сочетались провинциальная рутинная и бунтарский дух, приверженность к старине и стародавняя, со времен Разина и Пугачева, склонность к крамоле, вольномыслию. С. Г. Ширяев в этом отношении оставался верным сыном и своего бурного времени, и своего мятежного края.

Выходец из большой (пятеро детей) крестьянской семьи, Степан Григорьевич с юных лет зарабатывал на жизнь собственным трудом². Став лучшим учеником гимназии, он ради заработка давал уроки, стремясь обеспечить образование младшим братьям (с. 44).

На примере школьных лет жизни своего героя О. Н. Дмитриева убедительно показала, как новые идеи,

² Здесь и далее в круглых скобках приводятся номера страниц рецензируемого пособия.

порой наспех усвоенные и плохо понятые русской молодежью, стремительно разлагали вековой патриархальный уклад «матушки Руси». Главное, что избежать этого спонтанного, неконтролируемого освобождения молодой России от ветхих догм было невозможно: нерассуждающая верноподданность и «страх Божий» уходили в прошлое. Собственно, в прошлое под натиском капитала, Просвещения, новейших научных и общественно-политических идей постепенно уходила вся прежняя жизнь. С.Г. Ширияев типичный представитель поколения романтиков-идеалистов, для которого идеи справедливости и народного блага были реальностью, а не «фигурой речи». Активное участие умного, интересующегося социальными вопросами гимназиста Ширияева в ученическом революционном кружке, изучение нелегальной литературы и контакты с народниками были естественным итогом его быстрого интеллектуального и нравственного развития (с. 48–51). Как, впрочем, и многих других его сверстников. Ведь именно молодежь была, что называется, «питательной средой для крамолы». А.М. Лавренова, большая поклонница русской жандармерии, умозаключает: «юные лета отнюдь не были порукой тому, что антиправительственно настроенный молодой человек не встанет на путь террора», а потому «приобретение агентуры среди гимназистов, очевидно, имело некоторый смысл» (Лавренова 2019: 38). Т.е. вербовка полицией тайных осведомителей среди учащейся молодежи, по мнению автора этого перла, не только допустима, но и необходима в це-

лях государственной безопасности. Нет смысла комментировать подобные суждения и убеждения. Замечу лишь, что тайная агентура и доноительство в итоге не спасли российское самодержавие.

Автор монографии обстоятельно, аргументированно и очень убедительно доказывает, что Степан Ширияев вовсе не был террористом, что называется, «с молодых ногтей». Дело в том, что, как справедливо заметила О.Н. Дмитриева, «революционная молодежь тех лет была в массе своей бакунинской», убежденной, что «очищение от скверны» неминуемо и в ближайшее время произойдет в форме социального взрыва. Однако саратовские гимназисты, и в их числе С.Г. Ширияев, пошли за П.Л. Лавровым (с. 54–55), по мнению знатока народничества В.Я. Богучарского, «наиболее культурным течением» в революционной идеологии тех лет (Богучарский 1912: 131).

Сочинения Лаврова, идеи *мирной* пропаганды социализма на долгие годы определили «путь, истину и жизнь» Ширияева, определив его судьбу.

В 1873 г. он, гимназист 6-го класса, подвергся кратковременному аресту, а два года спустя был вынужден уйти из гимназии и вскоре эмигрировать (с. 64).

В Лондоне Ширияев познакомился с П.Л. Лавровым, Г.А. Лопатиным, многими другими русскими и польскими революционерами, на короткое время увлекся идеями европейских анархистов. О.Н. Дмитриева

очень хорошо показала поиски Ширияевым политического мировоззрения, способного принести пользу родине. Вообще в первой главе монографии (с. 28–77) автору удалось превосходный анализ формирования «личности народника» Степана Ширияева, эволюции его взглядов и причин того, как и почему наивный юноша становится убежденным революционером.

В 1878 г. Ширияев вернулся в Россию «не мальчиком, но мужем», политическим бойцом, твердым сторонником уничтожения политического режима самодержавной России. Отныне для него делом всей жизни становится поиск наиболее эффективных средств и методов борьбы с властью. По верному наблюдению О. Н. Дмитриевой, народник Ширияев был не теоретиком, а практиком революционного дела. Энергичный и деятельный, он на дух не переносил бесплодных рассуждений, предпочитая конкретную работу. Вместе с тем, как показано в монографии, Ширияев, не имея университетского образования, был одним из немногих, кто, преодолев анархистские идеи бакунистов, пришел к выводу о «необходимости демократизации общественной жизни, конституции, народовластия и гражданских прав» (с. 170). Осознание необходимости политических свобод для прогрессивного развития страны и было главной причиной создания первой в истории России политической партии — «Народной воли», одним из основателей которой, наряду с А. И. Желябовым, С. Л. Перовской, А. Д. Михайловым, был и С. Г. Ширияев. Борьба за гражданские и политические права (о чем неоднократно

заявляли народовольцы) была главной целью партии. Террор же был лишь крайним средством борьбы за политические свободы. Как заявил Ширияев в своей речи на процессе 16-ти в октябре 1880 г.: «цель партии не может быть осуществлена убийствами <...> работать для этой цели <...> можно на многих путях мирного характера» (Архив «Земли и воли» 1932: 147–148).

Отношение к террору самих деятелей «Народной воли», а тем более их современников и потомков — вопрос сложный и дискуссионный. Думается, что и саратовская исследовательница не определилась окончательно со своим отношением к террористической деятельности Ширияева. Она невольно упрощает суть дела, полагая, что Ширияев «видел в нем (терроре) лишь орудие мести и самозащиты» (с. 171). Вряд ли Ширияев, человек, бесспорно, умный, суживал назначение террора до акта возмездия власти за гибель товарищей и только. Ведь сама О. Н. Дмитриева верно отмечает, что «народовольцы рассматривали террор как средство дезорганизации правительства, которая помогла бы начавшемуся восстанию и облегчила бы победу народа» (с. 146). Логично предположить, что создатель динамитной мастерской вполне разделял и поддерживал эту установку партии.

На примере биографии Ширияева, организатора динамитной мастерской и трех покушений на императора Александра II, исследовательница парадоксальным образом, но строго на документальной основе, доказывает, что

исполнительный комитет «Народной воли» не абсолютизировал террор. Да, увлечение террором, как показала история, было ошибкой революционеров, но «рабье молчание», холопская привычка безропотно сносить любое насилие над личностью человека есть, по мысли народолюбцев, преступление перед будущим страны. Ярким представителем такого мировоззрения был С. Г. Ширяев.

Можно согласиться с точным и верным замечанием известного историка С. В. Тютюкина, что «если нам не нужны новые революции, то это не значит, что мы не должны изучать историю освободительного движения и историю российских революций. Скорее, наоборот» (Освободительное движение 1999: 18). Биография Степана Григорьевича Ширяева, народника-идеалиста, мечтавшего о построении «царства мира, правды и свободы на земле», яркая страница в летописи освободительного движения. Монография О. Н. Дмитриевой написана прекрасным литературным слогом, издана в хорошем полиграфическом исполнении, содержит интересные и яркие иллюстрации, дополнена приложением с архивными материалами. Уверен, что это исследование заслуживает внимания не только специалистов, но и тех, кто по-настоящему интересуется историей России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Архив «Земли и воли» 1932 – Архив «Земли и воли» и «Народной воли». М., 1932. С. 147–148.

Богучарский 1912 – *Богучарский В. Я.* Активное народничество семидесятых годов. М., 1912.

Лавренова 2019 – *Лавренова А. М.* Гордость и предубеждение и «охранка»: политический сыск в современной российской историографии // История и архивы. 2019. № 1. С. 30–47.

Милевский 2016 – *Милевский О. А.* «Бомбисты» – разрушители или тираноборцы: «Народная воля» в оценках современных российских историков // Освободительное движение в России. 2016. Вып. 25. С. 26–41.

Милевский, Панченко 2017 – *Милевский О. А., Панченко А. Б.* «Беспокойный Клеменц»: опыт интеллектуальной биографии. М., 2017.

Освободительное движение 1999 – Освободительное движение в России: современный взгляд или приверженность традициям? Круглый стол // Отечественная история. 1999. № 1 С. 3–18.

Репников, Милевский 2011 – *Репников А. В., Милевский О. А.* Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011.

Троицкий 2014 – *Троицкий Н. А.* Софья Львовна Перовская. Жизнь. Личность. Судьба. Саратов, 2014.

Тюкачев 2013 – *Тюкачев Н. А.* Революционное народничество в российской историографии 1990-х гг. // Народники в истории России. Межвуз. сб. научн. трудов. Воронеж, 2013. Вып. 1. С. 40–58.

Rev.: Dmitrieva O. N. Narodovolets Stepan G. Shiryayev. Saratov, 2017

Pireev Artur I. – candidate of historical sciences, head of the Department of Publications and Use of Documents of the State Archive of the Saratov Region (GASO) (Saratov)

Key words: Russia, populists, terror, ideology, “Narodnaya Volya”.

Abstract. The monograph of O. N. Dmitrieva, dedicated to the Russian revolutionary, populist S. G. Shiryayev.

REFERENCES

- Arkhiv «Zemli i voli» i «Narodnoy voli».* Moscow, 1932.
- Bogucharskiy V.YA. *Aktivnoye narodnichestvo semidesyatykh godov.* Moscow, 1912.
- Lavrenova A. M. Gordost' i predubezhdeniye i «okhranka»: politicheskiy sysk v sovremennoy rossiyskoy istoriografii. *Istoriya i arkhivy*, 2019, no. 1, pp. 30-47.
- Milevskii O.A. "Bombisty" — razrushiteli ili tiranobortsy: "Narodnaia volia" v otsenkakh sovremennykh rossiiskikh istorikov. *Osvoboditel'noe dvizhenie v Rossii*, 2016. Vyp. 25, pp. 26–41.
- Milevskiy O.A., Panchenko A. B. *«Bespokoyunny Klements»: opyt intellektual'noy biografii.* Moscow, 2017.
- Osvoboditel'noye dvizheniye v Rossii: sovremennyy vzglyad ili priver-zhennost' traditsiyam? «Kruglyy stol. Otechestvennaya istoriya», 1999, no. 1, pp. 3-18.
- Repnikov A.V., Milevskii O.A. *Dve zhizni L'va Tikhomirova.* Moscow, 2011.
- Troitskii N.A. *Sof'ia L'vovna Perovskaia. Zhizn'. Lichnost'. Sud'ba.* Saratov, 2014.
- Tyukachev N.A. Revolutionary populism in Russian historiography of the 1990-s. *Populists in the history of Russia. Mezhvuz. Ser. scientific works.* Voronezh, 2013. Vol. 1, pp. 40-58.

А. В. Свешников**БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ КАРЛ...**Рец.: *Чернявский С. Н.* Империя Каролингов: Рождение Запада. М.: Вече, 2018. 352 с.*Ключевые слова:* Средние века, Карл Великий, Людовик Благочестивый, медиевистика, историография, folk-history*Аннотация.* Статья представляет собой рецензию на монографию С. Н. Чернявского «Империя Каролингов: Рождение Запада». В статье показывается, что данная монография является типичным примером так называемого folk-history. Автор монографии слабо знаком с современными научными исследованиями избранной темы, а методологическая база работы вызывает серьезные возражения
DOI 10.31754/2409-6105-2019-3-298-303

В 2018 г. в московском издательстве «Вече» заметным по нынешним временам тиражом в 800 экземпляров вышла книга Станислава Николаевича¹ Чернявского «Империя Каролингов: рождение Запада». Это событие привлекло мое внимание не только потому, что С. Н. Чернявский, являющийся достаточно плодовитым автором (из-под его пера вышло около 25 «исторических книг» по самым разным темам мировой истории от Владимира Мономаха до Александра Македонского), впервые обратился к истории западного Средневековья, но и

потому, что он в свое время учился вместе со мной на одном курсе исторического факультета Омского государственного университета. В студенческие годы мы не были друзьями, но отношения между нами были по-человечески совершенно нормальные. Потом Станислав Николаевич ушел в политику и журналистику, работал в команде депутата О. Н. Смолина, и я потерял его из виду. И вот совсем недавно обнаружил, с некоторым удивлением для себя и интересом, что мой бывший однокурсник является автором нескольких десятков исторических произведений. Движимый этим интересом, я взялся читать его книгу про Каролингов.

Знакомство с текстом книги оставляет однозначное впечатление. Автор,

© А. В. Свешников, 2019

Свешников Антон Вадимович — доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск); pucholik@rambler.ru

рассматривая историю Франкского государства и уделяя основное внимание, естественно, фигурам Карла Великого и Людовика Благочестивого, достаточно подробно в форме хронологически ориентированного нарратива реконструирует последовательность политических (в первую очередь его внимание привлекают войны) событий. Потрясающих открытий здесь нет, и приходится констатировать, что перед нами типичный пример не «радикально-дикого», а, справедливости ради следует признать, «достаточно цивилизованного» folk-history.

Сам автор, впрочем, знает о существовании такого явления и сознательно от него отрекается. По его собственным словам, его книги представляют собой написанные доступным языком «исследования», основанные на широкой источниковой базе и оригинальном теоретическом фундаменте. Однако с этим утверждением вряд ли можно согласиться.

Во-первых, фигуры франкских королей и императоров достаточно давно и заслуженно привлекают к себе внимание профессиональных исследователей, в первую очередь западноевропейских, хотя не только их. Существует огромный корпус литературы на многих языках, посвященной различным аспектам деятельности того же Карла Великого. Да и его сын не обделен вниманием историков. Так вот — в книге С.Н. Чернявского об этой литературе даже не упоминается. Совсем! Как и тексты средневековых хроник автор использует только в русских переводах. Ни одной на языке ори-

гинала. Зарубежной научной литературы для С.Н. Чернявского в принципе не существует. Да что там иностранные книги и статьи! Огромное количество работ на русском языке (как написанных отечественными медиевистами, так и переводных) тоже прошли мимо автора. В частности, С.Н. Чернявский почему-то упорно игнорирует работы крупнейшего современного отечественного специалиста в изучении этой проблематики А.И. Сидорова (см., напр.: (Сидоров 2001; 2003; 2006)). Создается впечатление, что автор не знает, что есть такой жанр научной литературы, как статья. Нет, определенный список использованной литературы в книге присутствует. Но он производит очень странное впечатление. Объяснить его содержание можно только случайностью и произвольным выбором автора. Видимо, в этот список включены в основном те книги, которые либо стояли на книжной полке автора, либо случайно попались ему на глаза. Библиографическое описание этих книг тоже вызывает, мягко говоря, недоумение.

И это не досадная «недоработка». Это сознательная позиция автора. Вспоминая мимоходом о времени нашей учебы в университете, он пишет: «Была целая наука в науке, застывшая в развитии; нам и в 1990-е годы преподавали спецкурс, как правильно оформлять сноски и библиографические карточки. Впрочем, в наше время всеобщего шарлатанства никому верить нельзя, и сноски, сделанные без излишеств и не мешающие читать основной текст, все же необходимы» (с. 136). Автор прав, историческую библиографию нам действительно читали, только это было в 1989 г.

и в формате не спецкурса, а общего курса, но из университета каждый выносит то, что хотел и смог вынести, Станислав Николаевич вынес пренебрежение к консервативным и ритуализированным правилам игры профессиональной академической науки, душащим, по его мнению, «живую мысль»².

Из современных зарубежных историков внимания С. Н. Чернявского удостоился только Дитер Хэгерманн, книга которого была в 2000 г. переведена на русский язык. И внимание это весьма специфично³. «Хэгерманн — законченный либерал и сторонник капитализма с его рыночной моделью и социал-дарвинизмом. Ученый со своими взглядами запрограммирован четко, как машина, и мыслить диалектически вообще не умеет; доказательства узкологичности щедро разбросаны по всему тексту книги. У нас в России столь консервативные персонажи встречались разве что на закате советской эпохи после всех интеллектуальных битв и дискуссий, когда историческая наука превратилась в довольно скучную догматическую и окостенелую конструкцию, где живая мысль подменялась набором цитат, а ценность книги определялась по объему, количеству и правильному оформлению сносок да по толщине (! — А. С.) списка литературы в конце работы. Иногда не обращали внимание даже на ее содержание: тощий список литерату-

ры, значит, книга игнорировалась (а среди таких книг встречались настоящие шедевры, которые с удовольствием перечитываешь даже сейчас)» (с. 135–136). А с такой литературой, действительно, зачем считаться!⁴

В результате все последние достижения исторической науки в изучении этой проблематики, накопленные ею за последние тридцать лет, прошли мимо автора и никак не отразились на содержании книги. В частности, он по-прежнему, подобно авторам столетней давности, изображает Людовика Благочестивого «слабым» набожным человеком, оказавшимся неспособным сохранить империю, полученную в наследство от великого отца, хотя в медиевистике уже давно пересмотрен этот тезис.

Не известно ему и современное наполнение термина «поздняя Античность». Он не знает о сохранении в меровингской Галлии крупных земельных владений галло-римской аристократии, продолжавшей играть большую политическую роль в жизни общества. Его герои живут в мире «раннего феодализма», а сам термин «феодализм» автор использует безо всяких сомнений, даже не подозревая о том, что в современ-

⁴ Впрочем, и критически настроенного читателя С. Н. Чернявский тоже не жалует, защитившись, таким образом, от критики со всех сторон. Говоря о восприятии своей книги, посвященной Юстиниану Великому, автор пишет: «Правда, некоторые читатели монографии так и не смогли понять ее смысла. Они хорошо впитывали второстепенные вещи. <...> Но как только текст работы становился более сложен и выходил за рамки, которые преподают (! — А. С.) на кафедрах вузов в рамках стандартного курса истории Средних веков — понимание читателей закончилось. Тем хуже для них» (с. 283).

² Сам иногда от них страдаю.

³ Более положительной оценки автора удостоиваются «несомненный бельгийский патриот» А. Пиренн (с. 141) и «холодный скептический британец» Дж. Норвич (с. 256), труды которых автору известны так же в русскоязычных переводах.

ной медиевистике он давно является предметом критических дискуссий.

Политические процессы, протекавшие в Европе VII–VIII вв., С. Н. Чернявский рассматривает как результат деятельности правителей (великих и не очень), реализующих свои планы. Они — творцы истории! За редким исключением, монархи в интерпретации Чернявского действуют в пустоте, соотносясь только с объективным ходом истории и геополитической необходимостью. Более того, правители, подобно Юстиниану Великому, могут сделать сознательный выбор пути развития общества между феодализмом, этатизмом и... коммунизмом (с. 283)! Естественно, это связано с тем, что современные исследования по политической и социально-культурной истории франкских аристократических родов и их роли в политических процессах С. Н. Чернявскому попросту не известны.

Во-вторых, автор, казалось бы, «идет от источника», но как уже говорилось, под источниками он понимает переводы средневековых документов (преимущественно нарративных текстов) на русский язык⁵. Другие источники ему не известны. При этом ни авторов, ни редакторов переводом С. Н. Чернявский не считает достойными упоминания. С подобной, вполне объяснимой позицией автора вряд ли можно согласиться. Переводы текстов письменных источников, сами по себе являющиеся, кроме всего прочего, результатом интерпретации, предложенной автором

перевода, очень важны, они могут быть использованы для знакомства с общим содержанием текста, могут помочь в преподавании, но в качестве источниковой базы для проведения конкретно-исторического исследования они вряд ли годятся.

И, соответственно, огромное количество источников, введенных в научный оборот, но не переведенных на русский язык, автору попросту не известно.

В-третьих, теоретической основой для анализа политических процессов, протекавших в Западной Европе в VIII–IX вв., служит синтез «нелинейной теории формаций» с теорией этногенеза Л. Н. Гумилева! На полном серьезе. В библиографическом списке работ Гумилева больше, чем трудов любого другого историка. И не только в списке. Его идеи в качестве основы интерпретации присутствуют и в тексте работы. Автор, например, говорит о том, что: «Во-первых, через Аквитанию прошла ось гипотетического пассионарного толчка VIII века. Во-вторых, на это наложился “генетический дрейф” пассионарности» (с. 313). Или: «Столкнулись две империи, почти равные по силам: Болгарский каганат и Западный Рим. Франки впервые встретились с таким противником. До этого они разрушили прогнившее сквозь королевство лангобардов, проглотили реликт Великого переселения народов — Баварию, и лишь в Саксонии неожиданно для себя наткнулись на сопротивление, ибо через это герцогство (! — А. С.), видимо, прошла ось пассионарного толчка, затронувшего скандинавов, франков, испанцев» (с. 255). Ну и кульминация: «По

⁵ В частности, он активно использует переводы, размещенные на сайте «Восточная литература».

мнению Л. Н. Гумилева, как раз тогда случился пассионарный толчок, породивший новые этносы: испанцев, французов, немцев, скандинавов. А затем, в результате генетического дрейфа, и итальянцев. Сложилась современная Европа, и это очень важно. Можно отрицать наличие пассионарных толчков, но то, что происходят этнические мутации, и в результате рождаются новые этносы, несомненно. Новый этнос словно получает заряд, которого хватает на тысячу — полторы тысячи лет. Практически одновременно с Гумилевым это поместили немец Шпенглер и британец Тойнби. Значит, если мы правильно датировем рождение западного мира временем Карла Великого, сегодня жить этому миру осталось лет триста или даже меньше. Сейчас он переживает сытую “золотую осень”, потом наступят сумерки, старческий маразм и смерть, ибо в мире нет никого и ничего вечного, как бы ни хотелось многим считать по-другому» (с. 34).

Тут, как говорится, без комментариев.

Справедливости ради, не могу не признать, что во времена нашего с автором обучения на историческом факультете ОмГУ периодически приходилось слышать о плодотворности идей Л. Н. Гумилева или А. Дж. Тойнби. Попытки расставания с советским большим нарративом были очень болезненны. Но историческая наука не стоит на месте, даже в провинциальных вузах, а С. Н. Чернявский из этого движения выпал.

Нет, конечно, он знает, что теорию Л. Н. Гумилева критикуют, но счи-

тает эту теорию единственно продуктивной. «Можно сколько угодно долго и уныло критиковать теорию Л. Н. Гумилева, но объяснить подобные метаморфозы этносов не в состоянии на сегодня никто, кроме него» (с. 276).

В-четвертых, описания средневековых событий дополняются, как, надеюсь, уже стало понятно, авторскими «лирическими» или, лучше сказать, идеологическими отступлениями. Вот еще несколько типичных примеров таких отступлений. Анонсируя рассмотрение правления Людовика Благочестивого как неудачного, С. Н. Чернявский пишет: «Всякий современный президент-неудачник пытается объяснить санкции, которыми обвешана его страна, проигранную гибридную войну или экономический спад объективными причинами и происками врагов. Но тогда получается, что государством может править любая кухарка уже сейчас. Никакого искусства в этом нет. Или есть? Тогда неспособный правитель должен уйти, а не цепляться за власть десятилетиями, выращивая целое поколение людей, которое не ведает иной власти и не может попробовать на вкус опасность политической борьбы группировок, падение кабинета министров, досрочных парламентских выборов» (с. 143). И в то же время: «Романо-германская цивилизация доселе жива, жестока, агрессивна и, несмотря на неизбежно надвигающийся “кризис возраста”, одерживает победы» (с. 5). Или, говоря вслед за Эйххардом о любви Карла Великого к Августину, Чернявский мимоходом замечает: «Западные европейцы вообще полюбят Августина. Его доктрина

предопределения войдет в кровь и мозг европейцев» (с. 122). Близко к этому по стилю и лихое объяснение иконоборческой политики византийских императоров: «Видимо, цари принадлежали к числу семитов, а в психологии этих народов заложен отказ от изображения человеческого тела и животного мира» (с. 29).

Вот такое вот «историческое исследование».

Понятно, что «казус Чернявского» напрямую связан с неким «системным сбоем» механизма коммуникации между профессиональным историческим сообществом и «публикой», читателем-неспециалистом в ситуации постправды. В этом сбое оказываются задействованы и коммерческие издательства, нуждающи-

еся в авторах «исторических книг», адресованных широкому читателю. Но вдруг в результате этого самый обычный читатель, интересующийся западноевропейским Средневековьем, подумает, что именно так сейчас «думают историки»? Тогда, действительно, «зачем»?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Сидоров 2001 — *Сидоров А.И.* Каролингская аристократия глазами современников // Французский ежегодник за 2001 г. М., 2001. С. 36–53.

Сидоров 2003 — *Сидоров А.И.* Организация власти во Франкском королевстве в VIII–IX вв. // Средние века. Вып. 64. М.: Наука, 2003. С. 3–34.

Сидоров 2006 — *Сидоров А.И.* Отзвук настоящего. Историческая мысль в эпоху каролингского возрождения. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2006.

POOR, POOR CARL...

Rev.: Cherniavskii S. N. Imperiia Karolingov: Rozhdenie Zapada. Moscow: Veche, 2018. 352 p.

Sveshnikov Anton V. — Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of General History of Omsk State University. F. M. Dostoevsky (Omsk)

Key words: Middle Ages, Charlemagne, Louis the Pious, medieval studies, historiography, folk-history

Abstract. The article is a review of the monograph of S. N. Cherniavsky “The Empire of the Carolingians: The Birth of the West”. The article shows that this monograph is a typical example of the so-called folk-history. The author of the monograph is not very familiar with modern scientific studies of the chosen topic, and the methodological basis of the work causes serious objections

REFERENCES

Sidorov A. I. Karolingskaia aristokratiia glazami sovremennikov. *Frantsuzskii ezhegodnik za 2001 g.* Moscow, 2001, pp. 36–53.

Sidorov A. I. Organizatsiia vlasti vo Frankskom korolevstve v VIII–IX vv. *Sred-*

nie veka. Vyp. 64. Moscow: Nauka, 2003, pp. 3–34.

Sidorov A. I. *Otzvuk nastoiashchego. Istoricheskaia mysl' v epokhu karolingskogo vozrozhdeniia.* Moscow; St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 2006.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Принимаются к рассмотрению оригинальные, ранее не публиковавшиеся тексты на русском и английском языках, объемом не более 1 а. л. Объем публикуемых рецензий не должен превышать 0,5 а. л. Тексты представляются в электронном виде (шрифт текста Times New Roman, 12 кеглем, сноски — 10 кеглем).

Обязательным является указание фамилии, имени и отчества (на русском и английском языках), места работы или учебы в аспирантуре/докторантуре, ученого звания и степени, адреса электронной почты и номера контактного телефона.

Тексты статей должны быть снабжены аннотацией на русском и английском языках (не менее 150–200 слов), перечнем ключевых слов (10–15), указанием индекса УДК (универсальной десятичной класси-

фикации), который приводится над фамилией автора слева.

Сноски к тексту — постраничные, нумерация сквозная по всему тексту. Текст не должен быть форматирован, нельзя использовать автоматические переносы слов.

Библиографический аппарат разделяется на три списка:

- 1) Источники и материалы
- 2) Научная литература
- 3) References

Ссылки на литературу в тексте даются посредством указания фамилии автора и года работы в скобках, при этом номер страницы отделяется двоеточием, а фамилия автора выделяется курсивом (*Петров* 1998: 25). Подробно о правилах оформления библиографии и внутритекстовых ссылок см.: <http://istorex.ru/rules.html>